

ВИАНА

01/05

индексы: 70331, 84471

ВИАНА

ISSN 0130-1616

02/2005
февраль

Борис Иванов

рассказ «Ночь длинна и тиха, пастырь режет овец» (№ 6)

премия за артистизм

Анатолий Королев

роман «Быть Босхом» (№ 2)

премия «Глобус»

за произведение, способствующее сближению народов и культур,
назначенная ВГБИЛ им. М.И. Рудомино

Анатолий Курчаткин

роман «Солнце сияло» (№№ 4-5)

премия за произведение о жизни и необыкновенных приключениях
демократии в России, назначенная Первым Республиканским банком

Майя Кучерская

«Чтение для впавших в уныние» (№ 1) и рассказ «Игра в снежки» (№ 11)

премия «Дебют в «Знамени»

Дмитрий Орешкин

статья «Деньги, биг-маки, социальная справедливость» (№ 12)

премия за глубокий анализ современной действительности,
назначенная Советом по внешней и оборонной политике

Михаил Поздняев

цикл стихотворений «Фотоувеличение» (№ 5)

премия за приоритет художественности в литературе

Алексей Слаповский

книга «Качество жизни» (№ 3)

премия за произведение, утверждающее либеральные ценности,
назначенная Первым Республиканским банком

Ревекка Фрумкина

статьи и эссе, опубликованные в течение года (№№ 7, 10, 11, 12)

премия за творческий универсализм

Валений Калныньш

специальная премия за разработку нового дизайна журнала «Знамя»



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

В ы х о д и т с я н в а р я 1 9 3 1 г о д а

С о д е р ж а н и е 02/2005 февраль

- 3 Александр Кушнер. *Стрекоза. Стихи*
- 8 Леонид Зорин. *Завещание Гранда. Маленький роман*
- 55 Вера Павлова. «Не знаю, кто я, если не знаю, чья я»
Стихи
- 62 Марина Палей. *Два рассказа*
- 86 Андрей Столяров. *Ищу Афродиту Н. Рассказ*
- n o n f i c t i o n**
- 101 Сергей Юрский. *Все включено*
- а р х и в**
- 127 Семен Липкин. *Три земных поры. Стихи.*
Подготовка текста Дмитрия Полищука.
Публикация и вступление Инны Лиснянской
- с в и д е т е л ь с т в а**
- 142 Леонид Рабичев. «Война все спишет»
- о б р а з ж и з н и**
- 167 Ревекка Фрумкина. *Рефлектирующий абориген*
- к р и т и к а**
- 175 Валерий Шубинский. *Как мыши кота хоронили,*
или Свидетельство защиты

р е з о н а н с

- 188 Александр Кабаков. *Игра и исповедь*
189 Андрей Василевский. *Неформаты*
190 Ирина Роднянская. *К вопросу о приятии ситуации*
192 Александр Агеев. *Покой и воля*
193 Дмитрий Бак. *Малая сцена?? Занавес!..*
196 Сергей Костырко. *В качестве реплики*
197 Сергей Чупринин. *P.S.*

л и т е р а т у р н ы й п е й з а ж

- 198 Александр Загрибельный. *По гамбургерскому счету*

н а б л ю д а т е л ь

р е ц е н з и и

- 210 Владимир Елистратов. —
Евгений Гришковец. *Рубашка*
213 Мария Галина. —
Дмитрий Тонконогов. *Темная азбука*
215 Андрей Зорин. —
Александр Жолковский. *Эросипед и другие виньетки*
220 Наталья Дзуцева. —
А.Б. Пеньковский. *Нина: Культурный миф золотого века
русской литературы в лингвистическом освещении*

с и м п т о м

- 223 Евгений Беньяш. *Когда едешь на Кавказ...*

с п е к т а к л ь

- 226 Светлана Васильева. *Песнь двадцать третья. Погребение
Патрокла. Игры. Гомер. Илиада. Коллективное сочинение
1996—2004. — Школа драматического искусства*

н е з н а к о м ы й а л ь м а н а х

- 228 Галина Ермошина. *Литературный Кисловодск (Зеленая гора)*

п о т а в е н е

- 230 Александр Агеев

н и д н я б е з к н и г и

- 232 Анна Кузнецова

в ы х о д и т с я н в а р я 1 9 3 1 г о д а

с о д е р ж а н и е 02/2005 февраль

Александр Кушнер
Стрекоза

* * *

Наше небо, не то что на юге,
Торопливо и разнообразно,
В синем шёлке и серой дерюге,
Слева — сумрачно, справа так ясно!

Мглисто-ласково одновременно,
Дымно-нежно-полого-волнисто,
Жёлто-розово и белопенно,
Многолико, с душою артиста

Гениального: то ли актёра,
То ли скульптора, то ли поэта,
То ль того забудыги-монтёра,
Что в канаве плевал на всё это.

Наше небо готово обидеть
И утешить в пыланье и блеске,
Его надо однажды увидеть,
Как героев своих Достоевский.

Разлетевшись, открыть его миру
В исступленье души и запале.
Неужели, чтоб русскую лиру
Лучше слышали и понимали?

* * *

Вино — это средство общенья,
Могучий и древний язык.
Лингвист-винодел со значеньем
Придумал нарядный ярлык.

Об авторе | Александр Семенович Кушнер родился в Ленинграде в 1936 году. В течение 10 лет работал учителем в средней школе. До 2000 года опубликовал 18 книг стихов. Далее: Летучая гряда. СПб, 2000; Стихотворения. Четыре десятилетия. М., 2000; Пятая стихия. Стихи и проза. М., 2000. Книга статей о русской поэзии: Аполлон в снегу. Ленинград, 1991. Лауреат Гос. премий РФ (1995), премии «Северная Пальмира» (1995), ж-ла «Новый мир» (1997), Пушкинской премии фонда А. Тепфера (1996), Пушкинской премии РФ (2001). Живет в Санкт-Петербурге.

Бутыль, как дитя в полотенце,
К нам вынесет официант
И спросит от чистого сердца:
«Устроит такой вариант?»

И ты, заказавший рейнвейна,
Отпить соизволишь глоток
Торжественно-благоговейно,
Как будто ты, точно, знаток.

Как будто попросишь другого,
На это взглянув свысока.
Хотел бы я видеть такого
Неслыханного смельчака!

Как если бы кто-то другую
Потребовал жизнь вместо той,
Что в спешке ему в роковую
Минуту принёс всеблагой.

* * *

В стихах, — сказал он, — ветерок
Быть должен, веющий оттуда, —
И посмотрел куда-то вбок,
Но там стояла лишь посуда
В буфете, столик на троих:
На четверых — так будет тесно.
Туда, туда, сквозь них, сквозь них!
Оттуда — тайно и чудесно.

Что ж, мне случилось заманить
В стихи оттуда дуновенье,
Но я хотел бы уточнить:
Моё вниманье и волненье,
Я буду честным, только тьму
Находят там, а тьмы мне мало.
Хотя бы скатерть, бахрому,
Хоть спинку стула, для начала.

* * *

Я дырочку прожёл на брюках над коленом
И думал, что носить не стану этих брюк,
Потом махнул рукой и начал постепенно
Опять их надевать, и вряд ли кто вокруг
Заметил что-нибудь: кому какое дело?
Зачем другим на нас внимательно смотреть?
А дело было так: Венеция блестя,
Как влажная, на жизнь выброшенная сеть,
Мы сели у моста Риальто, выбрав столик
Под тентом, на виду, и выпили вина;
Казалось, это нам прокручивают ролик

Из старого кино, из призрачного сна,
Как тут не закурить? Но веющий с Канала,
Нарочно, может быть, поднялся ветерок —
И крошка табака горящего упала
На брюки мне, чтоб я тот миг забыть не мог.

* * *

Если б ведала статуя
В неподвижной красе
Всё, что мучает, радуя
Нас — на узкой стезе
Меж внезапным желанием,
Налегевшим, как шторм,
И самообладанием
В рамках правил и норм.

Руки голые статуи
Знать не знают о том,
Что живые припрятали
В розово-голубом,
Загорелом и матовом,
Их к затылку подняв
В ситуации патовой, —
Страшен жест и лукав.

Ледяные предплечия
Белой ляжкой дразня.
И поэт бессердечными
Их назвал до меня,
Невозможная, дикая,
Неземная мечта.
За какой бы я книгою
Так забылся когда?

Эта близость покатая,
Этот солнечный пыл.
Нет, не ведает статуя,
Как тебя я любил,
Вот оно — милосердие,
Страсть — его псевдоним.
И ничтожно бессмертие
По сравнению с ним.

* * *

Долго руку держала в руке
И, как в давние дни, не хотела
Отпускать на ночном сквозняке
Его лёгкую душу и тело.

И шепнул он ей, глядя в глаза:
Если жизнь существует иная,

Я подам тебе знак: стрекоза
Постучится в окно золотая.

Умер он через несколько дней.
В хладном августе реют стрекозы
Там, где в пух превратился кипрей, —
И на них она смотрит сквозь слёзы.

И до позднего часа окно
Оставляет нарочно открытым.
Стрекоза не влетает. Темно.
Не стучится с загробным визитом.

Значит, нет ничего. И смотреть
Нет на звёзды горячего смысла.
Хорошо бы и ей умереть.
Только сны и абстрактные числа.

Но звонок разбудил в два часа —
И в мобильную лёгкую трубку
Чей-то голос сказал: «Стрекоза»,
Как сквозь тряпку сказал или губку.

.....
Я-то думаю: он попросил
Перед смертью надёжного друга,
Тот набрался отваги и сил:
Не такая большая услуга.

* * *

По тому, как, рубашку надев,
Заменяю рубашку на свитер
И смущаюсь, себя оглядев:
Где я так износил его, вытер?

По тому, как, решив его снять,
Заменяю на ту же рубашку,
Сомневаюсь и медлю опять,
Совершить опасаясь промашку,

По тому, как из двух пиджаков
Надеваю зелёный, нет, синий,
По тому, как я выйти готов
Без ключей и, вернувшись за ними,

Вспоминаю, что надо платок
Носовой захватить и, похлопав
По карманам, ищу кошелёк
И, найдя, говорю: «Я потопал»,

Ты бы мог обо мне, муравье,
впечатленье составить не хуже,
Чем о рыбах и птицах — Кювье,
Допотопных своих, неуклюжих,

И, в душе справедливость любя,
Окажись ты при этом спектакле,
Ты во мне, может быть, и себя
Мог узнать бы, — мы выйдем, не так ли?

* * *

Вид в Тиволи на римскую Кампанию
Был так широк и залит синевою,
Взывал к такому зренью и внимаенью,
Каких не знал я раньше за собой,
Как будто к небу я пришёл с повинной:
Зачем так был рассеян и уныл? —
И на минуту если не орлиный,
То римский взгляд на мир я уловил.

Нужна готовность к действию и сила,
Желанье жить и мужественный дух.
Оратор прав: волчица нас вскормила.
Стих тоже должен сдержан быть и сух.
Гори, звезда! Пари, стихотворенье!
Мани, Дунай, притягивай нас, Нил!
И повелительное наклоненье,
Впервые не смутясь, употребил.

Леонид Зорин

Завещание Гранда

маленький роман

1

У перекрестка нервно топтался смуглый молодой человек. Дождь его мало беспокоил, он то и дело смотрел на часы. Опаздываю. Скандалное дело.

С четверть часа прошло, не меньше — выброшенная вперед рука, попытки остановить машину. Четверть часа безответных призывов. Но все как одна проносились мимо, все — мимо, точно они сговорились. «Суки», — шептал молодой человек.

Он уже потерял надежду, когда, наконец, притормозила тачка темно-вишневого цвета.

Водительница его окинула изучающим, но благосклонным взглядом. Высокая полноватая девушка, может быть, и юная дама — с крупными броскими чертами. Как говорится — яркая внешность.

Сняв розовую ладошку с руля, она спросила:

— Куда ж вам хочется?

— В район Донского монастыря. Недалеко.

— Маршруты сходятся, — сказала посланница судьбы.

Машина покатила по Шаболовке. Он скорбно глядел перед собою, губы его были плотно сжаты.

— С вами ничего не случилось? — озабоченно спросила она.

— Нет, я еще жив. Почему вы спрашиваете?

— Просто у вас такое лицо, точно вы едете в крематорий.

Он грустно промолвил:

— Вы не ошиблись. Случилась беда с дорогим человеком.

— С кем же? — спросила она с участием.

Он призадумался и произнес:

— Имя вам ничего не скажет. Оно ни разу не прогремело на требовательных подмостках жизни и в свет прожекторов не попало. Он скромно трудился в своем департаменте в ответственной сфере рыбоводства. Но сердце было из чистого золота.

Водительница была взволнована:

— Очень душевно и проникновенно.

— Я должен сказать о нем несколько слов. Само собою, не так эскизно. Это — суровое испытание. Но лучше меня никто не скажет. Никто не знал его так, как я.

От автора | «Жить надо без страха и без надежд», — напоминал Н. Карамзин, но без юмора вряд ли возможно жить и выжить. «Юпитер», «Забвение» и «Сансара» должны были быть уравновешены. По замыслу автора, «Трезвенник», «Кнут» вместе с «Завещанием Гранда» составят «Оранжевую Трилогию».

Она сказала:

— Во время пауз изредка взглядывайте на меня. Может быть, вам станет легче.

И, встретив его вопросительный взгляд, призналась:

— Наши маршруты сходятся. Я вам уже сказала об этом. Они драматически совпали. С дочкой покойного мы — подруги. Вместе учились.

Он отозвался:

— Непостижимо.

— Но это так. Странно, что я вас прежде не видела.

Остановившись на площадке и выбрав для машины местечко, она протянула ему ладошку:

— Дарья Гуревич. Ваша очередь.

— Гвидон — мое имя, — сказал ее спутник.

После печального обряда и обязательных поминок они оказались в ее квартирке.

— Достал ты меня надгробным словом, — сказала усталая Гуревич. — Прямо перевернул всю душу.

— Надеюсь, она вновь приняла свое исходное положение, — сочувственно отозвался Гвидон.

— Выходит, не разглядела покойного. Ты просто мне раскрыл горизонты.

— Ну вот еще, — пробурчал Гвидон. — Какие горизонты над ямой...

— Нет, это так. Я почти прослезилась. Жаль, что за столом на поминках ты уже не сказал ни слова.

— Вдохновение не приходит дважды.

Он вяло разглядывал душную спальню. Ложе, принявшее их в свое лоно, было похоже на колыбель, разросшуюся и вширь и вдоль. На круглом столике шурил глазки бесстыдный обнаженный божок.

— В печальном месте свела судьба, — задумчиво вздохнула Гуревич. — А ведь иначе могли и не встретиться.

— Запросто, — подтвердил Гвидон.

— Однако как жадно хочется жить на панихидах и погребеньях, — она притянула к себе его голову. — А ты к тому же еще прехорошенький. Ресницы девичьи, адской длины. И очи восточные, миндалевидные. На подбородке — вкусная ямочка. Груша бы лопнула от злости.

— Кто эта Груша?

— Сестра и завистница. Мы с ней погодки. Даша и Груша. Трогательные попытки диаспоры вклиниться в степной чернозем. Груша меня преследует с детства. Я неизменно была премьершей, а она — на подпевке и подтанцовке. Представляешь, сколько всего в ней копилось.

— Сестры ничего не прощают, — согласился молодой человек.

— Слегка унялась, когда вышла замуж. Супруг успешно вписался в действительность. Но до тебя ему далеко. Хотя он рвется в монополисты.

— Тогда это мне до него далеко.

— Ну почему у тебя все время обиженное выраженье лица? — нежно осведомилась Гуревич.

— Выдь на Волгу, чей стон раздается? Тогда и поймешь, — сказал Гвидон.

— А откуда ты взял такое имя? Правда, тебе оно подходит. Ты в самом деле как князь из сказки. Жаль, что Груня тебя не видит.

— Имя мое, — кивнул Гвидон, — классическое, древнеславянское. Но есть компаративистская версия. Когда ты читала «Декамерон», стоило обратить внимание на второстепенное лицо — мессера Гвидо де Кавальканти. Не покидает предположение, что это он — мой прямой предшественник. И фамилия моя — Коваленко.

— В самом деле, — сказала Гуревич, — что-то созвучное.

— Именно так. Фонетическое родство бесспорно. Но главное — наша духовная связь. Мессер был достойный человек безукоризненных нравственных правил. — Очень похоже, что ты тут прав.

Выяснив происхождение гостя, хозяйка придвинулась к нему ближе. Беседа сама собой иссякла. Изредка тишину тревожили томные печальные звуки, напоминавшие стоны горлицы.

— Удивительно, — сказала Гуревич.

Гвидон сказал:

— Груня бы лопнула.

— И поделом ей, — сказала сестра. — Не пялься на чужое добро. Слушай, ты уже собираешься?

— Есть обязанности, — сказал Гвидон.

— Между прочим, я тебя не спросила, чем ты занят, когда не исследуешь генеалогическое древо.

— Я — филолог, у меня есть диплом.

— Гуманитарий. Оно и видно, — кивнула Гуревич.

— Но если сознаться, об этом я не люблю вспоминать. Занятие — не слишком мужское. На факультете царили девицы. Юноши только жались друг к другу — бедная беззащитная кучка.

— Страшно подумать, как тебя портили.

— Я сопротивлялся как мог.

— И что же ты делаешь?

— Что придется. Я до конца не определился. Филологи никому не сдались. Точно так же, как их наука. Ищут себе местечка на ярмарке. Как правило, его не находят. В сущности, жизнь не удалась.

— Но есть же у тебя увлечения!

— Пожалуй что есть. Не бог весть что.

— А все-таки, что это?

— Коньектура.

— Конъюнктура?

— Да нет! Ничего общего. Дарья Ефимовна, острословие, исходящее из звукового сходства, стоит недорого. Очень недорого.

— Не сердись. Ты разбиваешь мне сердце.

— Это занятие — бескорыстное, — назидательно произнес Гвидон. — Не конъюнктура, конь-ек-тура. От латинского слова «догадка». Восстановление той части текста, которая не поддается прочтению.

— И тебе это удастся? — Гуревич была заинтригована. — Тогда ты — опасный человек.

— А на рассвете румяной младости вообще был увлечен криптографией. Если сказать понятнее — тайнописью.

Гуревич вздохнула:

— При этаких склонностях место твое, мой друг, на Лубянке.

— Ты полагаешь? В каком же качестве?

— В любом, какое тебе по вкусу. Можно — следователем, можно — подследственным.

Гвидон покрутил головой и поморщился.

— Нет. Не подходит ни то, ни другое. С одной стороны, я — не подпольщик, с другой — не могу ходить на службу и вступать в производственные отношения.

— Свободный художник?

— Вроде того.

— И что же, за это платят деньги?

— В мужа твоей сестре не гожусь. Но как-то барахтаюсь на поверхности.

— Сестре от тебя ничего не отломится, — безжалостно сказала Гуревич. — Хватит с нее монополиста. Ну, до свидания, Кавальканти. Ради Христа, улыбнись напоследок. Мы с тобой уже не на кладбище. Когда глядишь на твое лицо, чувствуешь себя виноватой.

— Имеешь для этого все основания.

Она засмеялась.

— Дорогу найдешь? Самостоятельно?

— Не сомневайся.

Он бросил прощальный рассеянный взгляд на пышное постельное тело и медленно направился к выходу. Жирный обнаженный божок, хозяйски сидевший на круглом столике, нахально подмигнул ему вслед.

На улице молодой человек выразил недовольство собою.

— Все то же, — бурчал он себе под нос. — И не заметишь, как совратят. Добрая женщина, а негодяйка. Ты только палец ей протяни. Я, разумеется, тоже хорош. Характер — картофельное пюре.

Царила вешняя благодать. В последние минуты заката московские улицы были окрашены в густой темно-лиловый цвет. Вечер нашептывал Гвидону разнообразные предложения, одно прельстительнее другого. Однако Гвидон лишь ворчал и хмурился. И выражение обиды все не сходило с его лица.

2

Вечером следующего дня он должен был нанести визит вдове профессора Грандиевского, которого в научной среде устойчиво называли Грандом. Это прозвище не только напрашивалось ввиду эффектного первого слога, оно еще вмещало в себя различные смыслы и оттенки. С одной стороны, оно подчеркивало уважительное признание заслуг, с другой — в нем была грубоватая лесть, с третьей — ирония и раздражение, легко объяснимые неприятным и авторитарным характером. Все знали, что он был дурно воспитан, малоконтактен, жил без союзников и в этом находил удовольствие.

С ним предпочитали не ссориться, но теплых чувств к нему не питали. Не замечать его было трудно, но ценность его работ оспаривалась. Чем более спорной и менее точной считалась его молодая наука, тем чаще она становилась мишенью.

Гранд называл себя футурософом. В этом качестве он позволял себе вольности. На протяжении многих лет прогностике, к счастью, было присуще оптимистическое начало. Академический анализ был идеологически бодр, мировоззренчески безупречен. Такая незыблемость позиции могла показаться даже мистической, если бы мистика сопрягалась с духовным и душевным здоровьем — может быть, главным богатством сограждан.

Было, однако же, очевидным, что псевдонаучное шаманство — это и есть стихия Гранда. Именно в ней ему вольготно, в ней он себя ощущает естественно и домашнему непринужденно.

Он наострил слух обходить твердые правила игры, а также условия поведения. Обыкновенно он стартовал не с узаконенного места, а где-то с середины дистанции, которую выбирал произвольно. Периодически он приглашал неподготовленную аудиторию п о р а з м ы ш л я т ь с ним совокупно. В этом призыве была, разумеется, определенная провокативность — люди, пришедшие за установками, не обязаны ломать себе головы. Академик Василий Ильич Полуактов был убежден, что Гранд одержим жадной дешевой популярностью.

Если профессор Грандиевский ее добивался, то он преуспел. В особенности среди молодежи (прежде всего ее женской части). В юности любые системы несимпатичны — они ограничивают. Поэтому парадоксы Гранда имели широкое хождение.

Долгие годы его положение выглядело весьма сомнительным. Считалось, что он играет с огнем, одновременно скользая по канату. Однако и в дни либеральной смуты с ее торжествующей эклектикой, разноголосицей и размытостью он также существовал вне среды.

Когда за неделю до юбилея (ему бы исполнилось шестьдесят) он неожиданно скончался, коллеги были ему благодарны. Канонизированные традиции, не говоря уже о приличиях, требовали от них поздравлений, признания заслуг, красных папок, а с чем поздравлять и что признавать? Впервые Гранд поступил тактично, избавив общественность от мигрени. И — от возможной новой полемики. Утратившей в эту эпоху смысл.

Старым бойцам — в том числе Полуактову — было понятно: полемика — вздор, если она не влечет репрессалий. Сражение без жертв — не сражение. Это пародия на него.

Когда-то обличенья Флехтхейма, его последней — низкопоклонников вроде профессора Грандиевского, были не только благонамеренным, но и увлекательным делом. Даже своеобразным экстримом, волнующим кровь и притом безопасным. Теперь это лишь могло воскресить полузабытые имена. Кому бы это было на пользу?

Нет спора, тоска по бывлым разборкам порой посещала сны Полуактова, но он унимал ностальгический трепет. Обращиваться бывает опасно, при случае можно и шею свернуть. Благоразумней смотреть вперед.

Тем более что даже безвременье не отразилось ни на судьбе, ни на карьере Полуактова и некоторых его однодумцев, которые Гранда терпеть не могли. Их институт повысился в ранге. Не так давно возвели его в статус Культурологической академии, и Полуактов ее возглавил. Долгошеин почувствовал вкус к политике и занялся ею весьма увлеченно. Дамы, украшавшие кафедру, тоже давно определились — как в отношении к Грандиевскому, так и в устройстве собственной жизни. Море вернулось в свои берега.

Таким или примерно таким предстал Гвидону п е й з а ж с и т у а ц и и, воссозданный вдовой Грандиевского и дополненный личными ощущениями.

Сабина Павловна приняла его в осиротевшем кабинете, заставленном пирамидальными полками, кряхтевшими под тяжестью книг. Переплеты отсвечивали золотом, тома теснились, точно вцепившись в клочок отведенной им территории. Те, что не смогли уместиться, лежали на столике и на стульях, на лесенке, на тахте у стены. Зато был пуст письменный стол невообразимых размеров, дугой охвативший бордовое кресло — пуст вызывающе, даже торжественно.

В такой аскетичности было величие, сразу прочитывалось напоминание о высшем назначенье стола — на этой арене рождается текст. Не было даже настольной лампы — над ним, как мяч над футбольным полем, завис уютный прозрачный шар теплого арбузного цвета. Ноги стола были круглыми, крепкими, способными выдержать его тело с ящиками по обе стороны.

Гвидону достаточно было взглянуть на это роскошное ристалище, чтобы понять: он готов на все, лишь бы оседлать это кресло. Стоило лишь вообразить дивные длинные вечера, храмовую тишину кабинета, ласковый свет над центром столешницы — и сердце томительно замирало. Путник найдет здесь отдохновение, и на него снизойдет покой. В проеме между двумя полками был помещен портрет профессора в раме благородного дерева. Гвидон то и дело невольно посматривал на остроугольное лицо, которое показалось бы сумрачным, если б не хитрая усмешка пожилого озорника.

Затем он вновь взглянул на хозяйку. Женщина лет тридцати пяти приятной и нестандартной наружности. Но — странное дело! — ни в ее внешности, ни в ее пластике он не нашел решительно никаких соответствий ни обстановке ее жилья, ни нынешнему ее положению. Нет скорбного вдовьего покоя, нет кротости, даруемой горем.

Вдова была в соку и в цвету. Стройная, сухощавая, гибкая. Движения с кошащей лентой вдруг обретали упругость и силу, как у тигрицы перед прыжком. Лицо ее было не слишком привычного малайско-оливкового цвета, на ее смуглых худых запястьях блестели серебряные браслеты с отчетливой чернью, на длинных пальцах посверкивали два эмалевых перстня — родная затейливая финифть. Дожнуло далекой боярской порою, старинной Русью времен раскола и бурного смешенья кровей.

Неторопливо окинув Гвидона желтыми дымчатыми очами, вдова резюмировала:

— Итак.

Гвидон перестал ее разглядывать и изобразил на лице самый живой интерес и внимание.

— Итак, — повторила Сабина Павловна. — Гранд постоянно мне говорил: у каждого есть сюжет своей жизни. Если он прав, нет больше на свете печали и яда, чем в этом сюжете. После него остались рукописи, и я, словно девушка из Орлеана, думала: стоит мне бросить клич — все возликуют, кинутся в пляс и станут меня тащить в издательства. Не тут-то было! Вся эта сволочь, все эти жулики и кастраты, как оказалось, едины в одном: в желании похоронить Гранда. На этот раз уже окончательно. Выяснилось, что все бессильны, немощны, ничего не могут. И видели б вы, с каким ликованием они признаются в своем ничтожестве.

— Может быть, они с ним смирились? — лояльно предположил Гвидон.

— Это они-то? Нашли страстотерпцев! Они с утра до ночи шуруют, потеют и роют землю носами. Один прибрал к рукам академию, другой решил погреть свои лапки, так сказать, в коридорах власти, третий устраивает делишки, даже когда вкушает сон.

— И как это ему удается? — заинтересовался Гвидон.

— Он вызывает нужных людей. С другими он и во сне не общается. Народишко — один к одному! Ими ничего не потеряно, кроме чести, но честь им — до фонаря. С живым они совладать не могли, теперь отыгрываются на мертвом. Больше всего они боятся, чтоб их не начали сравнивать с Грандом. Поэтому и встали стеной. Интеллигентская лимита! — вдова стукнула кулаком по столешнице, и браслеты на ее смуглых запястьях угрожающе зазвенели. — Стоило бы их всех замочить. Но — не в сортире. Это для них слишком благородное место. Тоже и дамочки хороши. Все как одна берут реванш. И те, которых Гранд удостаивал, и те, которых не удостоил. Впрочем, таковых не осталось. Послушать их — так он всех лелеял.

— Смерть неразрывна с мифологией, — примирительно произнес Гвидон.

— Мне эти курицы по барабану, — вдова саркастически усмехнулась. — У каждой из них своя заноза. Но Долгошеины и Полуактовы увидят, что они просчитались. А также — вся прочая шпана. Я поклялась, что выпущу книгу, и книга выйдет, будьте уверены. Я клятву сдержу, хотя и не знаю, как далеко придется зайти. К несчастью, еще одна преграда может действительно стать решающей. И Евдокия Вениаминовна сказала, что на земле вы один способны помочь мне в моем положении.

— Тетка на сей раз необъективна, — скромно проговорил Гвидон, — ведь я ей не чужой человек.

— Она — твоя родственница?

«Это мило, — подумал Гвидон, — говорит мне «ты». И непонятно, как реагировать».

Он подавил в себе искушение ответить ей тем же. Есть закон: когда беседуешь с работодателем, любое панибратство запрещено.

— Она была близкой подругой матери. В детстве я звал ее «тетя Дуся».

— А в юности? — спросила вдова.

«Дает мне понять, что я — мальчишка», — с горечью подумал Гвидон.

— Это зависит от ситуации. Когда уж очень тянет пожаловаться, я называю ее «Евдокиюшка». Когда она рискованно шутит, я ей говорю: «Эдокси».

— Очень куртуазно.

— Ей нравится.

Оба синхронно себе представили Евдокию Вениаминовну и так же синхронно улынулись. И «Евдокиюшка» и «Эдокси» не слишком вязались с ее величественным и даже монументальным обликом. Но царственный покой был обманчив — с неукоснительной центростремительностью в ее руках сходились все нити. Все токи, пульсируя и содрогаясь, естественно сквозь нее проходили, однако не только ничем не вредя, но заряжая витальной силой. На сжатых губах мерцала улыбка, полная дьявольского всеведения.

— Я объяснила ей ситуацию — мне необходим человек, способный понять варварский почерк. Муж мой объявил вне закона не только всякие ноутбуки, но даже пишущие машинки. Он утверждал, что Шпенглер прав: цивилизация — враг культуры. И не уставал повторять, что между вербализованной мыслью и пальцами недопустимы посредники. Тем более пальцы связаны с мозгом и поджигают его, как спички. Не сомневаюсь, что так и есть, но я-то в беспомощном положении. Я спросила у вашей покровительницы, не знает ли она чудадея, который справится с этим делом...

— И она пробасила: «Мне ли не знать?» — продолжил Гвидон.

Вдова рассмеялась. «Мне ли не знать?» — эти слова были опознавательным знаком, даже паролем славной дамы.

Впрочем, эта веселая пауза была недолгой. Вдова нахмурилась и, вновь оглядев его, произнесла:

— И вот, предо мною — Гвидон Коваленко.

— Именно так, — подтвердил Гвидон.

Вдова одобрительно сказала:

— Имя известное. Правда, и редкое.

— Мне приходилось не раз возвращаться к происхождению этого имени, — Гвидон с пониманием улыбнулся. — Разумеется, надежней всего — патриотическая версия. Этакий поясной поклон в сторону Пушкина и фольклора. Но есть и космополитический след. Увековечение памяти мессера Гвидо де Кавальканти. Муж достойный. Отменного образования, поведения и нравственных качеств.

— Как я понимаю, ты получил прочное женское воспитание?

— Именно так обстояло дело, — с готовностью подтвердил Гвидон. — Старший Коваленко исчез, когда я еще не ходил в детский сад. Мной верховодили мать и бабушка, потом — Евдокия Вениаминовна.

— Кстати, она тобой недовольна, — строго произнесла вдова. — Говорит, что у тебя странный заработок. Что ты произносишь надгробные речи.

— Это правда. Жизнь не удалась. Можно сказать, что я живу на содержании у смерти. Но заработок совсем неплохой.

— Евдокия Вениаминовна считает, что ты способен на большее.

— И мать и бабушка так считали. Женское окружение давит. Ты постоянно в долгу перед всеми. То же самое было на факультете.

— Бедняжка, — усмехнулась вдова.

— Спасибо. Это уже позади. Сколько ни силюсь, понять не могу, что дурного в моей работе? Всегда чувства добрые пробуждал.

Вдова недоверчиво спросила:

— А в почерках ты и впрямь разбираешься?

— Да. Смело давайте ваш палимпсест.

— Но я, как ты, должно быть, догадываешься, не так богата, как эти покойники. И благодарные наследники.

— В данном случае это неважно, — с достоинством пояснил Гвидон. — Расшифровывать почерки — моя слабость. А когда потакаешь своим слабостям, надо быть готовым на протори.

— Ну что же, выпьем за наше сотрудничество, — сказала вдова и распахнула почти вертикальную дверцу шкафчика, встроенного в книжную полку. Достала со суд, в котором мерцала влага неопределенного цвета, а также два граненых стаканчика.

— Поехали, — сказала вдова.

3

Хоронили военкома Усатова. Гвидон неспешно вышел вперед, долго беззвучно глядел на гроб, заваленный цветами и лентами, потом, нахмурясь, проговорил:

— Не верится, что это случилось. Что эта клокочущая энергия остановилась на полном ходу. Ты ли лежишь в этом узком ящике? Может ли уместиться в нем вся твоя многогранная личность? Встань же, наш боевой товарищ, ты не сказал еще главного слова, оборвавшего на первом слоге. Встань, тебя ждут твои дела, не доведенные до конца, ждут Вооруженные силы.

Когда я оглядываю твой путь, я вижу, что ты выбирал неизменно самые сложные участки, самые важные места. Ты мог, как иные твои сослуживцы, шагать по ступеням военной карьеры. С твоим орлиным умом стратега мог стать генералом, а то и маршалом. Но острым всепроникающим взором ты разглядел, где корень всех зол, ты понял, что сегодняшней армии нужны не стратеги, а военкомы — здесь самая горячая точка. И ты продолжал беззаветно пахать на вечно несжатой ниве призыва. Не все смогли тебя оценить, но пахарем был ты неутомимым, и сердце твое однажды не сдюжило.

Сегодня не только твоя жена, всегда хранившая тебе верность, не только боевые товарищи — все мы, воспитанные тобою, оплакиваем потерю бойца. Плачут и незнакомые матери, которые тебе благодарны — из их слюняев и недоумков ты сделал настоящих мужчин. Сегодня они горько раскаиваются в том, что тебя не понимали.

Прощай, батяня, прощай, военком! Вместе с осиротевшей семьей, соратниками, призывниками мы высоко-высоко поднимаем выпавшее из рук твоих знамя. И до последнего нашего дня будем мы помнить, кто его нес...

Он нынче работал на Калитниковском. Увы, лежит оно на юру, покойникам здесь должно быть прохладно — их продувают сквозняки. Зато оно было демократичней, нежели, например, Новокунцевское, подчеркивавшее при первой возможности, что оно-то филиал Новодевичьего. Гвидон полагал, что всякий снобизм во время таинства неуместен.

Речь произвела впечатление. Старик со стесанным подбородком, густо поросшим медным волосом, напомнившим колючую проволоку, даже сморкнулся в громадный платок. После чего заверил Гвидона, что гвардия никогда не сдастся.

Довольна была и супруга покойника. Но на поминках, происходивших в недавно открытом «Майоре Пронине», в ней все-таки всколыхнулась обида. Она уса-

дила Гвидона рядом и долго жаловалась ему: обещанный взвод так и не прибыл — прощальный салют не прогремел.

— Они наказали себя самих, — сказал ей Гвидон. — Их заклеят. За безответственность и безалаберность. А что до прощального салюта, то громче всего он звучит в душе. И с ним никакая пальба не сравнится. Будьте мужественны.

Она посулила, что будет. Гвидон подумал, что ей по силам выполнить это обещание. Вечно женственного в ней было немного.

Очень сдержанная оценка, которую Гвидон дал салюту, вскоре нашла свое подтверждение. Визитной карточкой ресторана, весьма привлекавшей к нему, был тир. Гости то и дело вставали и уходили пострелять. Оставшиеся, глядя вослед, вспоминали о чекистской романтике и выражали свое одобрение доброй молодецкой забаве.

И все же эти отлучки в тир и звучная стрельба по мишеням под клики радости и досады (в зависимости от уровня меткости) вносили лихую, мажорную ноту в обрядовый ход поминовения. Семья, в конце концов, возрпала, стрелки сочили себя увзвленными.

Гвидон предпочел ретироваться. Нынче вечером ему предстояла первая встреча с наследием Гранда, и он рассудил, что надо быть в форме. Нельзя было ни нагружать себя пищей, ни переусердствовать в возлияниях.

Он шел по Москве неспешным шагом в том состоянии размягченности, которое он неизменно испытывал после подобных свиданий с вечностью. Даже полученный гонорар, украдкой врученный ему полковницей, не возвращал к повседневной прозе. Однако лирический ералаш недолго томил и совращал отзывчивое Гвидоново сердце. Лишь поглядя окрест себя, и город ответит жестоким взглядом.

В младости перемены естественны, практически их не замечаешь. И все же Москва так откровенно меняет выражение лица, что даже Гвидона бросает в оторопь. Город, в котором сейчас пронесется, видимо, лучшая часть его жизни, становится трудно назвать своим, порою за ним не поспеваешь.

Кажется, он себя отгораживает незримым, но несомненным барьером, переходя в иное пространство, плывет совсем в другом измерении, вознесись своими фрегатами к небу. И чем они грозней возвышаются, тем больше тянет зарыться в землю.

Где старый уют перепутанных улочек, где хмель черемуховых дворов? И где быллой пешеходный рай? Все сдвинуто, спрямлено, протянуто, ушло в тоннели и магистрали. Не пересечь, не поднять головы. Куда горожанину податься? Всюду ты гость, нигде не хозяин.

— Воспрянь, муравьиная душа, — отдал себе приказ Гвидон. — Дай только волю своей меланхолии — и живо распадешься на атомы.

Вдова открыла Гвидону дверь. Критически его оглядела.

— Перетрудился? — спросила она.

Гвидон молчаливо пожал плечами.

— Как принят был тост над последним приютом?

— Несколько огорчает ваш скепсис, — вздохнул укоризненно Гвидон. — Кто-то должен объяснить провожающим, кого они сегодня лишились.

— Прости, если я тебя обидела. Так ты, оказывается, ранимый?

— Есть у меня такой недостаток.

— А к умственному труду ты способен? Или увлекся на поминках?

Гвидон сказал со скромным достоинством:

— Я очень ответственный человек. В этом вы скоро убедитесь.

Она отвела его в кабинет. Он обменялся коротким взглядом с Грандом, запечатленным кистью, и погрузился в бордовое кресло.

Вдова сказала:

— Священнодействуй.

И оставила его одного.

Пожалуй, она не подозревала, сколь точным и метким был глагол. Стоило только сесть за стол, обнявший Гвидона своей дугой, остаться одному в тишине, взяты в руки перо, разложить бумаги, стоило поместить посерединке белый, еще не початый лист, подсветить его электрической струйкой, льющейся из зеленого шара, — и гость почувствовал, как на него нисходит неведомая благодать.

— Господи, — пробормотал Гвидон, — зачем я не Байрон, а другой, зачем я не гений, кипящий замыслами, готовый исторгнуть их из себя? Зачем я не Гранд? Ежевечерне усаживался он в это кресло и сообщал бумаге жизнь. Однако же и в моем бою отыщется свое упоение. Я должен пройти по его следам и сделать их достоянием общества. Куда ни кинь, а такая работа требует собственных избранных.

Цепким оценивающим взглядом он изучал загадочный почерк. Сабина Павловна не случайно отчаялась что-либо разобрать. Эти крючки и сокращения свидетельствовали, что мысль Гранда передавала энергию пальцам, они неслись по бумаге, как кони, стремясь хоть немного за нею поспеть, но, не умея лететь с нею вровень, изнемогая на полпути, едва обозначали ее и — дальше, чтоб не утратить цели.

Мало того что почерк Гранда был непонятен (сомнений не было, что Гранд и сам не всегда с ним справлялся), он еще был анафемски мелок. Казалось, без лупы не обойдешься, еще надежней — зрачок микроскопа. Гвидон представил себе, как буквы выходят на свет, пускаются в пляс, соединяются, как хромосомы, и образуют новую жизнь. Какой-нибудь унылый графолог уж точно решил бы, что Гранд был скуп — не отдавал себе отчета, попросту сэкономил бумагу. Но это слишком прямолинейное и одномерное объяснение. Совсем не скупость, не экономность! Здесь величайшее почтение к таинству белого листа — каждый клочок его священен и должен принять в себя слово, как семья. И все-таки еще выразительней жавшиеся друг к другу значки демонстрировали триумф концентрации — тут не могло быть женской размашистости, в несколько строк пожирившей страницу. Слова были плотно и точно пригнаны, вступали в семейные отношения, в естественную прочную завязь, сулившую продолжение жизни.

Сравнительно быстро Гвидон ощутил, что перед ним человек науки — Гранд тяготел к созданию формул. Пронизываясь, как сквозь бурелом, через вычерки, Гвидон наблюдал и радость зачатия, и трудное прояснение сути, и окончательный ее образ. Иной раз ему казалось, он чувствует сопротивление среды, в которую погружался Гранд. Казалось, что это его прошивает финальный оргиастический вздрог интеллектуального усилия.

В комнате было полутемно, но свет, нацеленный в центр столешницы, и ободрял, и грел Гвидона. С портрета ему улыбался Гранд. Процесс расшифровки все больше захватывал — разрозненные штрихи и знаки вот-вот обнаружат закономерность.

— Неужто я впрямь рожден для спецслужб? — думал Гвидон, находя отгадки.

Спустя неделю он констатировал, что ощущает себя уверенней. Почерк покойного патриарха уже не отталкивал неприступностью. Гранд словно впускал его в свой лабиринт. Гвидон не пугался, что там и останется, он осторожно систематизировал смешные особенности букв. Странное «т» — хрупкая палочка с еле заметным небрежным кивком в правую сторону, странное «з» — такая же капризная палочка, но наклоняющаяся влево. Странное «ф» — его заменяли два нолика, слившиеся в бочонок. Странное «к», не добежавшее до привычного изображения, представленное неожиданной галочкой. Путь Грандова алфавита к слову был непонятен и загадочен.

Но даже тогда, когда эти черточки, стрелочки, птички и значки стали поддаться Гвидону, он убедился, что рано радоваться. Слова обрывались так же, как

буквы. Где их, казалось, должно быть несколько, Гранд ограничивался одним. Вдруг посетившее соображение точно подгоняло перо — скорей обозначь, не то исчезну. Гвидон не только перепечатывал прочтенные им наконец слова, он извлекал из небытия несказанные, произнесенные, словно наращивал тело периода. В работе было свое коварство — по ходу ее предстояло постичь нелегкий вокабуляр Грандиевского и, мало того, вполне овладеть им.

В жизнь Гвидона вошла регулярность. Дни уходили на встречи с родственниками, убитыми горем, но не утратившими способности к долгим переговорам, по вечерам, в половине седьмого, он появлялся в доме Гранда с неизменным ноутбуком в руке. Вдова встречала его на пороге, бросала быстрый насмешливый взгляд, произносила что-нибудь этакое, вроде «привет, мессер Кавальканти», либо «пожаловал князь Гвидон», либо «салют, господин меланхолик», и провожала его в кабинет. Гвидон усаживался за стол под желтый электрический сноп, падавший стреловидным лучом из круглой зеленой оболочки. Он раскладывал бумаги почившего, вдова оставляла его одного, после чего молодой человек приступал к погружению в батисферу. В доме стояла тишина, изредка до него доносился голос Сабины — с кем-то она вела беседу по телефону. Порою долетали мелодии. Чаще всего это был Шопен, но иногда за стеной ворковали парижские пряные голоса, перекатывали звучные шарики. С этими нежными ублажителями контрастировал резкий голос Пиаф, балансирующий на грани смерти, совсем как у нашего Высоцкого — и как к ней пристала кличка «воробышек»? Мечемся в мире несоответствий.

В десять часов вдова появлялась, поила работника чаем с ликером и провожала его до дверей. Гвидон возвращался к себе домой со смутным царапавшим его чувством — кроме как о его занятиях, она ни о чем с ним не говорила. А этих занятий все прибавлялось, и он уже несколько раз отказывал прочим осиротевшим вдовам.

Гвидон шагал по вечерней улице. Он верил в целебную мощь движения. Оно расставляет все по местам. Рассеянный взгляд привычно фиксирует, казалось бы, от тебя независимо, приметы столичного пейзажа. Но «мне ли не знать», чего в них ищут. И то зашторенное окно, где кто-то живет и дурью мается, и озабоченный пешеход, попавшийся на перекрестке, и этот автобус, который умчал чужие судьбы, блеснув прощально алым пятном, и нелепый дом с фотографией и магазином «Интим» — все это связывает Гвидона, песчинку в потоке, с самим потоком.

Не зря он успел прочесть у Гранда — все ныне сущее одновременно присутствует в будущем, вызывая неутолимую ностальгию. Когда ты стремишься найти объяснение внезапной печали, ты не догадываешься, что в это время ты оборачиваешься уже из грядущего и с замиранием видишь автобус и фотостудию и то зашторенное окно. Что ты перенесен в наше прошлое, в то ожидание неизвестного, с которым ты шел по вечерней улице.

Все это смахивает на наваждение. Пора придержать себя за поводья. Тебя уже всасывает опасный футурософский Грандов омут.

Уже из незримого далека видишь тот дом, где когда-то жила ни на кого не похожая женщина, однажды похоронившая мужа, видишь и тот портрет на стене, с которого устало оскаливался недавний хозяин, и стол хозяина с кучей еще непрочтенных бумаг, в которые он упрятал свой голос.

4

«Итак, они достали меня. Мой юбилей — это их реванш. Естественно, в этом никто не признается. С тем большим тщанием сделать все, чтобы залить купорос елеем и наконец-то слепить из Гранда вполне безобидный аттракцион.

О-хо-хонюшки! Можно себе представить, как бы я всех обвел вокруг пальца, если бы соскочил с планеты за несколько дней до всей кутерьмы. Злорадство, но и разочарование! Сложная человеческая природа дуалистична. Она вмещает самые разноречивые чувства.

Я потому и отказался от всех соблазнов антропоцентризма, я чувствовал эту лукавую двойственность. И каждый отдельно и все мы вместе успешно творим и разрушаем. На протяжении тысячелетий при каждой смене цивилизации мы всякий раз с появлением новой, казалось бы, ее совершенствуя, все резче сокращаем дистанцию между истоком и исходом, меж колыбелью и эшафотом.

Я занимался футурософией. Веселой и печальной наукой. Наукой, заглядывающей туда, за поворот, за тот порог, за горизонт, за опущенный занавес. Туда, где сиротствует мир без меня. Мир, который покинут мною и потому убийственно схож с беззвучной ледяной пустыней. Ибо — признаемся в этом без ханжества, без альтруистических клятв — без нас он не может быть полноценным, и тем более способным на радость. С нашим уходом Вселенная блекнет.

Когда в минуту прощальной искренности народная душа проговаривается, ее эсхатологический пафос и незамысловат, и прост. Если наступает твой срок, то и другим нет смысла задерживаться. Смерть выносима, даже красна, лишь на миру, погибать, так вместе. Чтоб не пропасть поодиночке. Если уж суждено — взявшись за руки. Нет, что бы вы нам ни говорили, но одинокая казнь — дыба! Несчастье должно быть разделено еще непременно, чем благополучие. В особенности — уход со сцены.

Вот что я выбрал как дело жизни. Хватило отваги и осторожности. Столь смело предсказываю, столь мало рискуя. Еще одна смешная дуаль. При этом понятная и естественная, как все дуали на этом свете и как сама идея двойничества.

Ох, люди, боги в коротких штанишках! В них вы и прожили на земле, так и застыв в подростковом сознании, не преодолев этой планки.

Быть может, бестрепетное перо запишет историю ваших судорог. Мое не годится — в нем много боли. Когда вы смекнули, что только молитвой пощады не выпросишь, что пребывать в коленопреклоненной позиции и неудобно и неразумно, вы понадеялись на просвещение. Сравнительно скоро вы убедились: во многом знании много печали. И впрямь. К тому же печаль не светла, тем более совсем не добра — во многоточии печали много яду.

Чтобы связать концы с концами, вы разделили просвещение на небезопасную цивилизацию и благодетельную культуру. Потом вы поделили культуру на косную и передовую, и все академики вас заверили в том, что прогресс неостановим. Можно было вздохнуть с облегчением, но тут же уперлись в знакомый тупик: все повторяется, господа! Новое постижение тайн, сулившее общее благоденствие, вдруг оборачивается угрозой.

За что уцепиться среди топи блат? Есть вечная идея традиции. И трогательно, и духоподъемно. Родимые корни не подведут. Все верно, но в старой одежке тесно. На улице время людей реформы, за ними приходят люди экстремы. Свежие, сильные, волевые — мы молоды, мы так чертовски молоды! Но с этой молодостью наплачешься, тем более она скоротечна — хватает двух или трех поколений, чтоб исчерпать ее энергию.

Обидно. Но так отчаянно хочется сберечь радикальный взгляд на мир. Зато не хочется ни стареть, ни уступать благоразумию — оно, как давно известно, позорно. Ирония, ты и есть мудрость юности. Лишь ты нам поможешь, приди и выручи. Пришла и помогла. Ненадолго. Снова расшибились об тот же вопрос: над кем потешаетесь, современники?

Этот изнурительный путь, в сущности, был бегом по кругу. Но мы себя утешали тем, что повторяем его, мужая. Как говорится — на новом витке, в сиянии обре-

тенной зрелости. Странная зрелость — пахнет трупом. Новый виток над старой бездной.

Сородичи! Прошу мне ответить. Не потому ли мы так охотно жонглируем эрами и народами, что мысли о себе избегаем? Эта жестокая неразбериха, составившая нашу историю, выплеснулась из нашего страха. Сначала — из страха перед миром. Потом — перед своею природой. Надежнее раствориться в куче, существовать по законам стаи.

Сделанная на генетическом уровне, ставка на множество не случайна. Число исходно враждебно истине. Чем запредельнее одно, тем неотчетливее другая.

На что же рассчитывать? Что нас ждет? Безмолвствуют коллеги-предикторы, безгласен их провидческий дар.

Пожалуй, стоит оставить в покое дорогу племен и поток времен. Дай посмотреть на себя, человек, странное древо в саду Господнем, что носит в своем стволе наш жребий. Постичь бы твою неумную страсть к уничтоженью тобой сотворенного. Твою безграничную убежденность, что можно переписать черновик.

Но предок ли выбрал нам эту судьбу, которую перебеливать невозможно? Вниманию! Тут я застрял на полжизни, пока меня не огрела молния — догадка на грани жизни и смерти!

Я понял, что вовсе не наше минувшее, канувшее и изжитое нами, и наследующее ему Сегодня, внушают нам способность предвиденья. Все обстоит н а о б о р о т. Именно то, что еще предстоит, — причина того, что было, что есть. Конечное объясняет все то, что мы увидели в Начале и — соответственно — в Продолжении. Только поняв это, я прикоснулся к горестной тайне футурософии.

Отныне я знаю: моя наука — не вдохновенное гадание. Явилась она не из колб алхимиков, не из астрологических карт, не из наитий безумных пророков. Пусть даже кто-то и ощущает ее мистическую основу — все взвешено, сочтено, измерено. Знание, в котором так явственно слышится грозный свист предначертанности, дороже философского камня.

Смелее. Дерзнем и спросим с будущего за все, что предшествовало ему. Мужайтесь — мы видим перед собою финал, о п р е д е л и в ш и й начало.

Похоже, что участь была решена, когда мы выхватили у будущего его глобалистскую идею человека, размытого в человечестве, и сделали ее главной целью. Люди, не овладевшие жизнью (а их абсолютное большинство), склонны довериться бессознательному, всегда избирающему общность вместе с готовностью в ней раствориться. Предпочитающему отказ от собственной сути и от потребности ее осознать и следовать ей.

Мы драматически проскочили наиважнейшую часть маршрута, предписанного нам эволюцией. Как следствие, наше индивидуальное довыплотилось в коллективном прежде, чем оно стало личностным. (Не стану говорить о титанах и прочих отклоненьях от нормы, лишь выражаю им сочувствие.)

Трагедия была обусловлена все той же двойственностью природы, о коей было сказано выше. Мы переполнены гордыней, но мы же отрицаем себя в подполье своих уязвленных душ. Мы добиваемся определенности, и нам же, едва ли не с первого дня, требуется параллельная жизнь. Мы говорим о пользе сомнения, и мы же готовы сосуществовать с самыми странными фантомами, которых выращиваем в себе.

Это двоящееся бытие я обнаруживаю и в ближних и, сколь это ни грустно, — в себе. Ибо я также тот Doppelgänger, несущий, как крест, нашу судьбу.

Бомондюки и великосветчики! Вот вам моя юбилейная речь. Она и бесформенна, и сумбурна. Мало изящества. Много брюзжания. Мало евангельского смирения. Много ветхозаветной желчи. Мало сердечности и благодарности. Много громоздких соображений, необязательных в этой среде. Но я готов их высказать

вслух, они для меня немаловажны. Пусть даже общий фон мрачноват. Оставь надежду, ко мне входящий. Покойник славился прямоотой. К тому же я ничем не рискую. Вашей любви я не снискал. Я вызывал лишь раздражение тогда, когда я о вас говорил, тогда, когда я о вас умалчивал. Еще неизвестно, что злило вас больше. Но все же послушайте юбиляра, раз уж вы оказались здесь.

Впрочем, возможно, я пощажу вас. Этот сомнительный монолог скорее всего будет пылиться в ящике. Сюжет допускает любой поворот. Будущее может приблизиться, призвать на суд своего исследователя. Тогда мое слово умрет в безвестности. На свете не найдется кудесника, который прочтет мои закорючки. Да и кому придет это в голову? Что ж, выговориться еще важнее, чем быть услышанным. Сплошь и рядом не слышат живых, не то что мертвых. Напрасно вопят они и безжалостно срывают голосовые связки. Не уподоблюсь. Готов к молчанию. Все это не имеет значения».

5

Гвидон отмечал про себя и вслух, что облик Ваганьковского кладбища меняется на его глазах. Мало что, по его убеждению, осталось от патриархальной идиллии, когда здесь хоронили Есенина. Тогда еще не было на свете ни Гвидона, ни старшего Коваленко, пропавшего в закоулках родины. Немаловажное обстоятельство, однако оно ничуть не мешало меланхолическим сопоставлениям.

— Много металла, бронзы и гипса, — грустно негодовал Гвидон. — Они не дают собраться с чувствами, дают, мешают отдаться горю.

Никто из его близких и дальних еще не покоился на Ваганьковом, но жесткие оценки Гвидона рождали участие и уважение.

Сегодняшнее людское нашествие сулило скорейшее возникновение очередного монумента. Проститься с дорогим человеком явились люди весьма серьезные и, судя по виду их, люди памятливые. Общество было столь многочисленным, что не умещалось в аллеях. «И как рассядутся на поминках?» — мысленно спросил Гвидон, хотя его это не касалось. Кроме того, он успел подумать, что нынешний последний парад не отличается разнообразием — слишком уж много черной кожи, бритых затылков, короткой стрижки.

Все же Гвидон про себя отметил пять-шесть фигур, они вносили в устойчивую цветовую симфонию колористический диссонанс. Лица показались знакомыми. Гвидон не сразу сообразил, что он их видел по телевизору. Известный певец, режиссер, балерина. «Вот так встреча», — удивился Гвидон.

Гроб был наряжен и живописен. Края металлически отсвечивали, дуб лаково отливал свежей краской, размеры также производили незабываемое впечатление. По росту и калибру покойника, достигнутого коварным выстрелом и четко добытого контрольным. Таких же исполинских размеров были бесчисленные венки. Горы цветов почти скрывали окаменевшие черты.

Торжественная музыка смолкла. Гвидон, чуть помедлив, вышел вперед. Лицо его выражало смятение, голос — глубокий душевный разброд:

— Трудно поверить тому, что мы видим, кажется, все это наваждение. Мощный и полный сил Роман, который с великолепным достоинством нес свой заслуженный авторитет, друг и защитник, столп справедливости — вот он, в своем последнем доме на этой оставленной им земле.

Нам еще трудно понять сегодня, как будем теперь мы жить без него, без направляющей властной руки, без этого невольника чести, которую он воплощал в каждом шаге и в каждом дне напряженной жизни, увы, недолгой она оказалась.

Да, он всегда поступал по совести. Законы приходят и уходят, сегодня — одни, завтра — другие. Их пишут люди, а люди могут и ошибиться, кто же не знает. Зато

есть непреложная правда, есть незакатное слово «понятие». И тем, кто забывал о приличиях, безвременно ушедший Роман напоминал о высших ценностях.

И вот он безмолвен и неподвижен. Не слышит слов и не видит слез. Горе подруги его безмерно, но вы, его доблестные соратники, держите сухими свои глаза. Стисните зубы, пацаны. «Убит! К чему теперь рыдания?» — так спрашивал нас когда-то поэт. Так мог бы сегодня спросить Роман.

Какие люди стоят сегодня у этой твоей открытой могилы. Я вижу певца, любимца народа, чей чистый бас укреплял твой дух. Я вижу артиста и режиссера, создателя героических образов, которые тебя вдохновляли. Я вижу блистательную, полувоздушную, прекрасную собой балерину, поникшую под тяжестью скорби, как стебелек под взмахом косы. Я вижу и великого скульптора — резцом, послушным его вдохновению, он запечатлеет твой облик.

Что делать? Судьба неумолима. Не зря говорит Модест Чайковский, брат композитора Петра: «Сегодня ты, а завтра я». Все так и есть. Судьба устанавливает свой круговорот и черед.

Прощай, Роман, взгляни на нас сверху отеческим требовательным взором.

Прощальное слово запальной силой прожгло и черную кожу курток, и партикулярные пиджаки. Слышались дружное сопенье и точно простуженные вздохи. Откуда-то неожиданно донесся тихий неуверенный звон, столь же внезапно захлебнувшийся — колокол не решался вспугнуть благоговейную тишину.

К Гвидону приблизился певец, прославленный бас дрожал от волнения.

— Вы мне всю душу перевернули, — сказал он.

Гвидон невольно вздрогнул. Именно с этими словами к нему обратилась Дарья Гуревич. Они обозначили собою новую ступень их знакомства.

В аргентинском ресторане «Эль Гаучо» певец расположился с ним рядом. С другой стороны сел альбинос с невыразительным лицом, похожим на недопеченный блин. Распяв на стуле черную куртку, мрачно отхлебывая текилу, склонился он над седлом барашка. Три складки, будто три борозды, вспухли на железном затылке. За час он не обронил ни звука. Зато звучал растроганный бас:

— Да, удивительный был человек. Натура могучая, как океан. И жил он безудержно, жарко, размашисто. Можно сказать — себя не жалел.

— Горение, — подтвердил Гвидон.

— Вот-вот — горение! То был костер. Не зря он любил русскую песню. И как ощущал ее красоту! Пускай он не был, как говорится, энциклопедически образован, но мало кто так понимал искусство.

— Самородок, — согласился Гвидон.

— Да-да! Самородок. Точное слово. Всегда и во всем — такой как есть. Он попросту не мог быть иным...

— Цельность, — вздохнул Гвидон, предвидя, что это слово, подобно всем прочим, вызовет цепную реакцию. «Бывалый народ, — подумал он кисло. — Им дай только тезис — они развернутся».

— Да, цельность, — воскликнул певец. — Он попросту был верен себе. Вы нынче расставили все по местам. Давно уже пора отказаться от примитивных стереотипов, оценивая таких людей. И уж тем более — их деятельность. Как он умел дружить! Однажды, в минуту слабости, я невольно посетовал на своих злопыхателей. Знаете, что он тогда сказал? «Слушай, не держи меня за руки. Враг моего дружба — мой враг».

— Опора сырых, — сказал Гвидон.

— Таким он и был! Но я воспротивился. «Бог с ними, — сказал я ему. — Пусть брызжут слюной. Они мне жалки».

Белесый сосед вытер уста, потом негромко проговорил:

— Врагов — что грибов. Всех не поджаришь. Ты приспособь их, чтоб польза была.

Гвидон отозвался:

— Мысль волнующая.

Противившись с соседями по застолью, он начал проталкиваться к выходу, стараясь не привлекать внимания. В «Эль Гаучо» становилось все жарче. Бойцы вспоминали минувшие дни и трогательные эпизоды из практики павшего героя. Резкие голоса их подруг звучали все звонче и неуступчивей. Знойное крепольское гнездышко гудело, дымилось и содрогалось.

— День содержательный, — думал Гвидон. — Оплакал московского Робин Гуда и слушал поистине трубный бас первоначального накопления.

Гвидон не направился в метро, не стал и ловить попутной машины — он предпочел пройтись пешком. Пока он сидел в аргентинской крепости, дождь пролетел над вечерним городом, дышать стало свободней и легче. Он ощутил хорошо знакомую, не очень понятную потребность в нескольких емких, точных словах — на сей раз способных передать дыхание неба, плеснувшего ливнем, но в голове почему-то шуршала какая-то семечковая лузга — пьяные вскрипы и чьи-то угрозы. Все это было так далеко от тихой свежести этого мира, ополоснувшего потный лик. К тому же и сам городской воздух уже стремительно возвращал привычный запах бензина и гари.

Улицы сменяли друг друга и были не схожи между собой. Одни — в многокрасочных огоньках — прельстительные витрины города, другие — молчаливые, грозные. Они словно дышали в затылок сырой темнотой, пугливо разреженной скаредным светом подворотен.

Вдова не сразу отреагировала на неуверенный, сразу смолкший, извиняющийся звонок. Когда наконец дверь распахнулась, он увидел ее, неприступно застывшую, гибкую, словно хлыст дрессировщика, занесенный перед ударом.

— Можно войти? — спросил Гвидон.

— Входи, если храбрый. Кого отпел?

— Авторитетного человека. А почему я должен быть храбрым?

— А потому что пришел перебравший.

— Я работал.

— Об этом и говорю.

Гвидон обиженно выпятил губы.

— По-вашему, значит, моя работа — гульба и пьянка?

— Вроде того. Всякие тосты за упокой.

— Очень прекрасно вы рассуждаете, — с горечью произнес Гвидон. — Просто какой-то палеозой. Эта работа, к вашему сведению, вреднее забоя. Позвольте пройти.

— Пройди, если ты дееспособен.

— О, господи... — прошептал Гвидон.

Когда он уселся в Грандово кресло и по привычке обменялся с портретом профессора быстрым взглядом, он вновь испытал благодарное чувство. Век бы сидеть за этим столом! И не заметишь, как пронесется еще одно лихое столетие.

Наследие Гранда составляли одна достаточно цельная рукопись и многочисленные записи без очевидных естественных скреп. Книга могла быть хоть куда — с одной стороны, она способна привлечь к себе высоколобую публику, с другой — любителей маргиналий, поклонников лапидарного жанра. Беда только в том, что нет издателя, который готов затрепетать при звуке уже забытого имени. Прекрасная дама за стеной платит ему свои вдовьи рубли за то, что он силен в конъюнктуре, но это — предел ее возможностей. Нет ни цехинов, ни дукатов.

Он неожиданно подумал о грустно ржавеющих снарядах, о похороненных стопках бумаги, которые не оживут никогда, об этих потерянных находках, перепол-

нявших когда-то искателей восторгом и гордостью, о страстях, давно уже обесчеленных временем, о мыслях, никого не задевших, ибо они угадали в безвестности, и выругался негромко, но с чувством.

Потом он с уважением вспомнил слова философа в черной коже о том, как надо использовать недругов.

— Поди приспособь их, — буркнул Гвидон и погрузился в еще одну запись.

«Как много прошло их через мой век, как много их вертится и поныне — ныне уже на периферии и бытия моего и сознания. По-разному сложились их судьбы, но все они прыгают на подмостках, ведут свою ролевую жизнь. Унять для них — что откинуть копыта. Играют в ученых, играют в дельцов, в любовников и в любящих женщин. Играют в политиков и политологов, в людей, облеченных особым доверием и пользующихся особым влиянием. В важных персон. В Очень Важных Персон. В митрополитов в белых ризах и в очень уж серых кардиналов.

И все они прочно во мне застряли. Цепкая скопидомная память профессионального барахольщика не отпускает ни одного. Коплю всякий хлам в своей кладовке. И пыльную уцененную заваль, и ущемленных молодых честолюбцев, которые хотят совместить презрение к прошлому, ненависть к сущему и светлую надежду на будущее. Юным ослам не приходит в голову, что три эти времени целокупны. Что измерения пересекаются, и время, итожащее историю, ответственно за характер периодов, эпох, всех долгих тысячелетий, работавших на этот итог».

Гвидон оторвал глаза от прочтенного и вопрошительно посмотрел на остроугольное лицо, запечатленное на портрете. Гранд по обыкновению скалился. Гвидон присвистнул, придвинул поближе еще непечатый лист бумаги и принялся покрывать его знаками. Задача оказалась нелегкой. Подтекст был много важнее текста. Прозрачный арбузный шар над столом выжидательно освещал страницу.

Венцом его богатых усилий явилось такое обращение:

«Фонд Грандиевского сообщает, что в скором времени будет выпущен том известных сочинений выдающегося футурософа. Книга представит покойного автора не только как мощного ученого, но и как тонкого наблюдателя и знатока современных нравов.

В однодмник «Завещание Гранда» включаются следующие разделы:

1. Фундаментальное исследование «Интимная Футурософия». (Опыт вольного полета и свободного плавания.)
2. Отвага прощального прогноза («Доживем ли до понедельника?»).
3. Прошлое как следствие будущего. (Опыт материализации времени.)
4. Ночные мысли («Трофеи бессонницы»).
5. Зарисовки. (Любимые маргиналии.)

Читателя несомненно захватит смелый и нестандартный взгляд создателя оригинальной теории, его пронизательный интеллект, помноженный на дар участия.

Особый интерес вызывают предпоследний и последний разделы — в четвертом собраны соображения, заключенные в чеканные формулы. В пятом, завершающем книгу, приводятся яркие характеристики — всепроникающее перо действует, как скальпель хирурга. Петр Грандиевский дает их встреченным им на пути персонажам — коллегам, политическим деятелям, людям науки и искусства и, наконец, просто знакомым, заслуживающим упоминания. Зоркость и меткость, нелицеприятность, убийственная точность анализа и пенящееся остроумие доставят читателю безграничное, ни с чем не сравнимое наслаждение».

Гвидон подписал свой манифест, скромно себя поименовав «секретарем-координатором», и пригласил к нему обращаться. Для связи он дал телефон Грандиевской, названной им «генеральным директором».

В течение творческого акта Гвидон ощущал большую усталость, однако, закончив, он обнаружил, что утомление улетучилось. День, начатый с постылой обязанностью, неожиданно оказался удачным. Гранд одобрительно ухмылялся. Зеленый шар источал сияние. Гвидон был приятно удивлен: «Стоило только ублажить свое литературское самолюбие, и я мгновенно стал бодр и свеж».

Последнее слово ему напомнило, что состояние мегаполиса после внезапного дождя еще не нашло определения. Здравая мысль, что словесность все уже сделала за него, не успокоила Гвидона.

— Слишком амбициозный характер, — вздохнул про себя молодой человек.

В конце концов, он записал в блокнотик, что город прополоскал свое дымное, словно заложенное горло и вновь способен на вдох и выдох.

Метафора внушала сомнение.

— Чисто имажинистский ход. Да и с антропоморфистским душком, — хмуро пробормотал Гвидон.

И все же испытал облегчение.

6

Обращение к читающей публике, помещенное в популярной газете, вдова внимательно изучила. Потом озабоченно произнесла:

— Стоило тебе здесь появиться, и в цивилизованном доме запахло аферой и авантюрой. Что означает эта игра?

— Белые ходят е-два е-четыре и выигрывают, — сказал Гвидон.

— Увидим, ежели проживем, — холодно сказала вдова.

Расположившись в бордовом кресле, Гвидон перелистывал страницы. Гранд наконец-то предстал упорядоченным, опрятным, извлеченным на свет. Вдова, усмехнувшись, спросила:

— Любуешься?

— Все-таки я его декодировал.

Она сказала:

— Ступай в лазутчики. Я тебе дам рекомендацию.

После чего, усевшись с ним рядом, стала просматривать лист за листом. Читала она с немислимой скоростью — Гвидон едва за ней поспевал, — оливковое лицо разурмянилось.

«Куда ни взгляну окрест себя, душа моя, подобно радищевской, уязвляется опостылевшей болью. Глупость ваша разрывает мне сердце».

Над нею можно было посмеиваться в малограмотное время Эразма. Тогда еще можно было надеяться, что все-таки она излечима. Ныне, когда запасы жизни подходят к концу, закрома скудеют, — сограждане, уже не до смеха! Роскошь иронии не для нас. Хотя, безусловно, она свидетельствует, что мы барактаемся, как можем.

Мы прожили столько дней с тех пор, как роттердамский гуманитарий писал свою похвалу чудовищу, и каждый из этих дней глупели. Мы исступленно сражались за первенство, думая, что добиваемся равенства, но равенство нас всегда тяготило. Мы требовали себе справедливости, но сразу же от нее уставали — она была слишком прямолинейной.

Первенство стало нашей религией, и мы поставили на прохвостов, которых именовали политиками. Чревоуещатели нас завораживали своими бесстыжими голосами, звучавшими из алчных утроб. Если бы мы были умнее, мы бы их пороли ремнями, но мы поступали наоборот — делали их нашими пастырями.

Мы не могли уразуметь, что тех, кого мы обожествляем, мы неизбежно возненавидим, а утвержденная главенствующей единственная идея лопнет, подобно

раздувшейся лягушке. Мы не смеялись над болтовней, мы ей привычно рукоплескали, не замечая, как быстро глупеют лица людей, колотящих в ладоши. Мы сакрализовали толпу за то, что в ней аплодировать легче — за это нам придется ответить на самом страшном из трибуналов.

Однако до этого далеко, а глупость по-своему неглупа, если она так жметя к множеству и молится на коллективный разум. Она неглупа и тогда, когда пестует сказку о своем простодушии. А простодушия нет и в помине. Зато есть своя витальная сила, не знающая сомнений в себе и переполненная агрессией.

Естественно, уязвима и глупость. Подводит свойственный ей темперамент. Она не знает цены молчанию. Ей слишком часто не терпится высказаться. Трибун распечатал свои уста, и выяснилось, что он идиот. За что и был награжден овацией. Публика обожает спектакли, герои которых ее не умней.

К несчастью, меня они не смешили. Меня они — наоборот — угнетали. В этом театре я жил, как в пустыне. Я знал, что это жизнеопасно. Несходство заведомо обречено. Чем ощутимей сплоченность придурков, тем резче чувствуешь отщепенство. А это невыносимое чувство. Чтобы избавиться от него, одни отрекаются от себя, другие приближают развязку.

И все же я стоял на своем: не кучковаться, не жить в табунчике. И если сам задаешь вопросы, сам и держи за это ответ. Я понимал, что стая враждебна и, если я только к ней приближусь, мне ничем не сдобровать. Поэтому я был начеку: одною ногой — всегда за дверью!

Если бы только я мог сказать вам все, что я думаю о вас, соседи по веку и по судьбе! К несчастью, и в будущем футурософа не ждет особое утешение. Когда-то Гельдерлин восклицал: «Люблю человечество грядущих столетий!». Иные разглядывают современников, но все обманываются в потомках».

Вдова сказала:

— Выпустим книгу — даю обет: надеремся вусмерть.

Спустя неделю она спросила:

— Все еще стоит тишина? Зов не услышан, сигнал не принят?

— Где ваша выдержка, патронесса? — менторски произнес Гвидон. — Играется консультативная партия. Маэстро против группы любителей. Им нужно время посоветоваться, прежде чем сделать ответный ход. Сюрприз обсуждается и переваривается. Сейчас происходит великий хурал по всем телефонам. Возможно — и очный. Положение на доске обострилось. Задача черных не так проста.

Она проворчала:

— Все-то он знает.

Гвидон примирительно заметил:

— Этого я не говорю. Я сам только несколько дней назад, признаться, ходил вокруг да около и даль свободного проекта еще не ясно различал. Больше терпения, меньше пламени.

И в самом деле, через денек дремавший телефон пробудился. Сначала позвонил Полуактов, а вскоре — вслед за ним — Долгошеин. Оба пожелали связаться с господином Гвидоном Коваленко, и оба попросили о встрече, причем на нейтральной территории. Полуактов предложил пообедать, Долгошеин позвал Гвидона на ужин.

С секретарем-координатором внезапно учрежденного фонда академик Полуактов планировал иметь доверительный разговор в концептуальном кафе «Петрович», однако, промаявшись ночь в сомнениях, он порешил изменить место встречи, несколько приподнять ее статус. И предпочел ресторан «Сирена». Он нервничал, и его состояние было замечено Гвидоном.

Выслушав от суровой вдовы немало суждений о Полуактове, Гвидон с интересом его разглядывал. Ученый не был хорош собой: мал ростом, лицо пожилого мопса

с ушными мочками, вросшими в щеки. Еще хорошо, что почтенный возраст его избавлял от забот о внешности.

Но ко всему, что имело касательство к его положению в среде обитания, а также на общественной сцене, он был необычайно внимателен. В особенности с тех пор, как ему дозволили княжить и владеть Культурологической академией. Блестящие глаза суетились и пребывали в вечном движении.

Столь же стремительной и экспрессивной была и его манера речи. Гвидон едва отмечал про себя промежутки между словами и фразами. Следя за крылатым полетом периодов, Гвидон профессионально отметил выучку, сноровку и школу. «Десятилетия выступлений на конференциях, на дискуссиях и, прежде всего, на всяких разборках».

— Поверьте, что движут мной исключительно самые чистые побуждения, — с волнением сообщил Полуактов. — С покойным профессором Грандиевским работали мы совместно на кафедре. Еще до моего назначения. Там же была и Сабина Павловна. Я с умилением наблюдал зарождение их красивого чувства, вылившегося в брачный союз. Что, к сожалению, помешало научной деятельности Сабины Павловны. С дамами такое случается. На кафедре было несколько женщин, помню еще Тамару Максимовну. Брак ее с деловым человеком также увел ее из науки. Особенно жаль было потерять обаятельную Сабину Павловну — своеобразие ее личности весьма украшало наш коллектив. Пусть даже склонность к резким оценкам порой и осложняла работу. В этом ощущалось влияние Петра Алексеевича — он был известен парадоксальностью своих взглядов.

Полуактов наконец сделал паузу, выжидательно взглянув на Гвидона. Но секретарь-координатор не откликнулся ни единым словом — только уважительно слушал. Полуактов нахмурился и сказал:

— Естественно, что Сабина Павловна лично возглавила этот фонд. Ей хочется продлить жизнь мужа. Достойный, благородный порыв. Отлично понимаю ее. Но ведь продлить и увековечить вовсе не значит впахнуть в издание все, что завалилось в столе. Именно строжайший отбор определяет ценность наследия.

«Мы переходим к сути дела», — мысленно встрепенулся Гвидон.

— Я очень внимательно ознакомился с обнародованным составом книги, — взволнованно сказал Полуактов. — Не собираюсь спорить с покойным, с его пониманием футурософии. Мне приходилось с ним дискутировать в рамках нормальной научной полемики. Сабина Павловна, верно, помнит. Сегодня все это неактуально, и время теперь плюралистическое. Речь не о том, совсем не о том! Я говорю о последнем разделе — об этих спрятанных до поры разного рода маргиналиях. Голубчик, хочу быть понятым верно. Я ведь пекусь не о себе — только о доброй славе покойного и репутации академии. Да Гранд и сам не даром же прятал все эти эпиграммы в прозе от всякого постороннего глаза. Я говорю об этом с вами — с женщиной говорить бессмысленно. Тем более когда женщиной движет некое безотчетное чувство. Необъяснимое и недоброе. Но вы с вашим свежим взглядом на вещи и чутким современным умом должны оценить ситуацию здраво. И видеть, что затея чревата.

Гвидон одарил его ласковым взглядом.

— Я понял вас, — сказал он сердечно. — Должен признать, что не вы один делитесь со мною тревогой. Отраднo, что в основе ее — забота о чистоте его имени. Сабина Павловна, да и я, растроганы таким отношением. Все опасения выглядят вескими. Научную мысль не красит соседство с неприятными обрывками. Поэтому я счастлив развеять все прозвучавшие сомнения и успокоить — вас и других. Всех, кто болеет душой за Гранда.

Гвидон почти любовно взглянул на Полуактова и приступил к итоговой части своей декларации.

— Сабина Павловна не случайно дала себе клятву опубликовать эти запечатленные молнии. Ученый муж предстает нам с новой и — ослепительной — стороны. Характеристики разных людей являют, по сути, характеристику создавшей этих людей эпохи. Они не уклончивы, не обтекаемы и именно потому — художественны. Сразу же возникают в памяти и Лабрюер, и Ларошфуко, но только с точными адресами. У Гранда нет никаких умолчаний, всех этих пошлых «ЭнЭн» и «некто». Все названы и поименованы. Честная мужественная позиция. Метко, на отмашь, в медный лоб. Пламя масштабного человека, не опускающегося до укусов. Если он бьет, то наповал. Дело не в издательской корысти. Этот раздел — украшение книги. В чем и состоит его смысл.

Полуактов сидел белее бинта. Дышал он тяжело и натужно, как изнемогший марафонец. Глаза его окончательно выцвели.

Потом он еле слышно сказал:

— Я уверяю вас: это воспримут прежде всего как сведение счетов.

Гвидон печально развел руками. Жест этот словно признавал: такое исключать невозможно, хотя и обидно, что мир таков.

— Каждый воспринимает явление на собственном уровне, — произнес он. — Однако у Гранда есть свой читатель. Будем рассчитывать на него.

Полуактов негромко проговорил:

— Скажите, а кроме Сабины Павловны никто не принимает решений?

— За ней, безусловно, последнее слово, — сказал секретарь-координатор. — Но, разумеется, члены фонда — тоже не последние люди. Они имеют свои права. В том числе право быть услышанными.

— А узок круг членов? — спросил Полуактов.

Гвидон внимательно оглядел преданное лицо академика.

— Да, к сожалению. Страшно узок. Как круг дворянских революционеров. Однако мы его расширяем. Чтобы в нем не было однобокости.

— Очень разумно, — сказал Полуактов. Глаза, потерявшие было цвет, самую малость поголубели.

— Но гнаться за именами не станем, — жестко сказал молодой человек. — Это должны быть только те, кто может помочь не словом, а делом.

— Естественно, — прошептал Полуактов и вытер платком чело и щеки.

Он дал понять, что к подобным людям относится с истинным уважением. И сам таков — для благого дела может пойти даже на жертвы. Естественно, в разумных пределах.

Договорились о новой встрече. Расстались, довольные друг другом.

Другой темпераментный монолог, произнесенный с немалым жаром, Гвидону пришлось услышать за ужином в ресторации «Пекинская утка». Долгошеин, в отличие от Полуактова, сразу же взял быка за рога. Сообщил, что открыт для диалога. Это был плотный человек с внушительным ноздреватым лицом, с круглыми глазами навывкате, которым он старался придать почти отцовскую теплоту. Этот родительский взгляд контрастировал с его большим саблезубым ртом.

Слова он не произносил, а выкрикивал. На каждую из фраз приходилось по несколько вскриков, и казалось, что с треском взрываются петарды.

— Поймите, господин Коваленко, я пригласил вас на эту встречу, чтобы говорить откровенно. Петлять и вилять — не в моей природе. Всякие скользкие пируэты и им подобные телодвижения попросту недостойны людей, которые уважают друг друга.

— Вас беспокоит последний раздел? — жестко осведомился Гвидон.

— Ах, так? Без церемоний? Тем лучше. Я ведь открыт для диалога. Да, речь идет о последнем разделе задуманного вами издания. Я человек большой прямоты

и потому не стану твердить, что в книге посмертной, последней книге, подобному разделу не место, что это дань обывательским вкусам. Я человек обнаженной искренности и потому не хочу скрывать: у нас с Грандиевским была непростая, большая история отношений. Но сталкивались не люди, а принципы, вот что необходимо понять. Он был человек вне идеологии, а я старался ему объяснить: пока существует государство, идеология неотменима. А государство в нашей стране, в стране бесспорно патерналистской, бессмертно, как становой хребет.

Он посмотрел на собеседника, словно ожидал возражений. Но тот его ненавидел молча.

Поэтому Долгошеин продолжил:

— Поверьте, господин Коваленко, что я забочусь не о себе. Всякая шкурность мне отвратительна. Но жизнь моя переменилась. Когда-то я был только ученый, теперь я еще политический деятель. Моя репутация принадлежит не столько мне, сколько движению, чьи интересы я представляю. Я сделал драматический выбор, но сделал этот выбор сознательно. Мой друг Грандиевский не понимал, что, в сущности, я принес себя в жертву. Я — не из тайных корыстолюбцев. Кто спорит, в политическом мире встречаются нечистоплотные люди. Я мог бы много чего рассказать, если б не корпоративная этика и страх испортить вам аппетит. Но, если думаешь о России, тут уж, конечно, не до чистоплотства.

— Вы хотите участвовать в нашей работе не словом, а делом? — спросил Гвидон.

— Ах, так? В лоб? Прямо? Ну что ж, тем лучше. Вы правы, я говорил с Полуактовым. Искренность, абсолютная искренность. Готов и открыт для диалога. Скажу вам больше: если я вижу, как принципы превращаются в догмы, в пустые, окаменелые догмы, то я не стану за них цепляться. Мне не впервые идти на жертвы, и я способен на них идти.

7

«О, этот скрежет эпилога! Планета, подобно Левиафану, бьется, колотится, содрогается между обоими полюсами, между влечением и пониманием. И, как обычно, ей бы хотелось все более ускорить движение, хотя ускорение означает лишь приближение к трагедии. Спасительный инстинкт ей подсказывает: лишь предельное торможение, способное отключить сознание, может отсрочить этот исход, но страх анабиоза сильнее. Хочется прыгнуть в неизвестность, хотя в ней и нет ничего неизвестного. Эйнштейн недаром и не однажды напоминал о «пространстве-времени» — их т я н е т вращение нашей планеты. Смешно разъединять времена, смешно разъединять и пространства, еще смешнее и самоубийственной разъединять их между собой. Осколки миров, останки светил красноречиво о том свидетельствуют. Но вы, озябшие головой, даже и увидев, не видите.

Мистическая основа мира для вас беззвучна, как гул поэзии. В ваших руках решительно все теряет исходное назначение, и храмы превращаются в жертвенники. Чего ни коснетесь — там прах и пепел.

А нам-то как быть, нам, партизанам, сознательно увидевшим жизнь как сумму интеллектуальных фрагментов? Мы ведь живем от набега к набегу. Поняли кожей: система мертвит, истина — в минуте догадки, правда и жизнь — в штрихе, в оттенке. Нам трудно смириться и отказаться от ежедневных усилий духа, даже осознав их опасность. С тех пор, как моя футурософия с ее проскопическими способностями позволила мне увидеть прошлое не как причину, а как следствие, я понимаю: пора уняться. Когда созреваешь для децентрации, то обретаешь новое зрение. Можно ли тешить свое самолюбие, чтобы лишать остальных надежды? Стремно и стыдно. Остановись. Поэтому я обрываю работу. Фрагменты остаются фрагментами».

Раздался требовательный звонок. Вдова перевернула страницу и отворила входную дверь. Увидев Гвидона, она протянула:

— Явился младой уловитель душ. Он долго ходил с шапкой по кругу.

— Очень обидно, — сказал Гвидон. — Я откусил бы себе язык, прежде чем попросить хоть копейку.

— Звучит по-дворянски. Даже по-княжески.

— Но если люди хотят способствовать изданию наследия Гранда, которого они почитают, я этим людям — не помеха. Хватать их за руки я не стану. Можете чернить меня дальше.

— Откуда ты взялся, такой ранимый?

— Оттуда, из-за горной гряды. Из-за хребта, который делит сердечный Юг и бездушный Север.

— И много вас там, таких захребетников?

— А все такие. Все — с тонкой кожей.

Они неспешно прошли в кабинет. Гвидон со вздохом уселся в кресло. Вдова принесла ему кофе с крекером и сардонически произнесла:

— Убого после твоих пиров, но иногда полезно вспомнить, как принимают гостей разночинцы. Славно тебя ублажил Полуактов?

— Были в «Сирене». Я себя чувствовал, словно Садко на дне морском. Всюду аквариумы. И пираньи. Что за стеклом, что за столом. Сидят себе и двигают челюстями.

— А что на столе? — спросила вдова.

— Дары воды. Сельдь со слезой. Форель поэтическая, как дева-венница. Лосось.

Вдова сказала:

— Не слабо. Не пожалел бы гранта на Гранда — и не пришлось бы теперь вертеться.

— Да, монстр шустр, — сказал Гвидон.

Вдова презрительно уронила:

— Какой он монстр? Так... глист в кишке. Обычная партийная жопа.

— Еще состоит? — изумился Гвидон.

— Не знаю, — отмахнулась вдова. — Где-нибудь точно состоит. Такие присоски не могут без крыши. А что Долгошеин? Он тебе — как?

— Зеро. Сообщил, что он государственный. Водил меня в «Пекинскую утку». Меню смешанное: пельмени с креветками вместе с национальной идеей. Сначала он мне лепил горбатого с очень гражданственным надрывом, потом кололся до пупа. Я сам — просвещенный абсолютист, но тут потянуло на русскую вольницу. Хотя бы — на новгородское вече.

— «Сирена» и «Пекинская утка». Недешево ты им обошелся.

— Это еще только начало.

— Жулики, — пробормотала вдова. — Все жулики. И ты в том числе. Все — скифы с жадными очами.

— Благодарю вас. За скифа — в особенности.

Вдова не ответила. Две желтые молнии вылетели из разгневанных глаз.

— Оба они друг друга стоят. Оба работают в этом цирке. Долгошеин — печальник горя народного, а Полуактов — светильник разума. Беленький, чистенький, благоухающий. Как унитаз из магазина.

— Сильно страдал, — сообщил Гвидон.

— Нечем ему страдать, недоноску. Нет сердца — один сплошной желудок. То же самое — другой проходимец. Японский бог! Ядрена Матрена! Отказываешь себе во всем ради издания книги Гранда, а этот хряк глотает креветки. Иху мать! И от них зависел Гранд!

Она еще несколько раз прогулялась по аллеям ненормативной лексики.

— Это пойдет в последний раздел, — одобрительно произнес Гвидон.

Пересказав ей обе беседы, он подчеркнул, что последний раздел лишает сна его сотрапезников. Они бы хотели увидеть издание без этой части наследия Гранда.

— Какого хера? — взвилась вдова. — Они еще будут мне диктовать!

Гвидон поразился, с какой быстротой она ухватила суть ситуации.

— Я объяснил достаточно ясно, что все зависит от воли вдовы. Мое же твердое убеждение, что без последнего раздела книга потеряет в цене.

Вдова внимательно посмотрела на координатора фонда.

— Да, без него она обесцветится. Тем более его нет в природе.

— Если в нем будет нужда — появится, — заверил Гвидон.

— Сам сотворишь?

Гвидон кивнул.

— В соавторстве с вами. С моей стороны — железный текст, облитый горечью и злостью, с вашей — история предмета. Не зря они просятся в члены фонда. Хотя удовольствие — не из дешевых.

— Кого я пустила в дом Грандиевского? — патетически вздохнула вдова.

— Очень обидно. Впервые в жизни люди хотят послужить добру. Я у них на пути не встану.

— Это я слышала. Благородно. Кстати, трезвонила одна дама. Подай ей Гвидона Коваленко.

— Какая дама?

— Тамара Максимовна. Когда-то мы были в одной упряжке — в качестве младших научных сотрудников. Младше нас не было никого. На кафедре, и не только на кафедре, всего лишь две смазливые барышни. Наше служение науке было, естественно, окрашено страстной межвидовой борьбой. Сразу ударили в два смычка. Гранд открывал нам горизонты, а мы за него сражались в кровь.

— Страшное дело, — Гвидон пожегил.

— В этой незабываемой скачке я обошла ее на корпус. С тех пор она колотит копытцем, едва слышит мое контральто. Так и не сумела простить ту историческую победу.

Гвидон вздохнул.

— Ее можно понять.

— Зато теперь судьба за нее. Я — одинокая вдовица, а у нее супруг — олигарх. Или — кандидат в олигархи. Не знаю уж как, но она завалила какого-то взмыленного мустанга постиндустриальной эпохи. Вряд ли особенно преуспеет на подиуме мужских моделей, но имеет промышленное значение.

— По правде сказать, я обоим сочувствую, — великодушно сказал Гвидон.

— Меньше за них переживай, — непримиримо сказала вдова. Потом усмехнулась: — Визит к этой стерве для гуманиста безопасен.

— Вы так думаете? — Гвидон потемнел.

— Зуб даю, — сказала вдова. И добавила: — Но дело есть дело.

— И вы бы простили мне грехопадение? — осведомился Гвидон с дрожью в голосе.

Вдова сказала:

— Не мью — не смылишься.

Гвидон ушел, едва попрощавшись. Подчеркивая свое равнодушие, следует все же блости приличия. А если вспомнить, что ежевечерне его выпроваживают из дома? И постоянно — минута в минуту?! От злости Гвидон перешел на рысь.

Он позвонил Тамаре Максимовне. Дама сказала, что хочет встретиться, но попросила ее навестить из уважения к ее полу и пошатнувшемуся здоровью. Она добавила, что для нее раз навсегда исключены любые общественные места — всю-

ду охотники за дичью. Сказала, что просит поторопиться — она в угнетенном состоянии.

Тамара Максимовна его встретила в строгом темно-зеленом платье, заманчиво ее облежавшем. Была улыбочива и радушна, но собранна и боеготова, точно начищенный клинок. Внешность не оставляла сомнений: над ней работают умные руки. Черты чуть мелковаты, но правильны. Кудри с эффектной рыжизной также вербовали поклонников. Она разговаривала негромко, держась лирического регистра, но голос ее порой вибрировал, густо-коричневые глаза обнаруживали дремавшее пламя. Несколько портили дело десны, которые на беду захватили слишком большую территорию. Они теснили верхние зубки.

Гвидон был принят в просторной комнате — ее назначение было неясно. Гостиная? Может быть, опочивальня? (Тахта занимала треть пространства.) Комнат в квартире было много, и каждая ждала восхищения, но эта уже не ждала, а требовала. Гвидон покосился на пол под ногами, выложенный пестрой мозаикой, на стены охряно-песочного цвета, на бирюзовые стекла окон — все это ему не понравилось. Кроме того, латунный цвет люстры, видимо, выбранной за ее тяжесть, действовал Гвидону на нервы. Дня бы он здесь не продержался. Казалось, что он в каких-то термах, его бы не очень-то удивило, если бы в комнате Тамары забили голубые фонтаны.

— Так вот вы какой, господин Коваленко? Можно мне к вам обращаться по имени? Вы еще так пленительно молоды. Значит, Гвидон. Тот самый Гвидон.

— Это пока не вполне доказано. Был во Флоренции, в дни дуэченто, некий Гвидо де Кавальканти. Совсем не исключено, что я ветвь от этого древа.

— Охотно верю, — проворковала Тамара Максимовна. — Тем лучше. Вы, конечно, догадываетесь, что я ознакомилась с вашим проспектом?

— Я допускаю эту возможность.

— Догадываетесь вы и о том, что побудило просить вас о встрече?

— Теперь уже — да. Последний раздел. Он вызвал почему-то волнение.

— А это было легко предвидеть. В годы, предшествовавшие кончине, Гранд жил одиноко, стал нелюдимом. И, как теперь мне стало понятно, возненавидел весь белый свет. Я-то знала его другим — неотразимым и искрометным. Таким и мечтала его запомнить. К большому несчастью, его подчинила опасная мстительная особа, скверно влиявшая на него.

— Простите, я не могу в этом тоне вести разговор о директоре фонда.

— Не можете — не надо. Замнем. Но не случайно многие люди просятся после тревожного сна в ожидании несправедливой обиды, а также морального ущерба. Покойник умел попасть в больное, этого у него не отнимешь...

— У него уже достаточно отняли, — вставил Гвидон.

— Речь не о том. Я утверждаю — и передайте эти слова вашей начальнице, — что я любила его всем сердцем, хотя это было и нелегко. Нрав у него был деспотический — чуть что не по нем, он жал на гашетку. Но, видит бог, не я, а она, эта ползучая анаконда, свела его в раннюю могилу, настроив против всех на земле.

— Послушайте, вы опять за свое...

— Не буду. Сказала же вам — не буду. И ей еще хватает бесстыдства играть в безутешную вдову! Вы мне внушаете доверие, и я хочу с вами быть откровенной. Мы яростно, страстно любили друг друга. Забыть не могу, как мы слушали Баха, и он неотрывно смотрел на меня. Но я была юная, непосредственная. Он удивлялся моей внезапности. И даже называл непоседой. А как-то сказал: «Далеко пойдешь». — Улыбкой она дала понять, что Гранд не ошибся в своем предсказании. — Теперь-то мне ясно: он втайне страшился, что, как я пришла к нему, так и уйду. Вдруг. Не сказав ему ни слова. Мы оба были сложные люди. Это вам надо иметь в виду.

— Естественно, — согласился Гвидон. — Я ведь и сам в душе Раскольников. Сначала — топором по старушке, а после — низкий поклон Страданию.

— При чем тут старушка? Явилась Сабина с этим лицом яванской мулатки, подкараулила злую минуту... Ну, это еще я могу понять. Но чтобы после... неугоми-мо... разогреть в нем его досаду и всякие недобрые чувства... Толкать его посчитаться пером...

— Я все-таки вынужден вас покинуть...

— Да, перестань, перестань ты злиться. Какие недовольные губы... Дай ему волку — он тебя съест. И эти его глаза олененка... И чем она тебя так взяла?

«Она уже перешла на «ты», — горестно подумал Гвидон.

Вслух он сказал:

— Тамара Максимовна, я убедительно прошу вас...

— Ну ладно. Ни слова больше о ней. Давай про твою флорентийскую жизнь, раз уж ты в прошлом был Кавальканти.

— Уже не помню. Давно это было.

— Да, да, дуэченто...

— Поэт Петрарка еще не взялся за свой проект увековечить донну Лауру. И сам еще не был устойчивым брендом.

— Ну, бог с ним. Не буду тебя пытаться. Только не злись, я тебя умоляю. Опять эти недовольные губы. Дай их сюда... — Прижавшись деснами к незащищенным губам Гвидона, она зачерпнула их своими.

— Это уж полное безобразие, — сдавленно прохрипел Гвидон. — Я не давал никакого повода. Вы пригласили меня сюда как координатора фонда. Я даже слов не могу найти.

— Фонд подождет. Никуда не денется. Не все на свете твоей Мата Хари.

— Какая облыжная клевета! — Гвидон не скрывал своего возмущения. — За время нашего с ней сотрудничества эта одинокая женщина меня не тронула даже пальцем. В отличие от замужних дам.

— Пальцем... Очень ей это нужно — пальцем... Какой ты еще младенец... Эта Сабина тебя проглотит вместе со всеми твоими конечностями.

— Я запрещаю вам.

— Все. Молчу. Сдалась она мне!.. Скажите на милость — какая священная ко-рова. Не до нее. Не пойму, что со мною. Но так мне нынче мятежно и яростно. Где был ты раньше, такой лучезарный?.. Тихо, бешеный, наказание божье... Тобою можно из пушки выстрелить.

— Кем можно выстрелить? Это уж слишком...

— О, боже... в подобные мгновенья... Ты славный малый, но педант. Все во Флоренции — такие? Кстати, скажи мне, кем я, по-твоему, была в своей прежней жизни?

— Не знаю. В прежней, может быть, человеком.

— В нынешней жизни я — пантера. Улет! — простонала она восторженно.

Когда они пили кофе с тартинками, она сказала со сталью в голосе:

— Ты должен запомнить: я белоснежна. Мой муж не допустит, чтобы в меня метали отравленные стрелы.

— Какая отравка? Какие стрелы? Я даже слова не проронил.

— Сама догадалась. Очень смышленная.

— Счастлив за вас. Но если ваш муж так доверяет вашим догадкам, пусть вспомнит: он не член, не инвестор нашего фонда, и он не вправе определять характер издания.

— Сегодня не член, а завтра член.

— Вот завтра и вернемся к беседе.

— Ну что же. Продолжение следует. Он человек, конечно, земной, но цену мне знает. Не то что Гранд.

— Рад за него.

— Ну, с богом. До встречи. Очень надеюсь, что наше знакомство будет приятным и утешительным.

У двери она снова прижалась своими губами к его губам.

— Это вам даром не пройдет, — сказал Гвидон, выходя на лестницу.

— Что-то во мне есть недоношенное, — томился сомнениями Гвидон, удаляясь от места преступления. — Любое даме, без исключения, сразу же переходит на «ты». Надо подумать о том на досуге.

Быстро накапливалась темнота. Вечер спешил ему навстречу.

Гвидон утомленно пробормотал:

— Останки молодого дофина были погребены в Пантеоне.

8

«Когда-то Гераклит обронил, что «вечность — это младенец играющий». Мало того что забросил семечко в резвое сознание Хейзинги, он дал понять, что мы играемся.

Принято думать, что индивид должен себя реализовать. Важно, что понимать под этим. Самопознание — это одно, самоутверждение — иное. Никто не способствует так инерции, как способствуют ей успешные люди. Однажды завоеватель жизни обнаруживает в ней сумму повторов и понимает, что он иссяк. Гораздо труднее ему понять, что его личная исчерпанность лишь укрепляет порядок вещей. Чем бессмысленнее вращенье колесика, тем увереннее ход Колеса, обеспечивающего незыблемость сущего.

Однажды стабильность теряет прелесть, ее переkreщивают в стагнацию, и молодые волки процесса пытаются повернуть Колесо в другую сторону, не догадываясь, что вернуться в инерционную фазу.

Наша самооценка завышена. В этом все дело, господа. Может быть, стоит в этом сознаться? В самых заметных членах общества всего очевидней его ущербность. Жизнь этих заметных людей — а я не раз ее наблюдал — всегда поистине изнурительна. Она состоит из тайной истерики и вечного страха не добежать. Люди служили не только способностям, выпавшим им по воле природы, — а этого хватит, чтоб надорваться, — они еще трудились над образом, которому надлежало остаться в благодарной памяти правнуков.

Жизнь, подчинявшая будущему свое настоящее и прошлое, жизнь, текущая в трех измерениях, конечно же, не могла быть естественной. Груз трех времен был непомерен.

Еще один превосходный пример, как будущее бывает причиной всего того, что ему предшествует!

Эта душевная болезнь, в том или другом выражении, бушует на всех этажах и ступенях человеческой иерархии, на всех поворотах нашей истории. Она началась давным-давно, едва ли не в первый день творенья, и после уже не прерывалась.

Я — не из числа занемогших и все же знаю, чего я стою. Мои возможности выше уровня, однако же, они не чрезмерны. Это титанам положена скромность и не показана категоричность. Для Их Величеств всегда существуют строгие правила поведения. Я же могу себе позволить меньше зависеть от этикета.

Поэтому, сознавая свой статус, скажу, что я все-таки заглянул за полог второго тысячелетия. Вступая в третье, я не обманываюсь.

Оптимистическая романтика — наш обязательный предмет в годы учения и скитаний, надежда — это наша религия. Взрослея, мы уже повторяем: надежда — это не ожидание, а каждодневный нелегкий труд. Но тот, кто осмелился посмотреть в стальные глаза моей науки, знает, что это труд Сизифа. Печаль и тревога — моя профессия.

Напрасно Вернадский предупреждал, что наше грядущее — в восхождении, ни в коем случае — не в выживании. То не было строкой из учебника. То было обращением к разуму, последним предупреждением, криком.

Вам было сказано прямо и внятно: кроме подъема и выживания, выбора никакого нет. Либо одно, либо другое. Либо победа, либо смерть. Восхождение или крах ноосферы. Поскольку мыслящая материя не может выжить, не восходя. Вы не услышали, господа. Не вслушались в колокольный звон. Вы не сумели уразуметь: оптимистическая романтика осталась в рекомендованных книгах.

Кто скажет сегодня, что популяция восходит? Она, вопреки рассудку, стремилась лишь выжить, и я не уверен, что ныне она на это способна, даже призвав себе на помощь энтелехию как целевую причину.

Но кто я такой, я, ее атом, чтобы судить ее или винить за неспособность взойти на вершину? История нашей судьбы на земле и есть история выживания.

Вот вам еще один невеселый и нелицеприятный фрагмент. Пусть он займет свое местечко в ряду предыдущих и последующих. Печаль и тревога — моя профессия».

Гвидон с усилием оторвался от приготовленных им страниц. Мешали голоса за стеной. В доме сталолюдно и шумно. Едва ли не с грустью он вспоминал, как в аскетической тишине он продирался сквозь бурелом — от закорючек к нормальным буквам, от букв к напористым Грандовым текстам.

Гвидону трудно было смириться с тем, что он скоро отсюда уйдет и остров под теплым арбузным шаром с портретом оскалившегося наставника в проеме между книжными полками вдруг перестанет существовать.

Часы, проведенные в этом окопе, были мечены присутствием тайны. А эти поиски и находки и причащение к мысли хозяина, жгучей и горькой, сходной с улыбкой, запечатленной на холсте! И все же она не обескураживала, а призывала его к погружению — все глубже — на самое дно тишины.

В этой нездешней вечерней стране можно было думать о будущем, которое, что бы ни говорил покойный правитель этой страны, сулило прекрасные перемены и примечательные события. Особенно тому, кто был молод.

В вечерней стране превосходно думалось, мелькали неясные очертания еще ненаписанных шедевров, рождались дорогие догадки, роились несказанные слова.

Какие-то незнакомые лица, непостижимо как появившиеся, вдруг становились почти родными, способными страдать и надеяться. За каждым из них возникала жизнь, вполне достойная стать биографией.

Он сам с волнением ощущал, что в нем все отчетливее звучит странная музыкальная тема. Откуда она взялась — бог весть. Он знал, что ее одухотворили и добровольное одиночество, и эта магическая тишина. Тут-то и начинает трудиться разбуженное воображение.

Едва слышны отголоски и звуки, соединявшие его с миром, но в этой вечерней стране, здесь, рядом — руку протяни и коснись, — есть еще неуловимая женщина, вошедшая в думу и душу Гранда.

Иной раз сквозь жесткий старческий смех Гвидону слышалась будто упрятанная и вдруг пробившаяся наружу болезненная скорбная нота. Казалось, что пишущий человек чувствует, как с каждой минутой воздух вокруг него все морозней, вот-вот и нельзя будет им дышать. Нужно спешить, чтоб сказать о понятном, ска-

зять, чтоб проститься с этим столом, с белым листом, со своей любовью. Нужно спешить, не то не успеешь.

Сам же Гвидон не торопился вернуться к действительности, крайне двойственной. После того как состав издания был обнародован в печати, количество претендентов на членство в созданном фонде заметно умножилось. Похоже, что тяжелой руки и легкого пера Грандиевского страшилось не так уж мало особей, деятельных и полныж жизни. Это внушало вдове оптимизм.

И, вместе с тем, Гвидона смущал экономический вес слабодушных. Он был невысок и несерьезен. Гранд находил своих оппонентов в коммерчески маломощном кругу.

Практически все свои надежды Гвидон возлагал на мужа Тамары, которая звериным чутьем почувствовала эту зависимость. Звонила она чаще, чем следовало, и властно требовала на связь секретаря-координатора.

Сводки звучали вполне мажорно: супруг готов на любое сотрудничество, лишь бы на белое платье жены не пало ни единое пятнышко. Но и вдова была женщина с нюхом и ощутила, что пахнет паленым. Она не скрывала своих сомнений.

— Либо Тамарка сообразила, что с дамочками Гранд не воюет, либо рассчитывает прочесть нечто лестное для ее самолюбия. Думаю, что ведет игру не только с супругом, но и с тобой. А значит — прежде всего со мною.

Вспомнив об ее опасениях, Гвидон проворчал:

— Чертовы бабы... С ними ни в чем нельзя быть уверенным.

Эта справедливая мысль его отвлекла от высоких дум. Беседа за стеной закружилась, и голоса становились разборчивей. Голос гостя показался знакомым. Гвидон не успел его определить. Со стуком закрылась входная дверь.

Вернулась вдова. В ее руке белела пышная орхидея. Махнув ею перед носом Гвидона, она сообщила:

— Привез Долгошеин.

— Одну? — поинтересовался Гвидон.

— Отнюдь, — покачала вдова головой. — Целый букет таких, как эта. Я принесла, чтобы ты взглянул.

— Орхидея от прохиндея, — мрачно проговорил Гвидон.

Вдова рассмеялась и села на стол, вытянув перед собою ноги в кокетливых кружевных чулках.

— Все время заверял в своей искренности, — весело сказала она.

— Искренность — его ремесло, — Гвидон почувствовал раздражение.

— Какой ты все-таки нетерпимый, — критически вздохнула вдова. — Он человек целеустремленный. Этого у него не отнять. Может, и выйдет в политику. Во времена помраченья рассудков пешки и проходят в ферзи.

— Но пасаран, — сказал Гвидон. — Вот еще! Полип желтоносый. Пучеглазая образина. Вылитая ночная сова.

— Что с тобой? — изумилась вдова. — Что ты завелся на ровном месте?

— Я говорю: он не пройдет. Ни в ферзи, ни в слоны, ни в кони. С его пристрастием к элоквенции нет у него ни единого шанса в нашей отечественной политике. В ней ценится бытовая речь, а также вольготное русское слово.

— А что ты уставишься на мои ноги? — спросила вдова. — Ты ортопед?

— Нет. Но я ножной фетишист.

— Каждый день узнаешь про него что-то новое, — устало проговорила вдова. — То просвещенный абсолютист, то фетишист. Да еще ножной.

— У каждого свои недостатки. А, кстати, это как раз достоинство.

Она приподняла свои ноги, вытянула в две смуглые струнки, казалось, готовые зазвучать, и снисходительно кивнула:

— Милы, в самом деле. Могу согласиться. Однако вернемся к нашим барашкам. Тамара внушает мне недоверие. Вот оно — слабое звено. Мог бы побольше гореть на работе.

— Я не жалел себя, кстати сказать.

— Кажется, зря ты собою жертвовал. Жертвы неизменно бессмысленны. Если, конечно, их не приносят из бескорыстной любви к процессу.

Эти прозрачные намеки были особенно нестерпимы.

— Стыдно вам будет за ваши слова, — бросил Гвидон и попрощался.

— Одни дураки себя не щадят, — горько шептал он, спускаясь по лестнице.

На улице он отпустил тормоза. Досталось вдове, досталось Тамаре, в особенности — ему самому.

Он не рещался себе сознаться, что больше всего его донимают не опасения за издание и не тревожное состояние, неотделимое от авантюры. По-настоящему задевает вечное ерничанье вдовы с ее вызывающей невозмутимостью. Фразочка «не мыло — не смылишься» (какое ужасное напутствие!) словно преследовала его. Обида, подлинная обида!

Нормальная женщина была бы блюдца, спустила бы с лестницы, изувечила! При каждом новом звонке Тамары, молочней непонятную чушь о колебаниях мецената, пронзенную грудь сотрясало бешенство. Чувство, решительно недостойное потенциального художника и просвещенного абсолютиста. Но все обстояло именно так. Сейчас им и впрямь было бы можно выстрелить из какой-нибудь пушки.

Безжалостно глумясь над собою, он напросился на аудиенцию к Евдокии Вениаминовне. Совсем как в том беззащитном отрочестве! Это была капитуляция, уязвлявшая его самолюбие.

Евдокия Вениаминовна сидела в своем исполинском кресле в той же позе, в какой с ним простилась, когда он здесь был в последний раз. Казалось, что за все эти дни она так ни разу и не встала. Та же парчовая плотная шаль покоилась на ее плечах, а на губах ее тихо мерцала та же всеведущая улыбка. Была, как всегда, неколебима и статуарно-монументальна. Гляделась как Екатерина Великая.

— Ну что, дружок, — спросила она своим сипловатым, густым баском, — Сабина совсем тебя доканала? Ты отощал, так не годится.

— Это убийца! — крикнул Гвидон.

— Мне ли не знать? — она усмехнулась. — Впрочем, тут есть преувеличение.

— Она измываетя надо мной и распинает на каждом шагу.

— Ясное дело. Ты не части. В чем это все-таки выражается?

— Не знаю, как объяснить, Евдокиюшка. Это продуманная система подавления и разрушения личности. Моей, разумеется.

— Излагай.

С немалым трудом Гвидон исповедался. То был образцовый набор обвинений и долгий, давно копившийся счет. Вдове были поставлены в строку ее ухмылки, ее насмешки, ее обращение на «ты», устойчивый издевательский тон, ее возмутительная фраза о мыле с дальнейшим превращением мыслящего человека в обмылок. Гвидон рассказал и о созданном фонде, и о Тамаре, жене олигарха, и даже об орхидеях политика.

— Много Фрейда и мало фактов, — сказала величественная дама. (Она всегда говорила «Фрейд», венский профессор был бы доволен.) Впрочем, понятно, что негодница.

Гвидон все не мог прийти в равновесие.

— Вы только подумайте, Эдокси, посылает к неуправляемой женщине, способной на меня посягнуть, когда же я законно тревожусь, мне заявляют, что я не смылюсь.

— Да, не дворянское гнездо. Покойный Гранд ее распустил. С другой стороны, ты сам посуди: может быть так, чтоб вошла гимназистка и чтоб вокруг шиповник цвел? Это все тени забытых предков, а нынче, дружок, одна попса. Так, кажется, у вас говорят? Бери что дают, мой друг. Это — жизнь.

— Дают... Никто ничего не дает, — с горечью возразил Гвидон. — Передо мной колочая проволока! Да, Эдокси! Хочу в гнездо! И чтобы девушка в белой накидке. Довольно с меня свободы, раскованности, вседозволенности эпохи заката! Я хочу тихой и робкой любви с пожатием пальцев под столом и с первым стыдливым поцелуем, действующим, как взрыв фугаса, или — совсем наоборот — как мина замедленного действия. И чтоб шиповник алый цвел. Именно так! Он мне и нужен. Я не хочу, чтоб меня рассматривали лишь как продукт для натуробмена, определяя, тот ли формат!

Гвидон еще долго не мог успокоиться. Его конфидентка сурово нахмурилась.

— Мне ли не знать? Однако, дружочек, как у тебя все в одной куче — мины с фугасами и шиповник. Слишком чувствителен — не по времени. Экий ты право... эта Сабина вошла в своих кружевных чулочках, а ты уже сразу пал, как кадавр.

«Можно решить, что она подсматривала», — с ужасом подумал Гвидон. И с грустью сказал:

— Больно вам будет за эти французские словечки.

Она насмешливо пробасила:

— Хочешь по-русски? Пал, как труп. Прости меня, если я ненароком задела твое мужское достоинство.

— Жизнь, в сущности, не удалась, — горько пожаловался Гвидон.

— Ну, полно. Злоупотребляешь штампами. Но ей это так с рук не сойдет. Я ей хотела помочь в нужде, сама послала тебя на выручку. И значит, несу за тебя ответственность. Уж этот мне стиль — мытарить юношу... Держать на поводке человека — тем более порабощенного — грех. К тому же наказуемый грех. Опомнится в клубе для отставниц, бахвалящихся былыми любовниками. Эта камелия мне ответит. Будет еще просить прощения.

— Спасибо вам, милая Эдокси, — с чувством проговорил Гвидон. — Хочется верить, хотя и трудно. Меж нами прошла Великая Схизма.

— Вздор, вздор, мы не святые, мы — люди. Стало быть, можем договориться. Граф Лёв Николаевич (старая дама подчеркнуто произносила «Лёв») начал последний роман словами: сколько бы мы ни портили жизнь, она все равно свое возьмет. Сам тоже много дров наломал, прости его, Господи, но — был прав.

9

«Ну, не смотри на меня с сочувствием. Я не печалюсь о том, что вскорости меня перевезут на тот берег. Стикс — точно такая же река, как прочие реки, во всяком случае — лучше и симпатичнее Леты, в которой тонут наши надежды.

Нет, нет, сочувствовать мне не надо. Сладко ли жить на этом свете, или существовать на нем горько — это вопросы почти забытые — из той, античной поры биографии, из молочно-воскового периода.

Есть более трезвое постижение, открытое первым из маразматиков: жизнь становится утомительной. Тут и задумываешься об исчерпанности. Сколько бы мы ни заверяли в своей неутолимости жизнью, она способна укоротить даже и самых ненасытных.

Вдруг возникает некая ясность в тех или иных вариациях на тему всемирного круговорота, названного Всемировой Историей. Прослеживается все та же суть: неустрашимое содержание, независимое от разнообразия форм.

Любая наука связана с этикой. (В особенности — футурософия.) Пожалуй, даже больше, чем с истиной. Знаешь, что ветхозаветная мудрость обширней и многослойней евангельской, но люди ей предпочли надежду. Сын человеческий возвестил, что мы еще можем спастись любовью.

Мы согласились и с каждым веком звереем все больше и успешней. Научились убивать миллионами. Теперь переходим к миллиардам. Наши этические возможности имеют свой предел, дорогая. Поэтому я со своей ученостью метался в этическом тупике.

Однажды ты попеняла мне, что я в последний миг ускользаю. Что спорить — я постоянно стоял одной своею ногой — за дверь. Счастливей от этого я не стал, зато выносливее — быть может.

Ты спрашиваешь: что из того? Но это было нужнейшим из качеств, ибо мне не дано похвастать выпавшей мне средой обитания. Итог ее трудовых усилий — растущее истребление мира. Венец ее духовной работы — самая жалкая ксенофобия. Все это так — мы провалились.

Но сколько бы я себе ни твердил: сюжет завершен, пора убираться, все-таки я умею понять, что время, которое мне предстоит, близко, бескрасочно и беззвучно. Что можно отдать решительно все за сумерки с их фиолетовым цветом, за тишину в сосновом лесу с этой томительной хвойной одурью, за встречу с морем, за звон апреля с его обещанием любви, за тот раскаленный мороз за окном, когда мы впервые познали друг друга.

Эта страничка — тебе, Сабина. Тобою она окрылена, тобой излилась, тебе — спасибо. Жалко, что ты ее не прочтешь. В последний миг я ускользаю».

Пока она слушала голос Гранда, Гвидон на другом конце Москвы вел диалог с Тамарой Максимовной. Жена кандидата в олигархи вытребовала его к себе, загадочно прошелестев по мобильнику о том, что произошли роковые и чрезвычайные события.

Итак, он снова в постылых термах с ложем, занимавшим их треть, с распутными бирюзовыми стеклами, с нахальной мозаикой на полу.

— Гвидончик, — верещала Тамара, — полный абзац. Муж рвет и мечет. Я думала, он сухой, как валежник, но он оказался ревнив, как вепрь.

— К кому же он ревнует?

— К тебе. — Она удивленно округлила свои коричневые глаза, явно шокированная вопросом.

— Какие же у него основания?

— Основания, положим, и есть, — резонно возразила Тамара. — Но главное: какова интуиция! С таким чутьем он не мог не взлететь.

Гвидон не пожелал углубиться в блестящую карьеру магната.

— Не вешай мне на уши лапшу. Что ты еще ему напела?

— Какой ты, право... Ну, намекнула: координатор неровно дышит. Думала, что ему польстит.

— Уверен, ты этим не ограничилась.

Тамара Максимовна вздохнула.

— Ну, я сказала, что ты пылаешь. И что к тому же ты очень мил. Я по натуре очень правдива. А он...

— А он хорошо тебя знает.

— Ты можешь обидеть меня. Перестань. Странно, что я жива осталась. Всего непонятней, что ты еще жив.

— Можно меня заказать при желании, ежели рыцарь не скупой, — скорбно усмехнулся Гвидон. — Я уж давно кандидат в кадавры.

Она мгновенно насторожилась.

— Что это значит — кадавр?

— Труп.

— Не смей его смешивать с криминалом! — вознегодовала Тамара. — Ревность — благородное чувство. Мне хочется тебя сохранить, но, я боюсь, он на все способен.

— Тщеславие до добра не доводит. А уж тем более — хвастовство.

— Ужас, какой морально выдержанный, — Тамара Максимовна рассмеялась. — Скажи мне, в чем смысл приключения, если о нем никто не услышит?

— И впрямь. Об этом я не подумал.

Она потрепала его шевелюру.

— Мы с тобой не подумали оба. Я и представить себе не могла, что он воспримет подобным образом чистосердечное признание. О фонде он и слышать не хочет. Но, согласись, такая любовь все же заслуживает уважения.

— Окраина общества, — буркнул Гвидон.

— Кого ты имеешь в виду?

— Вас обоих.

— Слушай, ты можешь меня обидеть.

— Надеюсь — смогу.

— И ты пожалеешь, — в воркующем голосе Тамары внезапно обнаружилась сталь. — Я уже тебе говорила: в нынешней жизни я — пантера.

— Это нисколько вам не поможет, — торжественно посулил Гвидон. — Ты и твой муж жестоко обидели не столько меня и Сабину Павловну, сколько духовную элиту. Элита этого не простит.

— Гвидончик, мой муж — человек земной. Поэтому он облокотился и на Сабину, и на тебя, и на духовную элиту. Она у него сидит в приемной.

Гвидон скрестил на груди своей руки и патетически произнес:

— Вот, значит, как вы заговорили? Благодарю вас за откровенность. История знает таких особ, считавших, что человеческий дух бессилен и ни на что не годен. Пришлось им раскаяться в верхоглядстве. Наш Гранд и сегодня живеет всех живых.

— Муж убежден, что книга не выйдет. Много ли в вашем фонде членов?

— Членов достаточно.

— Кот заплакал.

— «Достаточно» действенной, чем «избыточно» — назидательно произнес Гвидон. — Важно, что все — достойные люди.

— То-то они затряслись от страха. Достоинства у них, видно, навалом.

— Тамара Максимовна, я однажды уже запретил оскорблять наш фонд. Вы мне не вняли. Я не намерен выслушивать далее ваши дерзости.

Он вышел на лестницу, не отвечая на возгласы, что неслись ему вслед. Быстро миновал оба марша, гордо прошел мимо двух консьержек и двух задумчивых молодцов, выскочил на тенистую улицу.

— Нет, какова! — он не мог успокоиться. — Пантера подлая! Трясогузка! И я, имбецил, шел ей навстречу. Я, чмошник, ей находил оправдания! «Женщина ищет самозабвения». Ну и придурок! Стыд и позор. С таким капитулянтским характером запросто можно пойти по рукам.

Счеты с самим собой он сводил, пока не вошел в знакомый подъезд. Звонок он нажал с тяжелым сердцем.

— Входите, прекрасный собой вымогатель, — впервые вдова обратилась на «вы».

Гвидон смекнул, что его посещение Евдокии Вениаминовны уже получило свое развитие. «Одно к одному», — подумал он и выразительно закручинился.

— Милости просим, юный ябедник. Давно тебя, наглеца, тут не видели, — вернувшись к привычному местоимению, она, однако, ничуть не смягчилась.

Гвидон безнадежно махнул рукой, давая понять, что такой прием его несколько не удивил.

Вдова сказала:

— Я полагала, что с той розовоперстой поры, когда ты выковырял изюм из ямочки на своем подбородке, ты относительно повзрослел и закалился. Я ошибалась.

Так как Гвидон упорно безмолвствовал, вдова продолжила монолог:

— Нажаловался на меня Евдокии? Из-за твоих постыдных соплей мне была устроена выволочка. Такие прискорбные обстоятельства! Замучили подшефного юношу, которого ей поручила мать его. Конечно, с ним хлопот выше крыши, однако же свой долг она выполнит. Меня ты славно изобразил: не то волчица, не то дрессировщица. Что за манера — канючить и склочничать? Уж подлинно женское воспитание.

— Рос без отца, — подтвердил Гвидон.

— Не зря они над тобой кудахтали. Вырастили какую-то слякоть. Тоже мне — ножной фетишист! Не хлопотать носом, не шлепать губами! — прикрикнула она на него. — Хныкать можешь у своей Евдокиюшки, тут слюни никому не сдались! Черт знает что они с тобой сделали, эти сердобольные бабы, во что они тебя превратили! Зануда, профессиональный жалобщик, сутяга, к тому же еще и плакса! Стоит погладить его против шерстки, сразу же распускает нюни и бросается к своей тете Дусе. Скорее уткнуться в ейные юбки! Одна защита — теткин подол.

— Можно поносить бедных женщин, — сдержанно ответил Гвидон, — за то, что они, денно и ночью отказывая себе во всем, растили несчастного ребенка, пока Коваленко был в бегах. Вполне в вашем духе. Но ваша хула не поколеблет моей благодарности. Они меня сделали тем, кто я есть...

— Сказала бы я тебе, что ты есть, — остановила его вдова.

— Могу себе представить.

— Не можешь.

— Тем хуже. И я для вас — урод, и добрые женщины вас шокируют тем, что в груди у них билось сердце, а не постукивала кувалда.

— Началось, — вздохнула вдова.

— Кончилось, — произнес Гвидон.

Она усмехнулась и предложила:

— Давай мириться.

После чего поцеловала Гвидоновы губы.

— Исключительно из уважения к возрасту твоей настойчивой покровительницы.

— Не из любви же, — кивнул Гвидон.

Их поцелуй слегка затянулся. Гвидон вздохнул:

— Им посчастливилось.

— Всегда надо вовремя остановиться, — менторски сказала вдова.

— Вполне обывательский здравый смысл, — неодобрительно бросил Гвидон.

— Его-то я неизменно придерживаюсь, — сказала вдова. — И все-таки к делу: ты бывал уже у Тамары?

— Имел удовольствие.

— Не сомневаюсь. Так уж она тебя домогалась.

Гвидон рассказал о своем визите, естественно, исключив из рассказа необязательные подробности. В сущности, был важен итог: фонд потерял своего мецената.

— Я не ждала ничего другого, — холодно сказала вдова. — Возможно, какой-нибудь даун в штанах и клюнет по своей недоразвитости на эти изгибы и извивы. Но я всегда хорошо понимала, что предо мной саламандра с крестиком и элегической колоратурой. Гранд тоже быстро в ней разобрался. Ее выдавали десны и зуб-

ки. И эти гляделки фашистского цвета. Понять бы, как выпала эта фишка. Либо ее негодянт как-то сумел собрать информацию, либо ты где-то сам прокололся.

Гвидон согласился с такой возможностью.

— Я слишком неопытен и распахнут. Все верю в победу добра над злом.

— Ты — в ауте, — сказала вдова. — Использован по полной программе.

— Больше всего меня потрясло, — признался удрученный Гвидон, — что жертвенный мой поход к этой даме вас не заставил даже нахмуриться.

— Зато ты познал на собственном опыте, что всякие жертвы всегда бессмысленны. Еще одной такой жертвой больше. Спокойной ночи. Не падай духом. Прорвемся. Похоже, я завелась.

10

«Больше всего я слышал упреков за то, что всю жизнь работал без пауз, и стопка листов на моем столе не сохраняла своей белизны. Я много раз приносил извинения и с должным смирением отвечал, что мозг мой вовсе не просит отдыха, но требует постоянной загруженности. Что делать, если мы вместе трудимся в безостановочном режиме. Правда, такой режим предъявляет одно непрременное условие: мозг должен быть в форме в любое время.

Не знаю, каково ваше мнение — постигла ли меня кара Господня или дарована его милость. Я склонен думать, что был любимчиком.

Люди бывалые утверждают, что поисковое поведение может нам дорого обойтись. Мечемся по кругу, как белки, в горькой мечте найти свое место, или, как принято говорить с некоторых пор, — свою нишу. Различие все-таки существует: место находится под надзором, ниша предполагает укрытие. Оба случая означают удачу, счастливый лотерейный билет. Явно или тайно от близких поиск увенчался успехом.

Но неосвещенной осталась одна существенная деталь: найти себя — не итог, а начало. Поиск внутри всегда изнурительней и беспощадней, чем поиск снаружи. Любимое дело неублажимо так же, как любимая женщина — вычерпывает тебя до конца. Любовь — жестокое испытание. И за взаимность ты должен платить самую высокую цену. Особенно если речь о призвании.

Но я был счастлив под этим небом. Странник в доме своем, островитянин, довольный хлебнувший желчи и горечи, расставшийся со хмелем надежд сравнительно еще молодым, я был за пределами, анафемски счастлив. Ничто на этой суровой земле, на этой почве из глины и камня, с летейской водой под ее поверхностью, ничто не может дать столько радости, сколько напряжение мысли, то, что напыщенно называют интеллектуальным усилием.

Десятки раз я ощущал себя на грани безумия и катастрофы, я чувствовал, что еще немного — котел взорвется и свет потухнет. Но это отчаянье проходило и, возродившись, я снова видел полоску зеленого луча, его обоюдоострое лезвие. Наутро я был готов к привычной тяжелой работе канатоходца, к новой попытке раздвинуть занавес, чуток приподнять завесу над будущим.

Когда я почувал след грядущего в далеких, пройденных нами столетиях, я содрогнулся и на мгновение замер, как Лотова жена, оглянувшаяся на пепел Содомы. Но — странное дело — я испытал не ужас, не трепет пред тем, что ждет нас, а безнаглядную и бесконечную, дотоле незнакомую нежность.

Я видел, как летит сквозь пучину крохотный доблестный светлячок, то вспыхивая, то угасая. Что из того, что его часы уже сочтены, что ему назначено ответить за то, что на нем совершили все те, для кого он существовал? У светлячка короткая жизнь.

И все же он сделал все, что мог — дал свет, дал пристанище, создал мысль, дал счастье продолжения рода. Чего еще требовать от него? Он дал и печаль, богатство которой нельзя ни охватить, ни измерить. Хотя мне порою казалось, что вся она укрылась во мне, в моем существе, что вся она, сколько ее скопилось в вечернем и бесприютном мире, стонет и плачет и хочет узнать: сойдутся ли звезды еще хоть раз, зажгут ли они другой светлячок, будет ли его возвращение в наш галактический лед и жар на этот раз счастливым и долгим? И будут ли те, кому даст он жизнь, свободны от ненависти и тьмы?

Однако и я на своем светлячке знавал удивительные минуты. Я чувствую, как душу мою переполняет пока еще смутное, не выраженное ни звуком, ни словом, неожиданное благодарное чувство. Слова и звука мне не найти, но чувство дано испытать напоследок.

Так поднимись же из-за стола, Выжатый, старый, временем мятый, Выйди же в полдень, пахнущий мятой. Даль, хоть обманчива, да светла. Сквозь поле, видное на версту, Тропинка вьется почти до плеса. Праздник кончается. Время покоса. Весь белый свет — в последнем цвету. А дети носятся по стерне. Все-таки, все-таки, будут дети Долгие годы на божьем свете. Может быть, вспомнят они обо мне?»

11

Хоронили депутата Портянко. Для погребения было избрано кладбище в Митине, неподалеку от местожительства политика.

Лишь месяц назад квартира стала законной собственностью депутата, свидетельством завоеванья столицы. Сегодня она напоминала о бренности и зыбкости благ, требующих немалых усилий.

Обстоятельства кончины Портянко были загадочны и трагичны. Он подходил к финалу речи перед своими избирателями и зачитывал ключевую фразу о назревшей необходимости интеллектуализации отношений. Фраза давалась ему с трудом, Портянко заметно разволновался и потерял координацию. Неосторожный шаг — и с грохотом он рухнул в оркестровую яму (встреча происходила в театре).

Это несчастное падение, приведшее к роковому исходу, вызвало разнообразные толки. Одни говорили, что избранник стал жертвой пристрастия к звонкому слову, оказавшемуся для него непосильным. Другие винули судьбу-злодейку. Третьи твердили, что это спичрайтер, нанятый некоей закулисой, сыграл свою киллерскую роль — дал оратору непроизносимую фразу.

Но все эти версии и гипотезы уже не могли вернуть депутата.

С Митинским кладбищем у Гвидона были не лучшие отношения. Он считал его самым амбициозным из новых некрополей отчего города. Очень возможно, эти претензии возникли из-за того, что вокруг селились преуспевшие люди, в первую очередь наши думцы. Впрочем, и другие места последнего упокоения не отличались демократизмом. Пожалуй, сердцу были милее староверческое Рогожское кладбище и даже опальное Троекуровское, оказавшееся в тени Новокунцевского.

Собравшихся проводить Портянко было немало. Сказывалась корпоративная этика. Гвидон легко узнавал ньюсмейкеров, известных ему по фотографиям и телевизионным программам. И этот неистовый аграрий, и тот выразитель народных чаяний и новомодный идеолог с пухлыми щечками младенца, слетевший с обертки детского мыла, — все они, точно захватчики, вторглись в загруженную Гвидонову жизнь. В толпе выделялась группа людей. Их одухотворенные лица были отмечены благородством — то были лидеры думских фракций.

Речи, однако, не удались. Все они были обидно коротки и повторяли одна другую. Привычные будничные заботы уже возвращались и отвлекали единомышлен-

ников и соратников. В этот момент распорядитель дал по желанию семьи прощальное слово другу покойного.

Гвидон остановился у гроба, несколько раз постучал ладонью по полированному дереву, не столько призывая к вниманию, сколько пытаясь заставить себя поверить, что все это — не тягостный сон. Потом он глухо проговорил: «Не отводя своих глаз, смотрю я на мужественное лицо трибуна, навеки сомкнувшего уста. Возможно, оно не отличалось эстетской кукольной миловидностью, зато несомненно было сходно со сколом скалы, с ребристым обломком серого, точно вечность, камня.

И каждое мгновение вечности, застывшей в этих каменных скулах, ты отдал своему избирателю! Ты не жалел для него ни сил, ни времени, не пощадил и жизни. Твое стремление приобщить его к интеллектуальной наполненности царящих в обществе отношений нам слишком дорого обошлось, но ты ни минуты не колебался, движимый высшей самоотверженностью и жаждой облагородить мир.

И часа не прожито для себя! Все без остатка — электорату! Его заботы были твоими, в служении ему был весь смысл подвижнического существования. Ответственность, искренность, честь и совесть всегда направляли любой твой шаг. Прост ли ты был? Шел такой шепоток. Что ж, ты был прост. Но прост, как правда.

Естественно, что твои достоинства плодили недругов и завистников. Все те же клеветники России, испытанные в своем ремесле, распространяют грязные слухи, что в смерти твоей повинна фраза, в борьбе с которой ты изнемог. Подлый, нечистоплотный поклеп! Известно, что не с такими преградами справлялся ты на своем пути. Любые барьеры, любые заторы ты — хоть не сразу — одолевал.

Но — пусть их! При жизни ты отличался редким умением держать удар. Как мощный, неприступный утес, встречал ты наветы и всякий глум. Никто не услышал твоих оправданий. На провокаторские попытки разжать твои стиснутые губы был, как сказала Марина Цветаева, «ответ один — отказ». Только он! И ты остаешься чист и светел.

Прощай, наш надежный, неколебимый! Прощай, бескорыстный и бескомпромиссный! Наш нелицеприятный, прощай!»

Оркестр обрушил марш фюнебр.

— Опять Шопен не ищет выгод, — чуть слышно пробормотал Гвидон.

— Что-то не так? — наклонился к Гвидону мужчина с депутатским значком.

— Вспомнил поэта, очень мне близкого. Ушелного раньше, чем мой Портянко.

— Сочувствую вам, — депутат затуманился. — Да, все там будем. Закон природы. Спасибо за прекрасную речь. Сразу понятно, что — от души. Вы высказали то, что я чувствую. Гузун, — представился он под конец.

«Другие с этого начинают», — подумал Гвидон с неудовольствием.

Ему пришлось еще несколько раз принять благодарные восторги, с платком в руке пробилась Гуревич. Она умиленно утерла глазки.

Гвидон поразился.

— Дарья! И ты здесь?

— Шурин привез, — сказала Гуревич. — У них с покойным были дела. Какие-то общие интересы. Он тоже от тебя в восхищении. Умри, Гвидон, — лучше не скажешь.

— Резонно. Пора поставить точку, — мрачно согласился Гвидон. — Дать занавес и уйти со сцены.

Гуревич лишь махнула рукой, как бы не придавая значения такому намерению триумфатора.

— Я обещала, что вас познакомлю. Какое все-таки совпадение! Наша вторая встреча с тобой, и снова — свело роковое событие. Ну как тут не поверить в судьбу?

— Друзья уходят один за другим, — со вздохом проговорил Гвидон. — И, мнится, очередь за мною.

— Какая глупость! Ты полон жизни. Но как я рада тебя увидеть! Когда ты исчез, словно канул в пучину, я подумала, что ты бессердечен. И вот эта речь!.. Да, я ошиблась. Сердце у тебя все же есть.

— Есть, и болит, — кивнул Гвидон.

— Боже мой, в каком ты миноре.

— Я — в ауте, — грустно сказал Гвидон. — Я присягнул себе на распятти, что выпущу в свет книгу учителя. Я создал фонд. Я поставил на кон свою безупречную репутацию. Одна эгоистка мне обещала, что муж ее придет мне на помощь. Не знаю, чем я ей не угодил — на днях она сыграла отбой. А ты говоришь, что я полон жизни. Это — видимость. Я — облако в брюках. Жизнь оставила эту плоть.

— Печально, — проговорила Гуревич.

— Печально, но прими эту данность. Я безутешен и унижен. Меня продинамили, как салагу. Кинули, как последнего лоха.

— Мерзавка, — с чувством сказала Гуревич.

— Мягкое слово, — сказал Гвидон. — Моя бесхитрость и доверчивость делают меня беззащитным.

Она подумала и сказала:

— Я постараюсь тебе помочь. Знаешь, я посоветуюсь с шурином. Жди меня здесь.

— С места не сдвинусь, — он поцеловал ее руку. — Ты не такая, как остальные.

Четверть часа Гуревич отсутствовала. Потом возникла. Лицо раздурманилось, и даже поступь стала порхающей, словно она вознеслась над землей.

— Ты приглянулся моей сестрице, — торжественно объявила она.

— Ее проблемы, — буркнул Гвидон.

Известие его озаботило. «Еще одна Тамара Максимовна».

Гуревич весело щебетала:

— Сказала — в твоих басурманских очах виден богатый внутренний мир.

— Мой мир — это мои проблемы, — нетерпеливо сказал Гвидон.

Потом он раздраженно спросил:

— С сестрой ты беседовала или с шурином?

Она рассмеялась:

— С шурином — тоже. Ты его пронял. Идем, они ждут.

Мимо неторопливо проследовали думцы с благородными лицами. Они направлялись к своим машинам, выстроившимся на пятачке. За ними, в положенном отдалении, двигались служивые люди.

— Вокруг чиновник густо шел, а не шиповник алый цвел, — певуче пробормотал Гвидон. На миг ему помстилось, что в воздухе возникло видение пирамиды, властно вздымавшейся в поднебесье.

Гуревич гордо взяла его под руку и повела по центральной аллее.

У здания грязноватого цвета — странная смесь охры с белилами — степенно кучковались пришедшие. Они собирались на поминки. Ресторан, расположенный в центре города, носил название «Восточный дворик». Приглашенные грузились в машины, сколачиваясь в отдельные группки.

— Вот и они! — сказала Гуревич.

Их поджидала чета Марковских. Монополист оказался высоким и широкогрудым шатеном с бодовым мальчишеским лицом. Рядом озидала пейзаж острыми смолистыми глазками его жена Аграфена Ефимовна, разительно не сходная с Дарьей. В отличие от пышнотелой сестры она была маленькая и хрупкая. Взгляд ее источал угрозу. Сзади переминались два парня, сразу напомнивших Гвидону гостей на панихиде Романа.

Гуревич представила своих родственников.

— Это сестра моя, Аграфена, — пропела она, — и Ленор Аркадьевич.

— Родители были бойцами идеи, — весело объяснил Марковский. — Нет что бы дать нормальное имя. Пометили аббревиатурой. Ленин. Октябрьская Революция. Господи, пронеси и помилуй. Вы не напомните вашего отчества?

«Дает понять, что фамилию знает. А также — имя. Тактичный малый», — подумал Гвидон. Но для порядка дал все же полную информацию.

— Гвидон Александрович Коваленко.

— Имечко тоже неординарное, — сказал Марковский. — Но лучше Ленора. Пушкин все-таки не Ульянов.

— В том, как вы говорили над гробом, не только в словах, но в этой ауре я ощущала нечто пронзительное, — сказала Аграфена Марковская. — Вы нам перевернули душу.

«В чем у них всех душа эта держится?» — озабоченно подумал Гвидон. Он опасно пожал ее руку, отгоняя возникшую тень Тамары.

Гуревич хозяйски его потрепала по волосам. «Заводит сестру, — уныло догадался Гвидон. — Лучше уж так, чем дразнить супруга».

Марковский также одобрил Гвидона и нарисованный им образ.

— Да, вы его хорошо представили. Я, хотя нам привелось сотрудничать, многого в нем не рассмотрел. Конечно, юная увлеченность и молодой идеализм... И тем не менее, тем не менее... Мне-то казалось, что это имидж, что не такой уж он кристаллюга. Но кто его знает: а вдруг был реликт? Бедняга. Пусть будет земля ему пухом. Этакая нелепая смерть. Сдались ему эти отношения! Жили мы с ними без интеллекта всю нашу длинную историю, прожили бы еще триста лет.

«А он неглуп, — подумал Гвидон. — Совсем неглуп. Не даст он мне денег».

— Даша сказала, у вас — проблемы? — бодро осведомился Марковский. — Отлично. На поминках обсудим. Садитесь в машину, для всех есть место.

Он подвел их к моторизованной рыбе с напружиненным, нацеленным телом под серебристой чешуей. Сел рядом с водителем. Дамы с Гвидоном уселись сзади. А бодигарды оккупировали другую машину.

Пока они ехали по Москве, Гвидон обдумывал про себя напористые короткие реплики, услышанные от монополиста. Вдумываясь, все больше мрачнел.

«У вас — проблемы? Отлично. Обсудим». Что уж такого отличного в том, что у человека — проблемы? По мне — так гори они синим пламенем. «Обсудим». Замучает насмерть вопросами. Я, между прочим, не юрист.

Ехали долго, стояли в пробках. Гуревич, сидевшая с хмурым Гвидоном, была так заботлива и душевна, что он попросил ее взять себя в руки и оставаться в рамках приличий. Груша Марковская шумно вздыхала. Однажды прошептала чуть слышно, но все-таки внятно:

— Нимфоманка...

И за столом разместились рядом — Гвидон между Марковским и Дашей, Марковский между женой и Гвидоном. Едва они помянули Портянко, Марковский сразу же наклонился к печальному молодому соседу и произнес, понизив голос:

— Даша сказала мне: чья-то рукопись?..

— Да. Рукопись моего учителя. — Вторично за сегодняшний день Гвидон назвал учителем Гранда и поразился тому, как естественно на сей раз было его самозванство.

«А так и есть», — подумал Гвидон.

— Лучшая из существующих рукописей может кануть в небытие, — сказал он с патетической горечью. — Наш фонд не справляется с изданием.

Марковский быстро спросил:

— Что за фонд?

«Начинается», — подумал Гвидон. Но объявил с достоинством князя, не сложенного своей нищетой:

— Фонд Грандиевского.

Эти слова вызвали у Ленора Марковского реакцию более чем неожиданную. Монополист расхохотался.

— Все в порядке, молодой человек. Я — со вчерашнего дня — член фонда, которому вы так преданно служите. Отныне у вас нет проблем с бумагой и вообще — у вас нет проблем.

После затянувшейся паузы Гвидон промямлил:

— Похоже на сказку. Вы — член фонда? И я об этом не знаю?

Марковский оглянулся на Грушу. Жена его увлеченно беседовала с гостьей, сидевшей одесную. Все-таки он понизил голос:

— Все очень просто. Когда-то мы были очень дружны с Сабинной Павловной. Еще до брака ее с профессором. Некоторое время — и после. Очень недолго. Жизнь развела. О чем я искренне сожалею. Она уж тогда подавала надежды. В отличие, нужно сказать, от меня.

— Спасибо, — чуть слышно сказал Гвидон. — За щедрость.

— Не о чем говорить. Когда я услышал про фонд Грандиевского, я сразу же предложил ей помощь. Сперва она гордо отказалась — такой уж у нас испанский характер. Сами себе усложняем жизнь. Все это женские фанатерии — страх уронить себя и все прочее. Однако вчера она позвонила, сказала, что помощь ей все же потребуется. Я это предвидел заранее — цены на бумагу растут. Естественно, я ее отругал и объяснил, что мне лишь приятно выручить близкого человека.

— Само собой, — прошептал Гвидон.

— Дело-то вполне пустяковое. Если бы все мои заботы можно было смахнуть так просто.

— Он человек широкой души, — негромко добавила Гуревич. — И подозрительно сентиментален для монополиста, ты не находишь? Главный производитель бумаги. Ну, ты доволен?

— Просто ликую. Ты — инопланетное существо.

Она благодарно ему улыбнулась.

— Спасибо. Ты умеешь сказать. Но вид твой мне активно не нравится. Белый, как этот потолок. Слишком ты тонкий и впечатлительный. Тебе нездоровится?

— Мне охренительно. Я даже слышу пение ангелов.

— Глупости. Дай мне найти твой пульс. Куда он делся? Что с тобой? Сердце?

— Zahnschmerzen in Herzen, — кивнул Гвидон. — Но — ничего. И это пройдет. Не мыло — не смылюсь. Еще не кадавр. От радости не умирают.

12

Октябрь выдался влажным и ветреным. Мокрый чавкающий асфальт дрожал и причмокивал под ногами. Зябнувший город при свете дня невольно вызывал сострадание. Особенно жалко гляделись деревья, похожие на ощипанных куриц. Их нагота была лишена даже подобия обаяния.

Город боролся с гнилым сезоном. Сумерки ему помогали, скрадывая дневное уныние. Город закрывался от осени витринами, фасадами, вывесками, расцветивая гриппозные лужи золотом вспыхнувших лампиров. Яркие разноцветные буквы сливались в нарядные имена с этаким звонким заморским шиком. Путник, доверься, не пожалеешь. Но путник был опытен и осмотрителен.

В сырой и знобкий октябрьский вечер в одном из новейших московских клубов, который изящно уравнивал дух и материю, соединив приют для гурманов с

продажей книг, происходила презентация наследия Петра Грандиевского. В клубе было шумно илюдно — смутные толки и даже сплетни предшествовали выходу тома, подогревая к нему интерес. Правда, пришедших на презентацию ждал мало-приятный сюрприз — в очень коротком предисловии, подписанном координатором фонда господином Гвидоном Коваленко, фонд Грандиевского уведомлял, что обещанный последний раздел выпал из общего состава. Почти перед самым выходом книги нашлось распоряжение автора с запретом включать в это издание заметки и всякие маргиналии с характеристиками, портретами и прочими лапидарными блестящими эссеистического жанра. Фонд сожалеет об этом решении, но подчиняется воле автора. Впрочем, координатор фонда советует набраться терпения, а также прожить на белом свете еще семь-восемь десятилетий. Записи Гранда, посвященные всем его спутникам, да и спутницам, будут со временем опубликованы.

Грустная новость. Но кроме нее общественность волновали слухи о долгом принципиальном конфликте между вдовой — госпожой Грандиевской — и господином Коваленко. Во всяком случае, появление обеих сторон в популярном клубе вызвало небольшую сенсацию. Как было достигнуто примирение, можно было только гадать.

События в последние месяцы и впрямь развивались весьма драматически. Все очевидное было лишь рябью и зыбью на поверхности моря. Истинные беда и гибель вершились в его незримых глубинах. Причины таились отнюдь не в сфере академических разногласий. А генеральное сражение — если угодно, третейский суд — прошло на нейтральной территории, у Евдокии Вениаминовны.

Гвидон объявил, что он сознает свое подчиненное положение в фонде профессора Грандиевского, но в улье есть и его капля меда, и он не допустит сомнительных сделок втайне и за его спиной. Пускай он маленький человек, но он привык дорожить своей честью.

Вдова сказала, что Гранд научил ее бояться маленького человека. В определенных обстоятельствах пигмей особенно вероломен. А может быть даже жизнеопасен. Она не забыла, как сей Гвидон явился к ней с депутатских поминок нетрезвый и почти невменяемый, готовый содрать с нее пол-лица.

Гвидон саркастически возразил — не надо бы ссылаться на Гранда, который его собрат по несчастью.

Вдова поделилась своей убежденностью, что эти страсти, а если точнее, низменные инстинкты Гвидона, сразу же вызывают в памяти образ супруга Тамары Максимовны — он мог бы вполне его заменить.

Гвидон напомнил: чтоб заменить Тамаре Максимовне супруга, Гвидон Коваленко должен иметь, по крайней мере, средства Марковского.

Вдова сказала: теперь ей ясно, что благородный род Кавальканти и юный клеветник Коваленко не связаны никаким родством, и уж тем более — духовным.

Гвидон сказал, что за это время он приучился сносить оскорбления. Но с этого дня он выбрал свободу. Сильнее стала тяга прочь и обнаружилась страсть к разрывам.

Вдова сказала, что просто безбожно элементарному... ходуку (она избирает нейтральное слово из уважения к хозяйке) всуе трепать стихи гиганта. К тому же ему нечего рвать.

Евдокия Вениаминовна заметила, что ей ли не знать, как неумны бывают люди в своем стремлении к разрушению. Но и Сабине должно быть ведомо, что юное сердце не заржавело, играть им и грешно и опасно. Что до Гвидона, ему уже, видимо, мало персональных забот, понадобились проблемы Гранда, с которыми тот сам разобрался. Если Гвидона «тянет прочь», пусть выполнит прежде свои обязательства. Только после выхода книги он волен собой распоряжаться.

Кроме того, Гвидон и вдова ее утомили своими конвульсиями, сначала порознь, теперь вместе. Она, разумеется, им сочувствует, но им ли не знать ее привычки к уединенной сосредоточенности. Прыжки и ужимки рода людского забавны, порой ее к у р а ж и р у ю т, но мера и вкус нерасторжимы.

Речь ее возымела действие. Было достигнуто перемирие. Общение директора фонда с секретарем-координатором мало-помалу восстановилось. Хотя и на деловой основе. Гвидон явился на презентацию и даже надписывал экземпляры. Почин положил румяный немец — он протянул ему книгу для подписи.

— Но вам известно, что я не автор? — спросил его Гвидон с подозрением.

— О, да, я скорблю. Но хотел бы оставить память об этом прекрасном дне.

— Как ваше имя?

— Карл-Хайнц.

— Отлично. Имя меня устраивает.

С того и пошло. Почти все покупатели протягивали Гвидону книги. Он честно адресовал их вдове, но та лишь пожимала плечами. Однажды, впрочем, она обронила:

— У вас это лучше получается. Во всяком случае, органичней.

Гвидон размышлял примерно с минуту, обидеться ему или нет, потом он решил, что это форма признания его крупных заслуг.

Презентация кончилась поздно вечером.

— Я устала, — пробормотала вдова.

Гвидона подмывало спросить, почему не появился Марковский, посуливший прийти с женой и свояченицей, но, взглянув на нее, он промолчал. Выражение обычно подвижного, опасно усмешливого лица было задумчивым и озабоченным. Он спросил, почему ей не по себе, что ее томит и тревожит?

Она сказала:

— Жмут новые туфли. Пальчики у меня с онерами.

Они вышли на улицу. Он произнес:

— Пожалуй, я мог бы вас проводить.

— Истинно княжеское предложение, — негромко откликнулась вдова. — Ну что же, я его принимаю.

— Вы очень добры, — сказал Гвидон.

Она наконец-то усмехнулась:

— Мы в свое время дали обет: в день выхода книги сесть друг против друга и власть напиться. Ты не забыл?

— Прекрасно помню, — сказал Гвидон.

— Ну а обет — это не шутка. Если уж дал его — выполняй.

Весь путь до дома они молчали. От этой затянувшейся паузы, казалось, тревожно сгустился воздух. Гвидон ощутил, что он волнуется. Надо было бы кинуть словечко, одно из тех, что всегда вертелись на языке, но охоты не было.

Дома она сбросила туфли, стянула кружевные чулки и с наслаждением попинала пушистый ковер босыми ногами. Потом пригласила Гвидона на кухню, внесла уже известный сосуд, на этот раз наполненный водкой, а также два граненых стаканчика. После недолгого колдовства возникло блюдо с брынзой, огурчиками и ломтиками хрустящего хлеба, поджаренными в присутствии гостя.

Она вздохнула:

— В расчете на презентацию я не приготовила ужина. Неприятательные заедки. Чтоб окончательно не окосеть.

И неожиданно произнесла:

— Карл-Хайнц.

— В чем дело? — спросил Гвидон.

— Ты очень понравился Карлу-Хайнцу. Не зря он просил надписать ему книгу на память о вашей волнующей встрече.

— Новое дело, — буркнул Гвидон.

Они рассмеялись, и он почувствовал, что напряжение сразу спало. Вдруг унялось и отпустило.

Вдова торжественно продекламировала:

— Пьяной горечью Фалерна чашу мне наполни, мальчик.

— Ученая женщина — божий бич, — вздохнул он, наполняя стаканчики.

— Предупреждаю: напиток серьезный, — сказала вдова. — Ох, надеремся.

— Молча — за Гранда, — сказал Гвидон.

Она кивнула, блестя глазами.

— За Гранда. Все-таки мы это сделали.

И прошептала:

— Муж был что надо.

Выпили раз, другой и третий. Вдова сказала:

— Теперь — за тебя. Спасибо тебе.

— Вы меня тронули.

— Шут с тобой. Говори мне «ты», — великодушно сказала вдова. — Тяжелая дорога нас сблизила.

— Да, испытания роднят.

— Чему быть, того ведь не миновать, — заметила она философски. — Стоп. За меня мы пить не будем.

— Но почему? — удивился Гвидон.

— Во-первых, умей остановиться. Однажды я тебе говорила. А во-вторых, я не заслуживаю.

— Какое-то пьяное самоедство. Ты лучшая вдова на земле.

— Тихо. Я знаю, что говорю. Я собираюсь надеть глупостей, не исключая самой большой. Сядь на свое рабочее место и четверть часа подумай о вечном. Я дам тебе знать, когда срок придет вернуться на землю. Пока потерпи.

И вот он снова в бордовом кресле! Только сейчас он ясно понял, как тосковал по этим полкам, по шару, повисшему над столешницей, по вдохновительной тишине. Он снова взял в руки томик Гранда. В который раз он провел ладонью по крепкому гладкому переплету, еще сохранившему запах краски, и подивился его упругости. Полюбовался корешком, таким основательным и широким, что уместилась даже фамилия. Любовно погладил титульный лист, а вслед за ним четыре шмуцтитула, что предваряли каждый раздел. Очень печально, что выпал пятый, столь жгучий при всей своей виртуальности, но воля автора неоспорима и не подлежит обсуждению.

Скорее всего, фонд Грандиевского сегодня приказал долго жить. Однако он свое дело сделал. Отныне архив покойного автора, поднятый из деревянных гробниц, прочитанный — строка за строкою — секретарем-координатором, начнет наконец земную жизнь, теперь он — общее достояние. Гвидон блаженно закрыл глаза.

Когда в его утомленном мозгу невидимые миру часы ударили в двенадцатый раз, портрет на стене пошевелинулся, и Гранд все с той же хитрой усмешкой неукрощенного озорника выбрался из вальжной рамы.

«Здравствуй, сынок, — рассмеялся Гранд. — Я появился, как командор. Жеңа моя и впрямь хороша и, честно сказать, я тебе завидую, но мы ведь современные люди. А значит, не будет набивших оскомину дурацких каменных рукопожатий, мы обойдемся устным приветом.

Итак, спасибо тебе за работу. Я и не мог подозревать, что явится некий Гвидон Коваленко, настолько искусный в конъюнктуре. Что он прочтет мои закорючки и

даже реконструирует текст. Совсем уж не мог предположить, что названный мною Гвидон Коваленко будет настолько предприимчив, что сделает из бумажек книгу. Я тронут, я говорю: спасибо — тебе и любимой нами Сабине.

Засим я задам тебе вопрос, и не сочти его неблагодарностью. Стоил ли этот славный томик ваших богатырских усилий? Изданная книга утрачивает большую часть своей привлекательности, ибо утрачивает тайну.

Насколько бедней напечатанный текст этих моих дикарских каракуль, которые, кроме тебя, сынок, не смог бы прочесть никто на свете. Ты убедишься в этом так скоро! Стоит лишь книге занять свое место в саркофаге библиотеки среди миллионов, подобных ей.

Да, да — подобных! Только поставь ее рядом с теми, что пылятся на полке — она уравнивается с ними судьбой. На это уйдет меньше минуты.

Смысл сотворения книги таится в процессе, и только в нем! Итог или результат, как хочешь, оскорбителен своей ограниченностью и унизителен беззащитностью. Любый переросток и недоумок, вроде почтенного Полуактова, быстро теряющий терпение из-за дурной работы желудка, печени, половой системы, не говоря о врожденной тупости, воспримет твой труд как личный вызов, щелчок по носу, пинок в его задницу, как плюху по скопческим щекам. Конечно, он будет глотать твой труд, как гложет случайную кость дворняга — с ожесточением и упоением.

Многоуровневое сознание — это немалая роскошь, сынок, оно почти никогда не востребовано. Поэтому книга должна оставаться на восхитительном уровне замысла, по сути дела — недоовощенной. Бывалый римский трибун говорил, что настоящего читателя надобно взвешивать, а не подсчитывать. Если однажды такой попадетсЯ, он договорит за тебя.

Да, книги — вздор, кто помнит книги? Одною больше, одною меньше — разница не так велика. Но этот письменный стол волшебен. И с ним ничто не может сравниться. Надеюсь, что, причастившись к нему, ты в этом наконец убедился.

Конечно, заглядывая в итог, искать удачу — пустое дело. Но это — условие игры. Карлейль в свое время вздохнул — несчастье каждого человека таится в том, что он не способен похоронить себя в конечном. Что ж, этот вздох был справедлив. Так мы устроены, Кавальканти. Наше богатое воображение не может представить себе этот мир не освещенным нашим присутствием.

Бывает, не помогает и юмор. Не устоял даже Марк Твен. В его бумагах рылись не меньше, чем ты — в моих, наткнулись на запись: «Том Сойер вернулся в родной свой город. Встретился со стариком Геком Финном. Обоим жизнь не удалась». Вспомнил свою любимую фразочку? Но здесь она — не уловка, не шутка. Старик Марк Твен перестал шутить, хотя и был победителем в жизни.

Возможно, он слишком хотел победить. Все мы — избранники и неудачники — приходим к одному и тому же. Однако — в свой срок. Не торопи его. Успеется. Просто прими эту данность. Принять, понять и уже не дергаться — это и есть завет поколений. Не дергаться! Это главный закон. Ибо доказать — невозможно.

К несчастью, дети Адама и Евы, в особенности мятежные дочери, не созданы для природной жизни. Одни, попроще, спешат на приемы и носят портянки от Версаче, другие скулят о тотальной фрустрации, устраиваясь меж тем поудобней — существенного различия нет. Все они живут этой жизнью, сваренной из тайной истерики и вечного страха отстать от поезда. Такая зависимость от суматохи — это еще одна *poisoned pill*, отравленная пилюля, мой мальчик! Не падай духом. На этом свете встречаются люди без макияжа.

Нет, не экспансия, как утверждают философы с сердцами воителей и мудрецы героической складки — наше естественное состояние. Я не хочу тебя убеждать,

что можно прожить в ладу с эпохой. Не призываю и к ладу с собой. Тем, кто способен страдать и мыслить, это обычно не удается. Но осознание неизбежности, но гордая готовность принять ее — это совсем другое дело. И существует покой достоинства. Его-то следует обрести.

Сынок, тебе пора обуздать свою погребальную логорею. Юмор неотторжим от сочувствия. Смех, провоцируемый уродством, сразу теряет свое назначение. Чем громче и дружнее он звучал, тем больше казался он мне бессъёмным, бессмысленным гоголем толпы. Где стадно, не стыдно — это известно. Очень возможно, что я не прав, но размалеванный лик балагана всегда оставлял меня равнодушным.

Допустим, что ты, как подлинный мачо, показываешь смерти язык — я видел такое на фресках Ороско. Но это попытка унять свой страх, которым смерть поражает смертных. Все мы смешны, но она не смешна. И как порой ни позорна жизнь (я никогда за нее не цеплялся) — все же и самый дрянной из ближних достоин в последний свой день сострадания.

Да, я познал утомление миром и не однажды себе твердил: сюжет завершен, пора убираться. И все-таки — кто может сравниться с весенним ветром, запахом моря и фиолетовым цветом сумерек? Поверь, я знаю, что говорю. Время, в котором я пребываю, беззвучно, бескрасочно и бесплодно. Здесь все молчит, и ничто не пахнет.

Один мужичок когда-то сказал мне: «В одну дверь вошел, в другую вышел — вот вся и жизнь». И он был прав. Но не пренебрегай переходом от двери до двери, хотя он невесел, а иногда и невыносим.

Я слышал, как ты сказал Сабине, что я оборвал свою игру. Что Гранда не достанут отныне ни идиоты, ни негодяи. Иной раз даже ему позавидуешь. Не торопись мне вослед, сынок. Пред тем как кормить собою червей, надо поймать на них хоть линя.

Теперь послушай, что я скажу тебе. Это заслуживает внимания. Останься здесь — я вижу, ты сросся с этим столом и с этим светильником. Ты прирожденный вуайерист — значит, имеешь шансы стать автором. Ибо все авторы — согладатаи.

Твое графоманство тебе поможет. Пока оно спит в твоём тайнике, и ты о нём еще не догадываешься. Ты любишь этот неспешный труд, это роскошное одиночество, когда — неизвестно откуда — является неуловимая строка. Я наблюдал, как ты млел за столом, как переключал бумажки и взмахивал пером, словно шпагой. Вот это твоя арена борьбы. Дели свою жизнь меж робинзонадой, склонность к которой ты носишь в себе, и неожиданными побегами в эту кипучую бестолковщину, которая поджидает снаружи.

Всасывай в свой укромный ларец, как пылесос, любую мелочь. В этой работе нет мелочей. Все они однажды сгодятся.

И — не пропусти золотой подсказки! Она блеснет невзначай, как награда за образцовое поведение. Ей впору изменить твою жизнь и даже возвысить ее до судьбы. А кто обронит ее по дороге — прохожий или старый знакомый — это не имеет значения. Я сам пережил этот миг удачи. Один весьма даровитый поэт и упоительный мастер беседы обмолвился в письме полуфразой, предвестием, предчувствием мысли, одной из многих прелестных виньеток, которыми он пленял салоны. А мне, сынок, хватило обрывка для самой главной своей догадки о странной зависимости Истока от окончательного Итога и о Начале как Эхе Конца.

Сынок, тебя ждет настоящее дело. Итак, не уклоняйся от вызова. Письменный стол — твой приют и ристалище. Останься! Здесь славный профессорский дом. Правда, он обветшал немного, но ты подновишь его, не устрабляя милых следов ушедшей жизни.

Останься здесь. Со стены, с портрета, я буду следить за тобой, сынок. Опыт отцов ничего не значит, однако отцы бывают товарищами, при этом — они надежней друзей. К тому же теперь, когда ты усвоил, сколь прихотливы и сколь причудливы футурософские ступени, мой опыт будет не столько криком, вырвавшимся вослед временам, сколько донесшимся из неведомого, из-за горизонта, призывом.

Останься. Твоя любовь к Сабине свидетельствует безукоризненность вкуса. Надеюсь, и ты оценил мой выбор. И убедился: я — Гранд воистину и музы не презрел объятий среди мне вверенных занятий. (Так похвалялся еще Козьма, дедушка вашего постмодерна. Сей дед переживет своих внуков.)

Зачем тебе уходить отсюда, зачем искать себе новый угол и новую Прекрасную Даму? Чтоб после печально наклонять персидские ресницы и плакать над обманушей тебя надеждой?

Останься. Хозяйка этого дома пахнет оливками и лавандой, она обладает многими тайнами, их не найдешь у других соискательниц. Она лукава и обольстительна. Умеренна и сдержанна днем, время ее — после полуночи.

Когда ты устанешь от обихода, только мигни моему портрету, и я мгновенно спущусь с холста. Тебе предстоит немало бесед со стариком, не хотевшим стариться, нетерпеливым и неутомимым. Мы будем ритуально обмениваться нашими свежими соображениями, пока однажды ты не увидишь, что мы давно уже стали сверстниками.

Останься. И ты не будешь сетовать на недобор достойного общества. Я, ты и Сабина, чего же лучше? Ты встретишь неизбежное легче, чем мог бы встретить его без нас. И здесь ты постигнешь быстрее всех прочих: уйти не страшно. Страшно — задерживаться.

И все-таки. Мой главный завет: всегда одною ногой — за дверью!»

Гвидон не успел и шелохнуться, тут же с ошеломительной скоростью Гранд вновь очутился на холсте, со всех сторон огражденном рамой. А в кабинет вошла Сабина.

На ней была почти невесомая ночная черная рубашонка, не доходившая до колен. И только.

Гвидон прикрыл глаза.

— Как ты провел без меня это время? — спросила она. — Ты был терпелив?

Гвидон помедлил и прошептал:

— Терпение мое еле дышит, а ожидание было богато. Теперь мне ведомо, господа моя, что время твое — после полуночи. Твоя полуденная краса в полуночный час взрывоопасна.

Она подошла к нему и, положив смуглые руки на его плечи, произнесла:

— Еще что-нибудь. В этом же строе и регистре.

Он отозвался, изнемогая:

— Я пленник твой, и я ленник твой. Почтительный современник твой. Неукоснительный данник твой. Возможно ль, что я избранник твой?

— Так получилось, — вздохнула она. — Ну, продолжай. Что-нибудь этакое. Ориентально-музыкальное.

Гвидон опасно покосился на холст с усмевающимся Грандом. Потом с усилием проговорил:

— Ноги твои полифоничны и восхитительно оркестрованы. Я слышу струнную группу пальчиков, щиколотки воркуют, как флейты, тема лодыжек светла и прозрачна, а икры твои трубят победу.

Она вздохнула чуть слышно:

— Еще.

— Ты прекрасна, как виолончель, госпожа моя, — сказал, обнимая ее, Гвидон. — Но время пройти неверной походкой и уложить виолончель. Не для того, чтоб она уснула, а для того, чтоб она зазвучала. Теперь твоя очередь, Шахразада.

Она прижалась к нему и сказала:

— Настала первая, самая главная, из тысячи и одной ночи. Взмахни пушистыми опахалами своих ресниц и сотри обиду с лица своего — ты нынче забудешься на благосклонной моей груди.

— Достаточно, — простонал Гвидон. — Терпение со мной попрощалось.

Утром он осторожно встал, стараясь не разбудить Сабину, оделся и тихо вышел на улицу.

За ночь вчерашние лужи подсохли. Октябрьское декоративное солнце плеснуло золотистой волной. Северный ветер был свеж и бодр — словно напутствовал его молодость.

«Самое важное — не зажитья», — уверенно подумал Гвидон.

июнь-август 2004 г.

Вера Павлова

**«Не знаю, кто я,
если не знаю, чья я»**

* * *

Руки выкручивала кручина,
утро чернело дремучим лесом,
боль выжигала свою причину
льдом калёным, солёным железом,
разум мутило, душу сводило,
союз верёвки и табуретки
казался выходом... Но хватило
одной таблетки, одной таблетки.

* * *

Дадим собаке кличку,
а кошке псевдоним,
окликнем птичку: «Птичка!»,
с травой поговорим,
язык покажем змею,
козлу ответим: «Бе-е-е!».
Вот видишь, я умею
писать не о себе.

* * *

В райском аду Амура,
в дебрях зеркальных затей
я, как пуля, как дура,
искала прямых путей,
нашла цепи, колодки,
чётки из спелых обид
да русский язык в глотке,
острый, как аппендицит.

Об авторе | Вера Анатольевна Павлова родилась в Москве, окончила Академию музыки им. Гнесиных (музыковедение), автор восьми книг («Небесное животное», «Второй язык», «Линия отрыва», «Четвертый сон», «Интимный дневник отличницы», «Совершеннолетие», «Вездесь», «По обе стороны поцелуя»), лауреат Большой премии им. Аполлона Григорьева. Живет в Москве.

* * *

Учась любовной науке
ощупью, методом тыка,
подростки сплетают руки.
Любовь зовут Эвридика.
Иди-ка за милой тенью,
веди её в нашу спальню...
Прочь, памяти наважденья!
Прочь, опыта ужас свальный!

* * *

Здесь лежит постоялец
сотни временных мест,
безымянный, как палец,
одинокий, как перст.

* * *

До свиданья, мой хороший!
Протрубили трубы.
Зеркало в твоей прихожей
поцелую в губы.
В щёчку. И, боясь не пере-
жить минуту злую,
закрывающейся двери
ручку поцелую.

* * *

Память — скаред,
скупщик обид.
Жалость старит.
Злость молодит.
Ядом залит
дар аонид.
Слава старит.
Смерть молодит.

* * *

Убежит молоко черёмухи,
и душа босиком убежит
по траве, и простятся промахи
ей — за то, что не помнит обид,
и очнётся душа-заочница,
и раскроет свою тетрадь...
И не то чтобы жить захочется,
но расхочется умирать.

* * *

Ласковый жест сгибаю как жесть
и строю дом, начиная с крыши.
Пишу то, что хочу прочесть.
Говорю то, что хочу услышать.
Пишу: *горечь твоя горяча.*
Молчу, по Брейлю тебя жалея.
Мурашки, ползите домой, волоча
нежность в сто раз себя тяжелее!

* * *

плыви теченьем полднейной реки
в полночном омуте плавай
читай по линиям левой руки
то что написано правой
и подставляя слепое лицо
музыке ласке покою
носи на правой руке кольцо
надетое правой рукою

* * *

Проводишь в последний сон
наперсницу аонид,
развеешь мой прах, и он
цветущий сад опылит —
и яблоню, и сирень,
и вишню, пьяную в дым...
Что знаю про судный день?
Что будет он выходным.

* * *

Всходить на костёр Жанною,
взвиваться над ним Лилит...
Слёзы — автоматическая противопожарная
система. Душа горит,
а руки совсем холодные.
Согреть бы в твоём паху!
Я сильная. Я свободная.
Я больше так не могу.

* * *

Печаль печалей: оглушительный некрик
повесившегося на пуповине.
Отцовство — остров. Материнство — материк.
И океан печали между ними.

* * *

за руку здороваться с рекой
целоваться в губы с родником
млечный путник
коренной покой
земляничина под языком

* * *

Если хмуришь брови,
значит, я ни при чём.
Если вижу профиль,
значит, ты за рулём.
Если с плеча рубишь,
кровь на плече моя.
Если меня не любишь,
значит, это не я.

* * *

рука в руке
две линии жизни
крест-накрест

* * *

Радуюсь, радуюсь, радуюсь...
Зла, горяча, чиста,
сила твоя — радиус
моего живота.
Павши на лоно замертво,
заживо канешь в него.
Тяжесть твоя — диаметр
живота моего.

* * *

Часики мои — пешеходы.
Ходики мои — ползунки.
Радости мои — от природы.
Трудности мои — от руки.
Памяти дорожки окольны.
Но, куда бы время ни шло,
всё, что перед будущим, — больно,
всё, что перед прошлым, — светло.

* * *

Быть собой — не втягивать живот,
не таить обиду и тревогу,
думать — жизнь прошла, и слава богу,
верить — слава Богу, смерть пройдёт.

* * *

разговаривать с великими
примеряя их вериги
переписываться с книгами
переписывая книги
редактировать синодики
и порою полуночной
перестукиваться с ходиками
во вселенной одиночной

* * *

Какие большие мальки!
И дело совсем не в улове.
Плывёт поплавок вдоль строки —
поклёвка на каждом слове.

* * *

Торчащее обтесать.
Сквозящее углубить.
Талант, не мешай писать.
Любовь, не мешай любить.

* * *

синий экран неба
курсор твоего боинга
если б тебя не было
я бы придумала Бога

* * *

Научиться смотреть мимо.
Научиться прощаться первой.
Одиночество нерастворимо
ни слезой, ни слюной, ни спермой.
И на золоте чаш венчальных,
и в бумажных стаканчиках блюдок
искушённый взгляд замечает
одиночества горький осадок.

* * *

Поцелуи прячу за щеку —
про запас, на случай голода.
С милым рай в почтовом ящике.
Ящик пуст. Молчанье — золото
предзакатное, медовое...
На твоей, моей ли улице
наши голуби почтовые
всё никак не нацелуются?

* * *

Господи, зачем ты в одночасье
столько раз сменяешь гнев на милость?
Отличать отчаянье от счастья
сердце до сих пор не научилось.
Не суди так строго, так жестоко,
но всеильной ласковой рукою
отдели тревогу от восторга,
боль от скуки, слабость от покоя!

* * *

У меня сногсшибательные ноги
и головокружительная шея,
и лёгкое, удобное в но́ске,
не сковывающее движенья
тело, и ветреные кудри.
Лучезарны вечера в эмпирее,
но совместно нажитые утра
мудренее.

* * *

Утро вечера мудренее,
дочка — матери.
На какую же ахинею
время тратили —
спорили, можно ли в снег — без шапки,
в дождь — без зонтика.
Нет бы сгрести друг друга в охапку —
мама! Доченька!

* * *

Не затем ли столько времени
я сама себя морочила,
чтобы платье для беременной
доносить за младшей дочерью,
чтобы свадебное белое
одолжить у старшей? Разве я
всё для этого не делала?
Вот только волосы не красила...

* * *

Подростковая сексуальность... А разве бывает другая?
Любовный опыт... А разве бывает другой?
Знаешь, любимый, о чём я ночами мечтаю? —
Стареть за ручку и в обнимку с тобой.
Мы будем первыми стариками на свете,
которые целуются в лифте, на улице, в метро.
Знаешь, что я думаю о Хлое, Манон, Джульетте,
о их малолетних любовниках? — Что это старо.

* * *

Мужчина женщине родина.
Мужчине женщина путь.
Как много тобою пройдено!
Родной, отдохни чуть-чуть:
вот грудь — преклони голову,
вот сердце — лагерь разбей,
и будем делить поровну
сухой остаток скорбей.

* * *

Ласковой акробатикой
сбитые с панталюк,
солнечные лунатики,
идём по карнизу в обнимку,
а люди ведут наблюдение,
бросив свои занятия:
вдруг избежим падения,
не разомкнём объятье?

Марина Палей

Два рассказа

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИЯ

Он возник словно из-под земли — в общем-то закономерно с учетом кладбища.

План выпал из моих рук. С помощью этого плана, миг назад, я занималась исследованием небольшого северо-восточного участка, уже обследованного мной вдоль и поперек.

«Вы, я вижу, что-то ищете? — спросил он. — Могу ли я быть вам чем-либо полезным?»

Наступал вечер. Кто мог отсюда уйти, уже ушел. По-весеннему обновленное, кладбище вот-вот должно было закрываться. Солнце, раненное оградой, щедро выхлестывало кровь на могилы, памятники, стволы деревьев.

Свою фразу он произнес глуховатым басом, по-английски, мгновенно определив во мне чужеземку. Вполне объяснимая пронизательность (среди посетителей этого кладбища чужеземцы преобладают) подействовала на меня подавляюще. Эта пронизательность не была, повторяю, сверхъестественной — она не была даже демонстративной, но ее обладатель, делая такой ход, сразу же загонял меня в угол: он уже знал обо мне многое.

Стараясь переключить ситуацию из криминальной или эзотерической в как можно более обыденную, я спокойно подняла план, а затем ответила — приветливо и, главное, многословно. Я сказала (сознательно уснащая речь ненужными подробностями), что пришла сюда уже в третий раз, и вот, даже имея на руках подробный план, никак не могу найти могилу Modigliani.

От автора | Рассказы из цикла «Ошейник» (отдельные публикации — «Новый мир», 2003, № 6 и «Знамя», 2004, № 9) представляют собой мою коллекцию, где собраны самые разнообразные (по клиническим проявлениям и географическим ареалам) варианты человеческой несвободы.

Возможно, это просто архив с историями болезней. Там есть вполне расхожие виды бытового и стадного рабства, есть экзотические модификации маниакальности, включая «высокую одержимость», есть абсолютно безнадежные (повальные, пандемические) формы, выражающие зависимость от навязанной извне чужой воли рождаться и умирать (а в промежутке между тем и этим — участвовать в замкнутом пищевом круге, где все последовательно поедает друг друга, безропотно пропускать сквозь себя деструктурирующий поток времени — etc.).

Это коллекционирование начато мной уже давно. Просматривая свои прежние работы, я, даже чаще ожидаемого, нахожу в них места, где так или иначе описан круг — то есть наиболее общий случай ошейника.

Он смотрел на меня молча, безо всякого выражения, словно настроившись, что я должна говорить дальше, дольше, подробней.

Тогда я сказала, что вот так же, в первый свой визит, я никак не могла разыскать могилу Édith Piaf. Что я, руководствуясь тем же планом, ожидала найти надгробье либо купечески роскошное — в этой стороне кладбища они были именно такими, — либо изящное, артистическое. Но надгробье (я показала рукой в ту сторону) оказалось скромным, во многом стандартным; кроме того, на нем, чего я никак не ожидала, с торца выбита надпись — вы видели? — «*Famille GASSION-PIAF*»; сама Piaf значится как *Madame LAMBOUKAS*; в той же могиле, с ней рядом, — *Louis Alphonse GASSION*, ее отец; там же ее двухлетняя дочь *MARCELLE* — видели? — и *THEO SARAPO*... Кстати, «*sarapo*» по-гречески означает «я тебя люблю» — вам это известно?

Он продолжал слушать, стоя шагах в пяти, неподвижно. На его лице было ясно написано что-то, но совсем не здешними знаками. Он выглядел худым — и чрезвычайно длинным, как парафиновая свеча, и это сходство со свечой, даже, скорей, с фитилем, усиливалось за счет его природной белесости. Он был существом без возраста, однако что-то говорило о том, что, по земным меркам, он, скорее всего, молод. Он обладал красноватой кожей, характерной для некоторых блондинов. Однако блондином он не был.

Имея бесцветные, отстраненные глаза, он был абсолютно сед.

Но и седина эта была особенной. Его волосы походили на мелко-мелко нарубленную рыболовную леску. Образовавшаяся густая щетина не содержала в себе никакой белизны, она была бесцветна — точнее сказать, прозрачна. И эта прозрачная мелко-мелко нарубленная рыболовная леска жадно впитывала в себя сейчас кровь раненного в живот солнца — волосы словно намокли кровью.

«И вот, стало быть, — сказала я, чтоб хоть что-то сказать, — Édith Piaf лежит в могиле со своей семьей. Которой у нее, по сути, никогда не было. Получается, что семью она обрела лишь в могиле...»

«Человек много что может обрести в могиле, — глухо отозвался он. Затем, усмехнувшись, добавил: — Кстати, вы на ней стоите».

«На ком?» — я невольно отпрянула.

«Вы стоите на могиле *Modigliani*. Правильно ли я понял, *madame*, что вы искали могилу *Modigliani*?»

Я посмотрела под ноги. И поняла, почему, даже поднимая план, ничего не заметила.

Плоская надгробная плита, целиком осевшая, сровнялась с землей. Кроме того она поросла мхом. Буквы и цифры можно было разобрать, лишь запредельно напрягая зрение. Только при таком условии, на палимпсесте плиты, в пролысинах мха, начинали проступать темные очертания знаков:

AMEDEO MODIGLIANI

1884 — 1920

... В целом плита являлась уже частью природы.

... «Вот, значит, где он лежит...»

... «Там не он, *madame*».

... «Не он?..»

... «Нет».

... «А кто же?»

... «Там — они».

... «Они? Кто?!»

... «Когда он умер, его жена выбросилась из окна».

... «Значит, он здесь лежит с женой?»

«Да. Так же, как Édith Piaf, — всей семьей...»

«Вдвоем, значит, лежат... Здесь, однако, не написано...»

«Я не сказал, что они лежат здесь вдвоем. Когда жена выбросилась из окна, она была беременной на девятом месяце. Ребенок, разумеется, погиб тоже. Таким образом, здесь, у вас под ногами, лежат: Modigliani, его жена, их ребенок».

«А помните, — мне хотелось скрыть свое потрясение, — этот фильм, «Montparnasse, 19»? Как там Gerard Philippe играет? Помните сцену, где он, нищий, голодный, пытается продавать в кафе свои эскизы (я изобразила): «Achetez cette peinture... Je suis Modigliani!...»¹

«Кинематографом не интересуюсь... Кстати... Прошу прощения, madame...» — он сдвинул бесцветные брови, взвешивая какую-то мысль.

В этот момент я смогла разглядеть его лучше. Он был одет в добротный старомодный костюм сероватой гаммы, нечто среднее между gris-fumé и gris-neutre-clair; под расстегнутым пиджаком виднелся тонкий, в тон костюму, очень аккуратный шерстяной джемпер.

«Вы знаете, — наконец сказал он оживленно, — вот здесь, прямо на этом месте, где мы стоим... Да, именно здесь, столетие назад... Да нет, что я говорю: *ровно сто лет назад!* да! день в день! — это был голос счастливица, у которого полностью совпал лотерейный номер. — Даже в этот вот час... — резко вскинув запястье, он с жадностью впился в циферблат: — Да... даже... в эту минуту!.. — тихое, безумное ликование триумфатора, казалось, взорвет его горло. — По-ра-зи-тель-но... Даже в эту минуту... — он посмотрел на меня так, словно одаривал всеми сокровищами мира, затем набрал полные легкие воздуха и, торжественно разделяя слова, произнес: — Здесь. Случился. Пожар».

Я не была готова к такому типу известия.

«Откуда вы это знаете?»

Он усмехнулся:

«Полагаю, madame, не столь уж важно, откуда именно я это знаю. Мне известно это, скажем так, из моих личных источников. Но данный исторический факт, в целом, не является секретом абсолютно ни для кого».

Он махнул рукой — и, шагах в пяти, я увидела стелу. Я подошла и медленно прочла то, что он сказал, — слово в слово. Да, ровно сто лет назад, в 1897 году... Да, в этот же день, 4 мая... В этот же час...

Я взглянула на часы.

Да, именно в эту минуту.

«Но что здесь могло загореться? — сделала я попытку защитить себя от плотной, удушающей тишины. — Кругом же одни могилы...»

«В то время вот этих, этих и всех тех, — он вытянул руку, — могил не было. На этом участке стояли, как бы точнее сказать... — он помолчал, подбирая английское слово... — Здесь стояли торговые палатки. Вот в этом здании, — он указал за ограду, — проходил благотворительный бал... Там собралась l'élite de Paris... В торговых палатках сидели, соответственно, именитые дамы. Для привлечения покупателей были выбраны, разумеется, самые красивые... Когда начался пожар, пламя мгновенно охватило палатки. Вокруг было очень много народа. Здесь был узкий проход... началась паника, давка... женщины в кринолинах... ну, вы понимаете. На многих, кроме того, были корсеты из китового уса... Одни просто задохнулись... других затоптали... Всего погибло двести человек — du gratin de Paris. На этом месте, где мы сейчас с вами стоим».

¹ «Купите рисунок... Я — Модильяни!...» (фр.).

«Merci, monsieur, было очень интересно. — Я демонстративно взглянула на запыстье. — Увы, мне пора... Кроме того, кладбище закрывается через пару минут... Au revoir!..»

«Не беспокойтесь, madame, — он снова усмехнулся. — Полагаю, вы уже поняли, что у меня здесь свой вход и свой выход».

Я не могу вспомнить, куда и как долго мы шли. Сгущались сумерки. Я даже не помню, молчал он или продолжал говорить... И, главное, я не помню, как именно я ощущала ту, не имеющую названия, силу, что непререкаемо вела меня за ним — по петляющим тропкам, таким извилистым, что мне казалось, будто он, издеваясь, просто гоняет меня по вытянутой в горизонталь восьмерке, — а то вдруг я видела, что мы идем уже по более широким дорожкам — или протискиваемся между зловеще-узкими проходами могильных оград; эта сила заставляла меня инстинктивно, почти вслепую, перешагивать через корни древних деревьев, огибать заброшенные могильные плиты... Скорее всего, время от времени, он что-то все же говорил, обращая мое внимание на детали, которые казались ему особенно значимыми, — но в том-то и дело, что говорил он время от времени, а для меня время, с момента моего беспрекословного подчинения этому гипнозу, аннигилировалось.

Я помню лишь отдельные эпизоды, и это вызывает во мне сейчас огромную досаду, потому что, как при попытке восстановления сновидений, в который раз понимаешь, что — сквозь грубую, крупночестую сеть памяти безвозвратно ушли почти все волшебные рыбы.

Вижу себя стоящей возле странного памятника. Это бронзовый юноша, очень красивый, распростертый прямо на земле. Роста в нем больше шести футов, он одет во фракную пару, в правой руке сжимает изящную трость с набалдашником... Кажется, на земле лежит живой человек...

«Ну, вы, конечно, видите, что он мертв, — слышится знакомый уже голос. — Памятник запечатлел момент сразу после убийства. Это был молодой журналист, двадцати трех лет. Его застрелили из револьвера, в одном из парижских театров, в упор. И здесь он запечатлен именно в той самой позе, в какой рухнул навзничь там, в театре. Видите? Он сражен наповал».

«За что же с ним так обошлись?»

«Запутанная история... Вряд ли вам будет интересно, madame... Но вот обратите внимание... Посмотрите на его нос, губы... на чуть выступающий гультфик... на пальцы... на набалдашник трости...»

Я смотрю, куда он указывает и, даже в сумерках, ясно различаю, что перечисленные части скульптуры гораздо светлей остальных. Они буквально сверкают свежей полировкой.

«Дело в том, что сразу после того, как этот памятник был положен на могилу, за ним пошла такая слава... как бы это сказать... Если женщина долго не может стать матерью... ну, вы понимаете... она, как правило, согласна на все. И вот, до сих пор, уже более ста лет, сюда приезжают дамы со всех уголков de la France».

«И что?»

«И вступают с ним, как вы можете догадаться, в сексуальную связь. Скачут на красавце во весь опор, а пронырливые тележурналисты, его кузены по корпорации, это дело потихоньку снимают. Прячась вот в этих кустах».

«И что — помогает?»

«Журналистам?»

«Нет, женщинам!..»

«Статистические отчеты мне неизвестны... Кстати... — Он достает из кармана пиджака яркий, новенький покетбук. — Такие случаи зарегистрированы, разумеется, не только на Péré-Lachaise... Например, в каталонском городке N. (он проносит ничего не говорящее мне название) по сей день девушки и зрелые дамы, стоя, предаются любви вот с этой статуей. — Он подносит к моим глазам книгу и показывает фотографию мраморного Аполлона. — Статуя установлена на могиле местного живописца... Так вот: данные случаи пигмалионизма не имеют там целью деторождение. У каталонков в этом городке считается, что в момент оргазма Аполлон, путем эманации, изливает на них свою божественную красоту».

Делая жест, означающий «изливает», он взмахивает рукой с книгой — и на задней обложке, в белой рамке, я вижу его лицо. Да, это он.

«Но я не особенно бы заинтересовался данным случаем, если бы он, на почве ревности к этому идолу, не привел к массовым убийствам и самоубийствам, а потом и к мстительному разрушению его статуи», — с этими словами он показывает мне соответствующую фотографию.

«Позвольте спросить: вас зовут Bertrand?»

«Почему вы так решили?» — он смотрит на меня с недоумением и досадой.

«Но ведь эту книгу о кладбищах написали вы?»

Он кивает — довольно нейтрально. Затем уточняет: «И не только эту».

«Здесь стоит имя», — говорю я.

«Ах, вот что... — к его характерному смешку я уже привыкла. — Это просто один из моих многочисленных псевдонимов. Даже не стоит запоминать».

Подумав, он считает возможным пояснить:

«Я взял эту книгу — кое-что прочесть сегодняшним посетителям...»

«Посетителям? Вы работаете здесь гидом?»

«Ah, c'est rien!.. Бренный хлеб. Раз в неделю».

«Коллеги, наверное, вас очень ценят!..»

«Коллеги? — его голос резко выходит из-под контроля. — Какие у меня могут быть коллеги? Зависть, интриги и прочие человечьи magouilles²...»

Теоретически сейчас подходящий момент спросить, каково же его «настоящее имя». Но я не собираюсь этого делать. И не потому, что он не спрашивает моего. Просто мне ясно, что имен у нас нет. Как нет их и ни у кого другого. Правда, имена высечены на надгробных плитах. Но они, безусловно, подложные, и это — обязательное условие игры, навязанной всем — и живым, и мертвым. Игроки навсегда бесправны. Законное имя имеет только La Mort.

Мы стоим возле черного мраморного надгробья, зеркально-гладкого, на торце которого, золотом, крупно высечено:

Marcel PROUST

1871 — 1922

Вечерние птицы легко и кротко ткнут изящную ткань сумерек.

«Осмелюсь спросить вас, madame: из какой вы страны?»

Неожиданный вопрос. Впрочем, кто может угадать изощренную прихоть его мысли?

«Uit Koninkrijk der Nederlanden», — отвечаю я на старинный манер, в тон его прелестной церемонности.

«Из Нидерландов!.. — он взглядывает на меня с непритворным почтением. — Из Нидерландов!.. — восклицает он снова. — Страна, созревшая легализовать эв-

таназию!.. Говорю вам со всей ответственностью, madame: даже если бы голландцы не удивили бы мир больше абсолютно ничем, они остались бы в моем мнении величайшей нацией».

Я поднимаю с земли несколько мелких камней и кладу их на черную мраморную плиту.

Горбоносый мраморный профиль в изящном овале. Надпись на белой вертикальной плите:

À FRÉD. CHOPIN

1810 — 1849

«Вы конечно, знаете, madame, что сердце его похоронено отдельно».

«Да! Прямо-таки в традициях французских королей!..»

Ему, судя по всему, нравится эта шутка: видимо, такое сравнение для него ново. И он не поправляет меня, чувствуя, что я и сама отлично знаю разницу: Chopin потому распорядился похоронить свое сердце отдельно, что хотел главную часть себя вернуть на родину, в Польшу.

«А как бы вы, madame, распорядились своим телом на предмет смерти?»

«Какая разница!.. После смерти оно не мое. Оно и при жизни-то не мое».

«И все же. Я имею в виду: как бы вы хотели, с помощью тела, символически выразить свою любовь к разным странам? Проще всего, конечно, распорядиться, чтобы развеяли прах где-нибудь над океаном. Но это, на мой взгляд, довольно пресная любовь — ко всему сразу, то есть ни к чему в отдельности».

«Знаете, monsieur, на планете столько мест, которые я полubiла и хотела бы отблагодарить — как-нибудь по-человечески — без слов. Но как? Большая ли честь, скажем, для одного из озер Северной Америки, если на его берегу будет похоронен мой глаз? Или для Пентландских холмов Шотландии, если в одном из них будет зарытое мое ухо? Да и много ли мое ухо там услышит? Chopin, своим случаем, конечно, провоцирует думать в этом направлении: тело — зарыть там, сердце — там... Или даже так — попросить расчленить себя, от большого любвеобилия, на отдельные органы: сердце — там, печень — там, почки — там; или еще подробнее, на мелкие кусочки, — каннибальская каббала. Но если я не могу устроить так, чтобы тело мое, целиком, было похоронено возле Дома моего детства, в самом Доме моего детства, — какой для меня смысл нашпиговывать планету своими разлагающимися ошметками?»

«Пожалуй, вы правы. А где находится Дом вашего детства?»

«Далеко. Какая разница!..»

Уже темно.

«Полагаю, что вам, monsieur, как официальному гиду этого кладбища, придется без конца выкладывать на потеху индюкам-посетителям сведения под грифом «самым-самый»... Так ведь?»

«Что вы под этим понимаете?»

«Ну, например: самое дорогое надгробье... самый вызывающий памятник... самая старая могила...»

«Самая глубокая», — понимающе отзывается он.

Как и в первый миг, мне делается не по себе. Но это чувство тут же проходит. А он продолжает:

«Нет, я никогда не иду на поводу у посетителей. Здесь, на Péré-Lachaise, девяносто тысяч могил. Я знаю историю каждой. Хотят посетители или нет, они довольно быстро попадают под мою власть».

Он снова достает книгу и, подняв над головой, насмешливо держит ее двумя пальцами, словно за хвост.

«Да и на других кладбищах de la France, кстати сказать, — тоже».

«Могу я спросить вас: как все это сложилось?»

«Что?»

«Ну... ваш образ жизни. Он ведь не такой уж обычный... Одобряют ли его ваши родители?»

Он смотрит на меня с искренним изумлением:

«Родители? Вы сказали: родители?»

Я смущенно киваю.

«Родители! Какая разница? Кажется, не одобряют... Сейчас уже, правда, не столь ожесточенно... Они старые. Скоро умрут».

«И все же, если можно: какэто началось? Наверное, с какого-то особого случая?»

«Никакого особого случая. Когда мне было пять лет, бабушка, мать моей матери, привела меня сюда. Вот и все».

«Что — и все?»

«И все значит: я остался здесь навсегда».

«Но вы же не станете утверждать, что и живете здесь?!»

«Живу я рядом, с той стороны стены. Говоря точнее — на rue de Bagnolet... Но мое сердце — на кладбище. Это простой факт. Такой же, как тот, что мы сейчас выйдем отсюда».

С этими словами он подходит к стене и бесшумно отпирает невидимую для меня дверь.

Передо мной возникает залитый светом проем — ярко-золотой на темно-синем панбархате вечера.

...В одной из своих предыдущих жизней я родилась и жила в городе, который звался европейским — хотя его население имело привычку опорожнять кишечники и мочевые пузыри прямо на лестницах. (Этот пример тамошней контрадикции — между реальной этикой и формальной этикеткой — я привожу потому, что он окутывает мои воспоминания и вовсе фантастической дымкой, словно доходчиво иллюстрируя абсолютную необратимость прошлого.)

Себя в том прошлом я помню плохо. Иногда мне даже кажется, что у меня, теперешней, было с тем человеком лишь шапочное знакомство — притом в компании каких-то случайных людей. Поэтому честнее будет называть того человека не «я», но, скажем, «она» — или, что даже точнее, «он».

Итак, «он».

В городе, где он жил, ему однажды пришлось выправлять некий манускрипт. (Этот человек выправил в той своей жизни великое множество манускриптов, поэтому ему поручили тот непростой случай.) Некий преклонных лет служитель муз наконец собрался произвести на свет своего — вынашиваемого годы и годы — первенца. Несмотря на столь солидный срок первенец оказался явно недоношенным — не только по объему и весу — но и по другим, гораздо более важным показателям. Жертва алкогольного зачатия, рукопись была безнадежна.

Дело происходило у служителя муз, в его девственном, не оскорбленном уборкой жилище. Гостю, то есть выправителю манускрипта, стало скучно еще до того, как служитель открыл рот. Открыть его он намеревался для того, чтобы непосредственно самому, вслух, прочесть пришельцу свой труд. Применяя ухватки самостоятельного чтеца-декламатора, он пытался оттянуть момент непосредственной встречи глаз своего опасного визави с текстом, где перебор «неподдельных чувств» с лихвой восполнялся недоразумениями грамматики.

Однако он начал. Речь шла вот о чем: писатель описывал, как он пьет, чтобы затем описывать, как он пьет. Не будучи Венедиктом Единственным, он не делал

это талантливо. Гость сказал: «Вы поразительно похожи на Борхеса». — «Почему?» — для пушного удовольствия писатель нуждался в детальном обосновании комплимента (само сравнение не показалось ему странным). «Ну как же, — терпеливо пояснил гость, — вы описываете, как вы пьете — с тем, чтобы затем описывать, как вы пьете — и так далее, до бесконечности: змея, грызущая собственный хвост!...»

Некоторое время хозяин, придавленный внезапным грузом величия, пытался прийти в себя — сарказм гостя был из разряда тяжких потоков, рухнувших некогда на Геркуланум.

Чтобы немного оттянуть назначенное ему истязание, гость добавил: «Скажите, вас интересует в жизни что-либо еще, помимо водки?»

Демиург растерянно обвел очами свою комнату — и даже послушно посмотрел в окно, ища хоть какой-то объект, мало-мальски достойный внимания, и, не обнаружив, судя по всему, ничего, вернулся глазами к своему дефективному детиску. «А вот же, — он с важностью указал заскорузлым перстом на стопку бумажек, — литература!...» «Нет, — сказал гость, — вы меня не поняли: я имею в виду какой-либо иной материал для литературы. Любовь, например».

Хозяин задумался. Затем снова взглянул в окно, и, как написали бы личности, обязательные для школьной программы, «неподдельная радость озарила на миг, казалось бы, навсегда угасшие его черты». «Вон там, — он махнул волосатой пятаерней в сторону окна, — видите мост?» Гость кивнул. Мост был прямо напротив дома. «Ну так вот, — продолжил хозяин, — прошлой осенью, уже холода стояли, одна дамочка с него вдруг — ка-а-э-э-к уйийиййкнется!.. Брызги — с пятиэтажный дом..! А я — возьми и спаси. И вот, не соврать бы... недели три... нет, что я говорю, две! — была между нами любовь...»

Обрадовавшись такому повороту дел, гость уже намеревался спросить, написал ли хозяин что-нибудь, разнообразия ради, про эти необычные две недели, когда повествующий внес суровую коррективу: «Хотя и сверзилась-то она, если правду сказать, сугубо по пьянке... Да и я-то... И я-то полез эту коровеху вылавливать, между нами, на хор-р-рошей поддаче. Стал бы я, стрезва-то, да по ноябрю, да в эту говнотечку нырять! Вы же знаете, какие у нас погоды!...»

Мы медленно идем по весеннему вечернему, уже почти ночному, живому, как жизнь, Парижу.

Галактика его звуков пульсирует, словно гигантский сердечный насос, щедро рассылая по аортам, артериям, артериолам улиц шум автомобилей, музыку, восклицания, хохот, брань, звон бокалов и чашек, плач, пение, полицейскую сирену, трели птиц, пронзительные сигналы амбуланса, шелест листвы, шорохи крыльев, шепот фонтанов; в этой галактике множество солнц и планет, им нет числа, но главным ее звуком, ее самой большой звездой является глуховатый голос моего проводника.

...скончался он при весьма странных обстоятельствах... когда прибыл представитель префектуры, все было уже кончено... идентификация по костюмам явилась, разумеется, тем последним звеном в цепочке доказательств... это имя, я полагаю, не нуждается в комментариях... завершил свой земной путь в самом расцвете сил от не известного в то время яда... она застала своего знаменитого кузена с посиневшим лицом и пеной у рта... когда в гостиную вошел ажан, они оба уже страшно хрипели... морганатический сын монарха, он рано узнал унижения... его внимание привлекли странные звуки из детской... эта головокружительная карьера оборвалась так внезапно, будто... никто не обратил внимания, что его старшая сестра во время похорон все время стояла в стороне... эксгумация принесла великолепные результаты... именно такие изменения они и обнаружили в тканях трупа... после чего преступник, не отличавшийся щепетильностью в подобных вопросах...

блистательный ум этого человека угас так же скоротечно... в период революции они, как вы понимаете, не особо заботились о сборе улик...

«...А вот отель, где 30 ноября 1900 года, изгнанником, умер человек по имени Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde...»

(Эпизод самовольно вычленяется из потока речи — и, чтобы навсегда остаться в моей памяти, так же самовольно вставляет себя в рамку.)

Я смотрю на вывеску гостиницы, «L'Hotel», 13 rue des Beaux-Arts, — и, разумеется, с трудом верю в реальность происходящего.

«...Тогда это был третьесортный отельчик — номера совсем так себе, предпоследнего разбора. Но стоило monsieur Wilde скончаться, хозяин этого заведения невероятно разбогател. И даже теперь, почти век спустя, его преемники становятся все богаче: от состоятельных геев и любителей изящной словесности просто отбоя нет. Недаром прозорливый хозяин — я думаю, вполне искренне — положил в день похорон на могилу monsieur Wilde громадный венок: МОЕМУ ПОСТОЯЛЬЦУ».

«Исчерпывающая надпись, — говорю я . — Словно бы от самой жизни».

...утром они приступили к вскрытию... первоначальный вывод о том, что это было убийство с последующей имитацией самоубийства... закончила свои дни в доме для умалишенных, где задушила себя собственными руками... аристократка непревзойденной красоты... блистательная куртизанка своей эпохи... ажан утверждал, что выстрела он не слышал... поскольку она была похоронена беременной, грабители, соблазненные бриллиантами и вскрывшие могилу в ту же ночь, обнаружили в гробу не только рожденного ею посмертно младенца, но и двух змей, которые жадно высасывали молоко из ее знаменитых когда-то грудей... и вот чтобы пресечь этот затянувшийся adultère... мышьяк был куплен у местного фармацевта ровно за день до ее возвращения... в этой больнице, в нищете и неизвестности, перешла в лучший мир знаменитая актриса, имевшая тысячи тысяч поклонников... с отрешенным лицом он стоял возле гроба жены... большая роль здесь принадлежит, конечно, фосфатам: это вещества, выделяемые печенью и селезенкой; при быстром удушении их концентрация в слюне резко повышается... пуля, извлеченная из ее легких, не соответствовала калибру револьвера, обнаруженно-го рядом с телом...

«...А сейчас я покажу вам некий предмет, который здесь, á Paris, является единственным предметом своего рода. — Он разводит руками высокую густую траву. — Примите к сведению: этому предмету удалось сохраниться со времен de cardinal Richelieu!..»

Мы стоим в крошечном, отъединенном от всего мира дворике. Он, как ни странно, расположен в самом центре Парижа. Как мы сюда попали? Я не заметила. И вот, среди вполне деревенских лопухов, крапивы и чертополоха, я вижу некую металлическую палку, высотой примерно в два фута, прочно вбитую в землю и увенчанную неким подобием — тоже металлической — довольно узкой и заостренной подошвы. В целом предмет более всего напоминает сапожное приспособление.

«Как вы думаете, что это такое?»

Что мне думать? Я понимаю, что эта штука так или иначе имеет отношение к всепоглощающей страсти моего гида, в противном случае она б не попала в поле его внимания.

«Может быть, это часть противопожарной системы?» — делаю я осторожное предположение (мысленно добавляя: «...которая однажды не сработала, и здесь, вспыхнув от молнии, произошел пожар, унесший десятки жизней»).

«А вот и не угадали, madame! — весело говорит он. — Эта штукавина называется un «pas-de-la-mule», и предназначалась она в свое время для того, чтобы человек, поставив на нее ногу, мог с удобством усесться на лошадь!..»

При этих словах я немедленно вижу обжору-лавочника, который не в состоянии, в отличие от своего соперника, юного мушкетера, одним прыжком вскочить в кожаное седло... Зато un «pas-de-la-mule», компенсируя уязвленную гордость хозяина, стопроцентно гарантирует ему сохранность шеи!..

«И вот однажды владелец этого дома, довольно состоятельный аптекарь (следует звучная фамилия), поскользнувшись на этой штукавине, мокрой от дождя, рухнул на нее со всего маху, — и она, распоров ему промежность (аптекарь был невероятно грузным человеком, madame), непосредственно пенетрировала в его брюшную полость. Таким образом, оказались серьезно поврежденными жизненно важные органы, в частности печень. Нанизанный на эту конструкцию, несчастный через пару минут скончался от интенсивного внутреннего кровотечения».

Меня не удивляет такое завершение истории. Я слышу слова как сквозь толщу воды. Там, за нежной водяной завесой, зеленовато-трепещущей, словно кладбищенский плющ, я вижу моего проводника, который, легко, почти невесомо двигаясь по плитам этого маленького потайного двора, будто по сцене спрятанного в глубинах дворца театра, взмахивая своими длинными руками и словно слегка приседая — да, именно так: словно слегка приседая, вызывает в моей памяти яркие картины моих снов:

Желты луна и музыка. Царит
смех инструментов в сумраке углов.
Я приседаю в танце: мой улов —
мозаика прохладных тихих плит.

В моей душе ночных печалей много.
Я лишь скелет в телесном тесном платье.
Я приседаю в танце: без проклятья
зрю всеобъемлющее тело Бога.

Смотрите на руки мои — вот так, вот так
мир кружит свой бесцельный путь во тьме.
Я различаю вещи — и подобья.

Вблизи меня — фарфор, а дальше — мрак,
а сверху — ночь с дырой луны, и мне
понятно: под ногой надгробье.³

...в этом доме скончался философ с мировым именем, гордость Академии... он пытался, как мог, снять тяготевшее над ним бремя фамильного проклятья... странный белый порошок, который обнаружила горничная... вскоре у консьержки тоже начались дикие рези в животе, рвота и кровавый понос... выходное отверстие пули в черепе баронессы ясно говорило о том, что... в том белом особняке, справа, умер владелец знаменитого литературного салона, известнейший в свое время беллетрист, сделавший карьеру на... будучи убежденным роялистом, он, конечно, подозревал своего друга, но... во время этого вояжа она тайно составила еще одно завеща-

3 Martinus Nijhoff, нидерландский поэт (1894—1953). «Китайский танцор». Пер. М. Палей, С. Вейдемманн.

ние, в пользу своего сына... он предавался и предавался любви с ее трупом, чувствуя острое наслаждение, какое не испытал за все пятнадцать лет супружеской жизни... небезынтересно, что за день до смерти она ясно различила у себя в спальне высокую фигуру в черном... левый флигель этого здания полтора века назад выкупил маркиз de R., известный политический интриган своего времени... долгое время считалось, что он был насильственно утоплен, и только через пятьдесят лет истина восторжествовала: он был преждеотравлен... я категорически против того мнения, что отравление произошло при этой концентрации яда: для летального исхода достаточна доза на целый порядок меньше... предсказание сбылось с точностью до минуты...

«...L'assassinant de Jean Jaurès... Le 31 juillet 1914».

Мы находимся недалеко от редакции газеты «L'Humanité», основанной именно тем человеком, который был убит здесь, на rue Montmartre, в кафе «du Croissant».

«Посмотрите в это окно, madame... Вот за этим мраморным столиком — видите? — на этом самом кожаном диване, как раз и сидел Jean Jaurès, когда Raoul Villain, этот националистический déchet⁴, выстрелил в него из револьвера... Видите на столике черное пятно, покрытое стеклом? Это засохшая кровь. Владельцы кафе до сих пор хранят кровь этого титана и смельчака...»

«Еще один тип бизнеса».

«Нет, madame, в данном случае я позволю себе с вами не согласиться. У французов свои, возможно, непонятные иностранцам, традиции».

Мы продолжаем наше траурное шествие по Парижу.

Время от времени, в самый неожиданный момент, он останавливает меня и просит: а покажите-ка направление, где находится Place du Panthéon? Dôme des Invalides? Sacré Coeur?

Коварное упражнение. Оно направлено словно на то, чтобы определить, насколько сильными еще остаются мои связи с вещественным миром.

Как ни странно, я показываю правильно. Ориентация заложена у меня не в сознании, но в теле: каждая его часть, храня на себе отпечатки внешних объектов, постоянно чувствует нужное направление пространства. Каждая его часть связана с интересными для меня объектами определенной валентностью. Иначе говоря, мое тело, неся на своей поверхности необходимые проекции, служит мне лучшей картой города.

А он снова допытывается: где, по-вашему, находится Opéra? Sorbonne? Notre-Dame? La Grande Arche?

Я, по-прежнему уверенно, показываю.

Но вот мы проникаем в черные, без единого фонаря переулки — мы залезаем непосредственно в организм города, внутрь его полостей — мы ползем в извилах его кишечных петель, бороздах мозга, слуховом лабиринте... Там молчат заброшенные дома, царит сложносоставной смрад; бездомные кошки, словно желая покончить счеты с жалкой жизнью, швыряют свои костлявые тела нам под ноги. Эти одичалые переулки петляют так, что мне кажется, будто мы снова безостановочно движемся взад и вперед по вытянутой в горизонталь восьмерке... Вдобавок в некоторых местах приходится продвигаться на ощупь... И тут навигационный аппарат моего тела начинает давать сбой.

А он, отлично предвидя это, продолжает свое изощренное испытание: а где, по-вашему, сейчас находится Val-de-Grâce? «Moulin Rouge»? Palais de Chaillot?

4 Подонки, отброс общества (фр.).

(Мне кажется, сейчас он спросит: а какое, собственно, сегодня число, madame?.. а месяц?.. а год?..)

Эта проверка напоминает мне то, что асклепий просит сделать пациента, погружая его в глубокий наркоз. Лежа под эфирной маской, проваливаясь все глубже, пациент послушно ведет скоротечно гаснущий счет.

Свет.

Взрыв голубого солнца.

«Это мой любимый ресторан... Вы знаете, madame, меню десертов здесь таково, что звучит, как стихотворение!..»

Меню выставлено в витрине, перед которой мы сейчас и стоим. Мой проводник принимается делать оживленные комментарии. Как ни странно, он — видимо, исключения ради — не связывает истории десертов с историями подсыпанных в них ядов. Его комментарии великолепны сами по себе и лишены какой бы то ни было гробовой тени.

Часть фраз — не снисходя до перевода — он произносит по-французски. Он ест французские фразы, он пьет их, — он, нежно поцеловав, осторожно надкусывает слова и медленно ласкает их влажным своим языком, как истекающие золотым соком фрукты, как шоколадные конфеты с ликерной, ромовой, коньячной начинкой, как тающие во рту нежнейшие pralinées, — он осторожно раздавливает звуки о свое небо, будто ягоды сказочного леса, — он дегустирует их по каплям, как букеты древних бесценных вин, — и вдруг раскатисто-громко разгрызает слова, словно крупные жаренные с солью орехи...

И для меня, уже погруженной в темно-голубые, хмельные глубины наркоза, наконец становится ясным, как сильно он любит родной язык. Какой плотской, звериной любовью.

Противоречит ли эта любовь другой его страсти — как мне казалось, всепоглощающей?

Скорее, напротив.

Я говорю: «Если это меню звучит, как стихотворение, не могли бы вы, monsieur, прочесть мне его целиком?»

И он читает.

Ежик на его голове искрит всеми огнями Парижа.

Этот неожиданный человек начал вечер — я же его закончу. Я уйду в темноту — вот с этой самой скамейки под щедро цветущими липами, на которой мы сейчас сидим в разъединяющем нас молчании. Но прежде я решусь на собственный чтецкий номер.

«Мне хотелось бы отблагодарить вас, monsieur, — я произношу эту фразу с подчеркнута завершающей интонацией, — так, как могу. Позвольте, я прочту вам два стихотворения. Оба они, скажем так, относятся к интересующей вас сфере...»

Он насмешливо смотрит прямо перед собой. При этом взгляд его закономерно упирается в ствол векового каштана.

«Любое стихотворение, так или иначе связанное с *интересующей меня сферой*, — поясняет он дереву, которое, почтительно присмирив, прекращает свой шелест, — любое такое стихотворение, в какой бы стране мира и в какую эпоху оно ни было бы написано, я знаю, разумеется, наизусть. Правда, — слегка корректирует он бесспорное свое величие, — при условии, что оно переведено на французский. Если же говорить об оригиналах, то к настоящему моменту мной собраны образцы соответствующей поэзии на четырехстах тридцати восьми языках».

«Мне хотелось бы прочесть вам два стихотворения, — не сдаюсь я несмотря на то, что ценность моего сюрприза, скорее всего, поблекла. — Одно называется «Keramikos», его автор — Lambros Porphyras. Другое — «Het klimop» («Плющ»), автор — Martinus Nijhoff...» Не успеваю я добавить: «Слышали, конечно, о таких?», — как он — небрежно демонстрируя (на скучнейшем экзамене) совершенное владение материалом, — с элегантною беглостью виртуоза выдает по одной строфе — из того и другого.

«Keramikos... — добавляет он глухо. — Случай с этим кладбищем демонстративно, как на плакате, обнажает неразъемную связь разных, казалось бы, отрезков времени... Ведь первые его могилы были обнаружены как раз во время современного градостроительства — всего-то век с небольшим назад... Новая афинская улица должна была, по плану людей, вести к Pigeus, а привела...»

К моему удивлению, он, впервые за весь вечер, достает из кармана пачку сигарет и, отрывисто осведомившись, не имею ли я что-нибудь против, закуривает.

«Кстати... Я провел на этом кладбище одиннадцать самых счастливых недель своей жизни».

И вдруг нечто подсказывает мне, что сюрприз вовсе не утратил своего смысла. Не делая более никаких предварительных комментариев, глядя только во тьму, я, торжественным амфибрахией, начинаю:

Не верю — о юноши, девы и старцы — что вас уже нет
давно среди живущих — о Аттики лица! — что будто исчезли вы все,
вселясь в барельефы. Неправда! Вы живы и любите свет
и воздух прозрачный в сияющем Керамикосе.

Я знаю: под каждой плитой плоть разрушена в прах,
но белые души неслышно из мрака земли возвратились,
чтоб свить себе гнездышки в окаменелых телах, —
и, новую плоть обретя, в ней навек поселились.

О да, они живы! Вот дева — смотрите, смотрите —
глядит — замерев, грустно смежив густые ресницы, —
на хрупкую птичку, что возле щербинки в граните
присела, чтоб капелькой влаги свежайшей осенней напиться.

Чуть дальше — архонт своей мощной ладонью сжимает
беспечную ручку сыновью. Навеки набравшись терпенья,
он слушает тополь серебристый, который всегда начинает
в пронзительном мартовском полдне свое песнопенье.

Вблизи кипариса лежит морфоньос⁵, но не спит:
он в дали — лазурной, уже неземной красоты —
— гляди! — оседлал скакуна и стрелю летит —
летит по дороге лихой бесшабашной мечты...

Я читаю нараспев, намеренно не глядя в его сторону, при том досадуя, что мне не слышна ответная его реакция. Как можно дольше я протягиваю цезуры, стараясь уловить хотя бы ритм его дыхания...

⁵ Морфоньос (красавчик) — традиционный персонаж греческого театра теней, основанного во времена турецкого ига.

Тщетно.

Он бездвижен, беззвучен — словно бы бестелесен.

И мне остается, призывая на помощь свою совсем не железную выдержку, ровно закончить:

Уверен: полны барельефы те жизни священного жара
(и, кстати, лишь на барельефах страдания не обитают),
и, если придет их проведать влюбленных счастливая пара,
все — юноши, девы и старцы — их благословляют.

И благодарят они добросердечную младость
за то, что пришла в их бессрочный покой навестить,
за то, что напомнила самую сладкую радость —
безумную, главную, вечную радость: любить⁶.

Теперь я позволяю себе взглянуть на него.

Тень фонаря, рассекая его лицо пополам, оставляет мне для ответа его единственный глаз.

И этот одинокий бесцветный глаз взирает на меня с ужасом.

Дальнейший диалог — летучий, неинтонированный, проходит в стремительно-рваном темпе:

«Какой это был язык? русский?» — «Да, это был мой перевод на русский». — «Но почему?!» — «Что — почему?» — «Зачем вы перевели это на русский?!» — «А что — разве музыка стиха некрасива?» — «Музыка красива...» — «Так в чем же дело?» — «Я хочу знать: почему именно на русский?!» — «Потому что русский — мой родной язык».

Теперь он долго не может закурить. Спичка то гаснет, то ломается, то почему-то не загорается сигарета. Наконец он затягивается... кашляет...

«Да. Конечно, — говорит он, прокашлявшись, стволу каштана. — Вот он, знак. Вот он!.. *La Russie est le pays de ma mort*⁷. Последний знак из предсказанных. Недостающее звено в цепи доказательств... *Ma mort a fait là bas son nid*»⁸.

Несмотря на презумпцию невиновности дерево виновато молчит.

«Вы, — продолжает он, — думаю, сознаете, что я не отношусь (это «не» он буквально выкрикивает) к своему освобождению из земной западни с тривиальным малодушием человека. Но меня унижает, меня убивает при жизни, что мой уход произойдет в чужой для меня стране. Почему мне написано на роду погибнуть в совершенно чужой стране? Притом при самых нелепых обстоятельствах? Это сокрушает мой разум. Почему я должен проделать все это — все, что мне предписано совершить — и что совершенно чуждо моей природе? *Pourquoi? Pourquoi?*»

«С чего вы все это взяли?»

«*Madame*, ваш вопрос, мягко говоря, некорректен. Если не сказать — неискренен. Надеюсь, вы понимаете, что я не могу не владеть техникой некоторых довольно точных вычислений. Ну, и так далее».

«Но кто вас туда толкает?»

«В том-то и дело, что как бы никто. Просто в один день, уже довольно скоро, я пойду на вокзал и куплю билет. До этого я буду просить каких-то случайных знако-

6 *Lambros Porhugas*, греческий поэт (1879—1932). «*Keramikos*». Пер. М. Палей, Г. Цуладзе.

7 *Россия — страна моей смерти* (фр.).

8 *Моя смерть там свила свое гнездо* (фр.).

мых держать меня как можно крепче, — и они будут держать меня крепко, но я все равно вырвусь — и куплю его».

«Не на самолет?»

«Нет, именно на поезд. И я буду просить каких-то случайных людей держать меня как можно крепче, чтобы я не сел в него, и они будут, но я вырвусь и вскочу в уже тронувшийся состав... О, как страшны эти вагоны, идущие на восток!.. И я еще смогу выйти на любой предыдущей станции, там будет много станций до моей остановки и много времени, чтобы это сделать, но не выйду. А когда моя остановка, моя конечная остановка будет уже совсем близко, я стану униженно просить чужих людей держать меня как можно крепче, и они, по кротости своей, будут, но я вырвусь и выйду. А назад уже не войду никогда».

«Ну, зато, зная все это, вы можете заранее распорядиться, чтобы ваше тело похоронили на родине». (Моя неуклюжая попытка «обратить все в шутку».)

«Тело?.. — Его лицо исковеркано резкими, сине-черными разломами тени. Оно скомкано, смято. — Мое тело обнаружено не будет».

Его седина сейчас окрашена серым. На его шее, руках — тень лежит сине-черными пятнами. «Группными», — услужливо уточняет анонимный голос, и я испытываю саднящую неловкость оттого, что сидящий рядом со мной человек, попирая законы физики, может этот голос расслышать.

«Мне тридцать один год, madame. Мне всего тридцать один».

Мне хочется крикнуть: «Откуда у тебя эта могильная седина?! Что именно тебе такое показали, черт побери, отчего из тебя враз вытек весь цвет?!..»

Но вместо этого я говорю: «Я хотела бы прочитать вам второе стихотворение».

И он, неожиданно оживившись, говорит: «Да-да, прочтите!.. Буду вам очень признателен. Я должен, в конце концов, начать привыкать к этим звукам».

И я, не успев осознать свою неожиданную миссию, уже следуя его просьбе:

...Когда возле той, где ей жизнь продлевали, больницы иду,
то не потому, что ее воскрешения жду,
а потому, что выросший плющ уже разбросал свою сеть
даже по верху ограды. И я залезаю смотреть.

В саду, как и прежде, стоит одинокое здание.
Запах роз и лизола. Стойкое сочетание.
Вновь коридорами долго и гулко один шагаю.
Вот эта дверь. Но табличка уже другая.

И в то же время, о, плющ, ты щекочешь мне щеку,
уводя в драгоценный вечер, в мое далеко.
Я ребенок, я болен, жар пожирает детское тело,
а она сидит рядом — нашу песню любимую только что спела.

«Я пойду принесу одеяло, сынок... холодает...» —
и шаг ее нежный в шорохе гравия пропадает.
А я начинаю ждать, сквозь листья плюща считая
льdistые звезды, что тонко звенят, не тая.

«Выдумщик, — слышен шелест плюща, — спустись-ка на землю, милый,
да лучше снеси одеяло маме своей на могилу.

Наверно, ей зябко в плюще, что дрожью под ветром исходит, лежать и бессрочно смотреть, как льдистые звезды восходят».⁹

«...А я, знаете ли, равнодушен к своей матери. С тех пор, как мне посчастливилось узнать жизнь кладбища — живую, бессмертную душу кладбища, — я просто забыл о женщине, которая меня родила... Как, однако же, это ужасно, что мое тело не будет покоиться там, где прожило всю свою жизнь! Ведь только на Père-Lachaise я и хотел бы сбросить земную свою оболочку... Ah, — он взмахивает рукой, — rien a faire!.. c'est foutu!..»¹⁰

В его глазах появляется самоирония висельника — отчаянная такая лихость. И это выражение неожиданно дарит ему крупницу мужского шарма. Он, патриот своей земли (в случае с ним это определение обретает прямой хтонический смысл) — да, он, патриот земли как стихии — и патриот конкретной земли в этой части планеты, — он не желает посрамить «гальский дух».

Я это вижу по тому, что, когда мы встаем со скамейки — встаем, чтобы расстаться навсегда, он, видимо, решив, что в глазах иноземки обязан держаться, как «француз», «парижанин», осторожно склоняет свое лицо к моему и, сохраняя это убийственное выражение насмешки к себе и ко всему сразу, с гимназической нежностью подростка целует меня в лоб, в подбородок, в губы.

Чтобы сразу растаять во тьме.

А я поворачиваю в другую сторону — и вот, уже одна, медленно бреду ночным парком.

Примерно через полчаса, на одном из бульваров, я захожу в ярко освещенный киоск — купить фотопленку на завтра. В киоске царит уютная пестрота журналов и сигарет, негромко играет музыка, покупателей нет. Купив искомое и тут же перезарядив фотоаппарат, я уже поворачиваюсь к выходу, — и тут снова вижу его.

Баснословно седой и длинный, он возникает в аспидно-черном проеме двери. Щурясь от света (и не видя меня), он подходит к торговой стойке. Пошарив в кармане, достает мелочь. Вымуштрованный продавец, вслепую, безошибочно берет с боковой полки вечернюю парижскую газету.

Я понимаю, что сейчас встречу с покупателем взглядом, и мне становится крайне неловко: ведь мы уже распрощались, притом навсегда.

И вот — когда продавец, привычно ослабясь, подает ему газету, а я, боком, делаю кошачий шаг к выходу, — он замечает меня.

На долю секунды в его отстраненных глазах мелькает подобие человеческой растерянности.

Но уже в следующее мгновенье, протянув руку к газете — и приняв ее из руки продавца, — именно в тот самый миг, когда газета, кротко шелестнув, переходит из чужой равнодушной руки в его жадную, дрожащую от нетерпения руку, — он, обращая ко мне, кивает в сторону черных типографских листов — и буднично, словно продолжив прерванный разговор, поясняет:

«Хочу взглянуть — может, кто-нибудь умер».

ПАПА ПАПАДОПОЛУ

Нас шестеро, и мы на вершине горы. Солнце бьет наповал. Оно ликует, как пьяный язычник, — глупая добыча дается ему легко. Вершина плоская — адская

⁹ *Martinus Nijhoff*. «Плющ». Пер. М. Палей, С. Вейдемманн.

¹⁰ *Что поделаты!.. Провались оно к черту!.. (фр.)*.

сковородка. Ни деревца. Ни кустика. Ни единой травинки. Зато безотказно вгоняют в тоску очередные развалины очередного храма. Какой от них прок? Пара колонн, пара ступеней, на коих соперничали в элокевции досужие стойки. Ну и? Ни одна из колонн не дает даже крохотной тени. Разумеется! Солнце в зените.

Когда мы наконец спускаемся вниз, нам навстречу — с поступательной целенаправленностью насекомых — ползут и ползут потерявшие разум паломники — с малыми детьми, с обезумевшими от жары псами, с палками, на костылях, даже в инвалидных креслах — и вообще находясь уже в том возрасте, когда медицинский, равно как и похоронный, полис стоит очень, очень дорого. Но что эти муки в сравнении с физиономиями знакомых, которые, недели через две вежливо рассматривая аляповатые фотографии, наконец-то оценят уровень культурных поползновений будничного, как обувная щетка, семейства!

Тропа, непростая с точки зрения скалолазания, с обеих сторон еще и осаждается аборигенками, навязывающими туристам сомнительное барахло. Сомнительное — потому что эти прекрасные, ручной вышивки скатерти, вязаные шали и салфетки (разбросанные здесь и там, прямо по уступам скалы и словно милосердно прикрывающие эти уступы от палящего солнца) кажутся странной, совсем бесполезной отвлеченностью — в сравнении с единым дуновением непродажного ветерка, о котором остается мечтать.

У самого подножья начинается городок, и здесь осада иноземцев аборигенами усиливается. Возле каждого кафе, каждого магазинчика, каждой сувенирной лавки, каждого ресторанчика — вояжирующие объекты подкарауливают зазывала, который и не забывает вовсе, а попросту хватает зазевавшегося за руку, за ногу, за любую выступающую часть — и пытается изо всех сил затянуть внутрь. Там, в сумрачной негоциантской пещере — подобно тому, как в античных термах свершались лечебные кровопускания, — будут целебно облегчены кошельки.

«Вот она, судьба великих цивилизаций, — я обращаюсь к спутнику. — Приторговывают оптом и в розницу бывлым величием — да всяким унифицированным барахлом, на которое неизбежно натыкаешься в любой точке мира. Тем и кормятся. Чем ловить дураков за руки, понарьли бы, что ли, медвежьих ям! Когда у клиента переломаны кости, с ним легче договориться».

«Ты просто ничего не любишь, — горестно говорит Джордж. — Ты просто ничего и никого не любишь...»

Наконец мы, вшестером, добровольно сдаемся владельцу какого-то кафе. Для него столько человек разом — трофей, наверно, немалый, поэтому энергичные вскрики — кирия! кирие! параколо! эухаристо! — раздаются на порядок чаще, чем мы привыкли. Мы — это переводчики со всех концов света, нашедшие приют для работы и безделья здесь, на одном из островов Эгейского моря: Жан-Пьер, Шарлотта, Клаус, Нарцисса — и мы с Джорджем. Про нас с Джорджем говорят, что мы женаты уже лет двадцать. Этот вывод порождает в нашем с ним воображении мифологические картины: дело в том, что Джорджу всего двадцать пять, а познакомились мы месяц назад. Матримониальная молва основывается, скорее всего, на ярком, сродни экзотическому, впечатлении: мы с ним понимаем друг друга без слов — и мы понимаем друг друга несмотря на слова. (Слова нам иногда все же нужны — мы переводим греческих поэтов позапрошлого века.)

Напротив кафе расположена ослиная станция. Два осла, старый и молодой, возят туристов на раскаленную сковородку, где мы только что чуть не погибли, и доставляют обратно. Сидя в кафе, мы наслаждаемся прохладой без малого уже два часа. За это время ослам пришлось вскарабкаться в гору и вернуться назад несколько раз. Наконец наша компания уже собирается покинуть кафе, когда снаружи раздаются дикие вопли. Мы выскакиваем на улочку.

За пару секунд до того все идет, казалось бы, как обычно, и мне это хорошо видно в окно: на молодого ослика, украшенного голубой попоной с серебряными бубенчиками, пытается забраться грузная американка. То, что туристическая туша изготовлена в Новом Свете, отмечаю именно я: звуки, издаваемые объектом, — для меня самое существенное из его свойств. Для ослика важны, что и говорить, другие факторы: вес поклажи, ее запах, а также — травмирующий либо нет — характер соприкасающейся поверхности. Этой поклаже, что сейчас пытается взобраться ослику на спину, — в ней без малого сто тридцать килограммов — помогает вожатый осла — почти бессловесный человек, постоянно находящийся рядом с ослом. Ягодицы у беспокойной поклажи такого обхвата, что ее шорты похожи на парашютный купол, плотно накрывший сопку. О сложном удушающем запахе можно лишь догадываться — излитые литры резких дезодорантов прямо пропорциональны объему потоотделения. Кроме того, у поклажи имеются еще и двухдюймовые фальшивые ногти — яркого порослячьего колера, — наклеенные словно затем, чтобы ненапряженно выуживать мелочь из храмовой кружки для пожертвований.

И вот ослик — раз! — кусает тушу за ляжку. Сначала он делает это словно бы в шутку, словно целует этот бугристый подрагивающий жир, — но туша дико кричит, — и он кусает уже резко, глубоко, с наслаждением — на миг показываются большие желтоватые зубы осла — и одновременно он злобно, с неожиданной силой, лягает вожатого прямо в живот.

Вожатый осла и жертва туризма вразлад корчатся на пыльной земле. Старый осел дико кричит: он видит, что из мясной лавки выскакивает человек с длинным ножом. Старый осел вопит во всю силу и тшится сорваться с веревки — он хочет жить и работать, он хочет жить и работать, он не хочет умирать из-за того, что его глупый молодой напарник учинил этот преступный мятеж. Напрасно обеспокоен старый осел: нож предназначается не ему. У молодого ослика мерцают первобытным сумасшествием лиловые гроззовые глаза, даже на расстоянии видно, как подетски дрожат длинные густые ресницы, с губ каплет обильная пена — но вот эти глаза подергиваются пленкой, а изо рта выхлестывает кровь, когда осмотрительный мясник, стоя на безопасном расстоянии, простым рогачком пересекает на шее животного точку жизни и смерти.

Мы молча направляемся к машинам. Сзади нас идет пара, и я слышу, как молодой человек возбужденно говорит девушке: «Я о таком в жизни не слышал... Бунт осла!» (В его английском ясно слышен польский акцент.) «Ужасно!.. — откликается его подруга. — Он, наверное, был болен... Бедный! Вот бедный!» «Ну да, как же! — саркастично бросает поляк. — Болен! А что, интересно, ты считаешь здоровьем? Вверх, вниз. Вверх, вниз. Дали поесть. Вверх, вниз. Вверх, вниз. И знаешь, о чем он смел помечтать?» «О чем?» — растерянно спрашивает девушка. Ей явно неприятна эта ядовитость друга. «Чтоб поклажа была не очень тяжелой, а путь вниз — ну это уже сумасшедшая мечта! — чтобы путь вниз можно было бы пройти налегке. Иногда ему в этом фартило». — «И все-таки: такой молодой, а уже... Он как-то очень быстро устал...» «А по-твоему, ему следовало всенепременно дожидаться геморроя?»

Мы уже хотим как можно быстрее убраться из этого места, но не знаем, куда. Собирались провести весь день в этих окрестностях, а теперь... «У меня идея: а поехали к папе Пападополу!» — вдруг предлагает Жан-Пьер. Клаустоже что-то слышал о папе Пападополу. Остальные просят разъяснений. Папа Пападополу — это православный поп, который, по слухам, держит недорогой ресторанчик где-то километрах в двадцати отсюда, в небольшой деревне.

По дороге к автостоянке обсуждаем план действий. Недалеко от той деревни, говорят, простирается отличный песчаный берег. Там искупаемся и позагораем. А в ресторанчике перекусим. С этим все согласны. Затем возникает неизбежная дискуссия: этично ли попу держать ресторан? Всем ясно, что в этом вопросе присутствует некая скользкость, провокация, пикантная закавыка — именно она-то и завлекает. Но с другой стороны... Мои коллеги — католики, крещенные, как и большинство крещеных, по моему мнению, «на всякий случай». Эти люди крайне далеки от церкви (я — еще дальше: не проходила даже формально-стей) — и, в общем-то, слабо разбираются в вопросах церковного политеса. Поэтому в ход идут аргументы, конечно, из литературы: а вот у такого-то (автора) монахи варили медовуху... на продажу... а у другого — самогон гнали... а у третьего... Ну и что? Все равно нам неясно: так ли это в порядке вещей — держать попу ресторан?

Я еду в машине с Джорджем. Море совершенно плоское, бездвижное, подернутое сизой дымкой полуденной дремоты. Не видно даже узенькой береговой оторочки волн... Кажется, будто на эту водную акваторию излился с небес исполинский, мифологический чан масла, и море впало в тысячелетний летаргический сон — такой же глубокий, как его собственные глубины. Вниз, к берегу, красиво чередуясь, сбегают рощицы молодых оливок, с другой стороны, у склона — гламурно зеленеют пальмы, — будто взятые напрокат из латиноамериканского сериала. В целом — мы мчимся внутри туристического буклета. «А тебе, конечно, подавай, чтобы были сосны и ели», — улыбается Джордж. Я молчу. Он прав. «И снег», — добавляет Джордж. И я снова молчу. Внезапно, словно безо всякой связи, он говорит: «А можешь прочесть мне стихотворение, которое мы перевели вчера? ..»

Мне нравится, когда он меня об этом просит. Русский язык у него — четвертый после грузинского, греческого, английского. Общаемся мы на английском, но, когда я читаю стихи по-русски, Джордж впадает в такой транс, что всякий раз неизвестно, вернется ли он в отправное измерение. Я говорю: «На ходу не буду. Ритм не тот». «Ну хочешь, свернем с трассы?» — говорит Джордж. «А как мы найдем остальных?» — «По мобильнику».

Мы выходим из машины и, не отрывая глаз от моря, садимся под листья огромной агавы. Насладившись тенью, я читаю то, что попросил Джордж:

Как это расскажу? Туман, дорога, тени...
И вдруг — увидел я — словно подъяли шторы:
театр. А наверху, на сумеречной сцене,
мелькая, двигались актеры и актеры.

Дома, дворы, цветы на входе к храму —
казались ветошью линялых декораций...
Мелькавшие разыгрывали драму
— под свой же плач и смех, — не требуя оваций.

Как это расскажу? Все парами вставали...
Был церемониал — красивый, непритворный...
И выходила Ночь — Господи! — когда те всю игру играли!..
И опускала — Господи! — занавес черный...¹¹

11 Lambros Porphyras. «Театр». Пер. М. Палей, Г. Цуладзе.

«А давай я по-гречески прочитаю? — Джордж неостановим на пути из одного рая в другой. — Хочешь?» «Давай», — говорю я. И он читает.

Заведение, которое в местной мифологии именуется рестораном, на поверку оказывается очень скромным сооружением — бетонным, довольно безвкусным, похожим на сезонный павильончик. Это предприятие честнее было бы назвать забегаловкой — имейся такое слово в ходу у потомков Гомера.

Постройка стоит на самом краю деревни, словно в раскаленной пустоте; в обе стороны от здания простирается каменистая дорога. Невозделанная земля вокруг бугриста, словно давно перерыта исполинской тяпкой и брошена на милость природы. Напротив заведения, на другой стороне дороги, изнывает от зноя жантильное семейство желтых, пунцовых и розовых мальв. Перед входом в забегаловку устроен навес и стоят два столика. На одном из стульев, вся в темном, сгорбилась — почти под прямым углом — старуха из местных — ей, судя по всему, давно перевалило за сто. Ее красные вывороченные веки обильно гноятся, на них жадно слетаются мухи. Мух отгоняет старуха помоложе, лет девяноста с гаком. Мы садимся за соседний столик. Из пыльных лопухов, неуклюже изображая смущение, вылезают члены собачьего уличного братства — ободранные, в репьях, с обвислыми до земли, привычно порожными животами; у двоих насчитывается по глазу на брата. Сирые и убогие в сборе — все говорит о том, что мы действительно нашли филиал православного храма.

Я не успеваю подумать, где же поп, как вижу, что он стоит рядом.

Поп стоит рядом и смотрит на меня в упор. Мне становится не по себе: в моем детстве поп, что бы он ни делал и где бы ни возникал, был предвестником, соратником, собратом смерти. Это являлось его главной, если не единственной, миссией, о которой взрослые, словно сговорившись, предпочитали молчать.

А сейчас поп стоит в шаге от меня, на фоне густо-синего неба, весь в черном. Я каменею. Мало того, что мне страшно, — мне, откровенно говоря, стыдно. Если бы я даже не сидела, а стояла, и дело бы происходило не в забегаловке, а в храме, и ко мне подошел бы поп, — даже тогда мне было бы стыдно, потому что в храме я не на месте. А сейчас не на месте поп.

Чтобы отвести глаза, я вперяю их в меню. Это довольно выразительный документ местной этнографии. В нем, на греческом и английском языках, перечисляется дюжина блюд. Названия доброй половины из них, будь они написаны по-русски, выглядели бы так:

Мусака «Папа Пападополу»
 Штифадо «Папа Пападополу»
 Сувлакья «Папа Пападополу»
 Тарамосалата «Папа Пападополу»
 Псари «Папа Пападополу»
 Колокитакия «Папа Пападополу».

Пользуясь тем, что поп отвернулся (жестами показывая старухам, чтоб они шли домой), я безнаказанно разглядываю его спину. В действительности же я разглядываю черную, почти сизую на солнце рясу. Черное на солнце выглядит сизым... Да-да: черное на солнце выглядит сизым: «Он, улыбаясь, думает о том, // Как будут выносить его — как сизы // На жарком солнце траурные ризы, // Как желт огонь, как бел на синем дом. // С крыльца с кадилом сходит толстый поп...»

А вот и кадило. На самом деле это большой медный поднос, выполненный в форме кадильницы. С силой раскачивая сей странный гибрид, груженный бокалами с соком, пивом, вином, холодным чаем, к нашему столику подбегает поповский сын, паренеклет пятнадцати. Он подбегает с нарочитой невозмутимостью, но, видя

наши лица, милостиво дает нам разглядеть «кадильницу». Затем, насладившись эффектом, отрок резко отступает на шаг, выбрасывает выпрямленную руку вверх — и пару раз ловко, как в цирке, прокручивает кадильницу в воздухе, прямо перед нашими лицами. Бокалы стоят как влитые. Ни единая капля не пролита. Мы ахаем.

— Ох, а где же мой крест? — суетливо спохватывается папа Пападополу, когда попенки принимается расставлять перед нами питье. — Совсем забыл я свой крест... — С этими словами, немного приплясывая, он выуживает откуда-то из глубин своего подрясника массивный серебряный крест и, преувеличенно громко сопя, начинает протирать его подолом.

Ряса у него, кстати сказать, вся заляпана пятнами пищевого происхождения — кашей, что ли, жирными соусами... Это особенно хорошо видно на солнце.

Сначала мы не знаем, можно ли нам смеяться. Но поп, наконец навесив крест на багровую шею и преувеличенным жестом смахнув пот со лба, дает нам знак. Словно подсказывая непонятливым, он громко, очень громко хихикает. Мы, послушно, хихикаем тоже. К стыду своему, я чувствую, что мне хотелось бы сфотографироваться с таким попом. Но я пытаюсь избавиться от этих скабрёзно-туристических интенций. Никто из нас не решает его о чем-то спросить. А он, по-прежнему чернея на фоне синевы, начинает сам: «Папа Пападополу родом отсюда, из этой самой деревни... В молодости, правда, он жил в Калифорнии... Да... Работал парикмахером... Имел деньги, американское гражданство...»

Это, видимо, следующий эстрадно-ресторанный номер: мы еще не успели переварить попа-кабатчика, а нам уже — будьте любезны! — предлагают попа-цирюльника. Эффект усиливается от странного повествования о себе в третьем лице.

«А потом папе Пападополу захотелось на родину... Он вернулся... Подучился немного... да... Рукоположили... Один сын папы Пападополу — тоже священник, дочь — замужем за хорошим человеком, есть внуки, а младший — вы его видели — пусть решает, как хочет...»

Данная часть его одинокого скетча невыразительна, как монотонные жития вагонных попрошаек — погорельцев, жертв ураганов, наводнений, всех стихий сразу.

«А это разрешается — не выдерживаю я, — священнослужителю — держать ресторан?»

Джордж слегка толкает меня в бок. Наши спутники замирают...

«Господь наш Всемогущий, Вездесущий и Милосердный... — вагонной скороговорочкой продолжает папа Пападополу. — Господь наш Всемогущий, Вездесущий и Милосердный мелкие делишки разрешает, а большие нет, — он подкатывает глаза и, слегка подпрыгнув, словно вздрогивает в воздухе ножками. — Да... мелкие делишки Господь разрешает, а большие нет... — он быстро-быстро шлепает себя по рукам: — Нельзя, папа Пападополу, нельзя... так тебе! ай-ай-ай! так, так, так, так тебе!..»

Жан-Пьер, Шарлотта, Клаус, Нарцисса — прилежно сокращают мышцы, ответственные за смеховоспроизведение.

«А кроме того, — продолжает поп, — Господь наш Вседобрый любит, когда папа Пападополу очищает себя духовно... да... изнутри... А папа Пападополу очищает себя изнутри иногда и спиртным...»

Ха-ха-ха-ха-ха (сигнал попа к смеху клиентов).

Ха-ха-ха-ха-ха (смех клиентов).

«Когда держишь ресторан, это получается более-менее регулярно...»

Жанр варьете предполагает смену номеров. Не успеваем мы ахнуть, как перед нами на столике уже высится гора фотоальбомов. Поп с комичной многозначительностью раздает их нам, словно псалтыри. На миг возникает мысль: возможно,

его клиенты ловят экста-кайф на пении псалмов: этакое клерикальное караоке... Поп раздает нам альбомы, затем заговорщически подмигивает и просит открыть. Мы послушно открываем.

И видим попа в окружении пестрых, самых что ни на есть разномастных групп. Но это не прихожане. То есть это, конечно, паства, но та, коя жаждет пищи именно гастрономической — богатой витаминами, протеинами и микроэлементами. Пищи, полноценной по содержанию и экзотической (национальной) по форме.

Фотографии мало отличимы друг от друга. Женщины. Мужчины. Мужчины и женщины. Мужчины, женщины, подростки. Женщины и дети. И везде, в центре, скрестив внизу свои длани, словно плутовато прикрывая ими нечто, что прожигает меж ног его рясу, — чернеет папа Пападополу.

Сфотографированные красуются на фоне тех придорожных мальв, что щедро пестреют напротив забегаловки. Это единственная точка съемки: видимо, цветы были посажены именно с этой целью. «Вот американцы, мои бывшие земляки, да... филиппинцы... вот австралийская группа... вот финны... много пьют... новозеландцы... корейцы... собаку для них изжарил, да... а это — датчане...» — комментирует поп. «Когда отобедаете, можете сфотографироваться на добрую память с папой Пападополу!» — ернически подпрыгивая, он удаляется за едой.

Теперь, быстро вскинув фотоаппарат, я целиком ему в спину. Мне хочется сфотографировать именно его спину, потому что у этого человека она, в отличие от лица, кривляется меньше. В миг, когда эта удаляющаяся спина наконец попадает в фокус, я отчетливо вижу в кадре деталь, которая цепляла мой глаз на протяжении всего визита, но я никак не могла сосредоточиться, чтобы понять, что же это такое. Теперь, глядя сквозь объектив, я наконец ясно определяю природу детали.

Это вывеска.

Она словно окончательно устанавливает род данного публичного заведения. Понятно, что вывеска эта «шутейная». И все же. На ней крупными буквами выведено: COFFEESHOP.

Привет мне из моего либерального Королевства!

«Остается папе Пападополу повесить в придачу красный фонарь», — смеется Джордж, заметив направление моего взгляда. «Если где-нибудь уже не повесил!..» — подхватывают хором оптимистичные Клаус и Жан-Пьер.

Мы — сперва оживленно, а через минуту уже вяло — листаем альбомы. Жужжат мухи. Они мучают псов (у мух — свои рестораны): бездомные псы, как никто, располагают завидным разнообразием в своем меню ран и болячек.

На фотографиях папу Пападополу разглядывать проще. Если он и продолжает паясничать даже во время съемки, то все же конечная обездвиженность гримас, обеспеченная фотокамерой, освобождает наблюдателя от изнуряющей необходимости следовать за всеми его ужимками и кривляньями. А кроме того — наблюдатель изучает объект в одностороннем порядке, это главное.

«Нет, этот попик прямо из «Декамерона» взят — один к одному!..» — тихо роняет Шарлотта. «Тот, что загонял дьявола в ад?» — уточняет Нарцисса, и мы громко хохочем. Все на свете можно забыть, только не эту новеллу. Ад — это, конечно, горячее лоно молодой пейзажки, свежей и простодушной, как репка, ну а дьявол, — совсем не конфессиональный причиндал распаленного священнослужителя...

На фотографиях, как и в жизни, у папы Пападополу багровое лицо — закономерная комбинация полнокровия, широкого спектра возлияний и крепкого круглогодичного загара. Нос у него и вовсе баклажанный — словно взятый напрокат из антирелигиозных агиток Демьяна Бедного.

Но все это не столь важно. У папы Пападополу страшные глазки. Они очень умные, как у клоуна. Циничные, пронзительные, притворно-уничужительные и,

на дне своем, расчетливо-хладнокровные. Идут эпидемии, войны, тают айсберги, портится климат, мелькают дураки-короли, президенты, министры, меняются дурацкие их законы, сама Земля, того и гляди, соскочит с орбиты — а ему надо жить и работать, жить и работать. И он это делает. Он будет это делать любой ценой.

Затем мы, без особого аппетита, съедаем свой обед — на протяжении которого папа Пападополу, по-прежнему именуя себя в третьем лице, без отдыха прилипает рядом. Остальная компания, кроме нас с Джорджем, в местах включения «баночного смеха», реагирует соответственно.

После обеда, перед тем как финально сфотографироваться с нами на фоне туристических мальв, папа Пападополу (спросив нас, из каких мы стран, и оставшись довольным «делающим ему честь» разнообразием) приносит, на десерт, еще одну порцию альбомов. В них — кислотными красками сияют фотографии со свадьбы его дочери, коя вышла за «хорошего человека».

Первые фотографии сделаны в церкви: молодых венчает папа Пападополу. Подъез длань для крестного знамения, папа смотрит на брачующуюся так, словно она — главное из его фирменных блюд: Дочь «Папа Пападополу». Следующие снимки демонстрируют монструозное по размаху свадебное пиршество. А затем — словно нас все дальше затягивают в страшный лабиринт — следует, разумеется, опочивальня молодых. На наш взгляд, это уже a little bit too much, и мы просим закончить. Но папа Пападополу настаивает. И мы видим молодых — к счастью, еще не разоблачивших свои тела от церемониальных одежд. Тела полулежат на ложе брачных наслаждений размером в добрый картофельный огород. («Эта кровать стоила папе Пападополу хороших денег».)

Снимок сделан варварски. Это типичная в своей невозмутимости любительщина: на первом плане — устрашающе преувеличенные чресла новобрачной четы — и лишь где-то вдали, на фоне чужедальных, как райские облака, кружевных подушек («Тоже подарок от папы Пападополу...»), видны два маленьких, по-южному резких лица. У новоиспеченной супруги эта резкость еще немилосердно усилена какой-то жирной косметикой — тоже, наверное, папин подарок. Хотя физиономия новобрачной и уменьшена неуклюжей съемкой, она — на всю катушку — излучает тупое, довольно жесткое самодовольство самки, которая смогла удачно заарканить дурака-самца — и намертво приладить его к нуждам быта. («Золотую цепочку жениху тоже купил папа Пападополу...»)

Мы сидим с Джорджем в машине. Все уже разъехались, а мы, отдалившись от деревни километра на три, встали на обочине. К счастью, уже начинает тянуть прохладой. Бриз, дергая за незримые нити, берется привычно двигать карикатурно тощие, гротескно удлиненные тени: вступает в свои права сумеречный театр марионеток.

Я, как всегда, молчу.

Но Джордж уже научился различать интонации моего молчания. «Только тебя одну всякая ерунда уязвляет! — слышу я его запальчивый голос. — Только тебя! Посмотри — никого этот дурацкий попяра нимало не задел, никого! Все кайфовали, пили, смеялись, а ты... а тебя... почему только тебя...»

«Тебя тоже», — мысленно отзываюсь я.

Но он и сам все знает. Он потому и заводится, что чувствует так же, но хочет, чтобы именно я его разубедила.

А я молчу.

«Это потому, что ты ничего не любишь... — горестно шепчет Джордж. — Ничего и никого ты не любишь...» «Неправда, — говорю я. — Ты сам знаешь, что это не так». «А что, например, ты любишь?! — вскидывается он. — Ну что?!» «А вот мы перево-

дили на прошлой неделе, — говорю я, — помнишь?.. Прочешь?» «Давай!..» — без всякого перехода соглашается Джордж. Плюнув на дискуссию, он, как всегда, обнаруживает свою непоколебимую готовность к блаженству. И я читаю:

Люблю я волн игру, когда мистраль,
чуть вздыбив, как шелка их расстиляет,
и в море паруса, что метят точкой даль
и тихо за морем навеки исчезают,

и листья желтые, взметенные с земли,
цыган, что бедные шатры поспешно разбирают —
и трогаются в путь. Люблю, когда вдали
безмолвный дым над рощей воскурят...

И дым восходит вверх, над кронами маслин,
и, тьмой вверху объят, беспрекословно тает,
но, ровно иль дрожа, — как я — всегда один,
идет, идет в ночи — и новый день светает.¹²

«Нет, ты и это не любишь... — печально констатирует Джордж. Он произносит это в мой затылок, потому что я, с самого начала разговора, неотрывно смотрю в противоположную сторону. — Ты любишь только звуки... колебания воздуха...» «Колебания воздуха...» — машинально отзываюсь я. «Да что ты там такое увидела?! — наконец взрывается он. — Куда ты все время смотришь?!»

Что мне сказать? Я не знаю. На расстоянии метров десяти, в канаве, мучая мой глаз, сереет что-то, чему я не могу дать определения. Может быть, это разложившийся и высохший труп бездомной собаки. А может, просто клочок пыльной, вполне здоровой, безымянной для меня травы.

Андрей Столяров

Ищу Афродиту Н.

рассказ

Да, кстати, говорит Бумбер. Есть тут одно дело, чуть не забыл... Он уходит в другую комнату, где в проеме дверей видны углы выставленных чемоданов, и секунд через пять возвращается, держа в руках пакет из коричневой дешевой бумаги, в какие на почте упаковывают бандероли. Такое вот дело. Калерия просила тебе передать...

В пакете — пачка стихов, подслеповато отпечатанных на машинке, и две фотографии — вертикальная и горизонтальная. На первой — девушка в блузке и клетчатой юбке курит у подворотни, оббитой за прошествовавшие десятилетия до кирпичей. Сверху видна табличка — «Улица Достоевского». На второй — та же девушка, причем в том же костюме, сидит на диване, чуть подавшись вперед, обе руки — на спинке, как будто устремилась к невидимому фотографу. Ты вроде бы ее знал? Вроде бы нет, отвечаю я. Бумбер называет имя — Оля Савицкая. Нет, говорю я, не знаю никакой Оли Савицкой. Стихи писала. Вы, вроде бы, ходили с ней в один семинар... Ах, да, после паузы говорю я. Но это же когда было. Наверное, лет тридцать прошло. Ну, не знаю, недовольно говорит Бумбер. Калерия меня попросила, я передаю. И что с ней? С Калерией? Нет, с этой... Олей Савицкой. Ой, ради бога, непонятная какая-то история, отвечает Бумбер. Исчезла куда-то, ушла, кажется, не вернулась. Честное слово, ничего больше не знаю. Передаточная инстанция. Ну, Калерия вспомнила, что вы были знакомы...

Бумберу сейчас не до этого. Бумбер уезжает работать в Штаты на целых два года. У него через четыре часа самолет. Он уже слегка пьян: крупные капли пота выступили на висках. К нему лучше не приставать. Он поворачивается в сторону кухни и изо всех сил, будто на улице, кричит: Лора!.. Появляется Лора в обнимку с какими-то рулонами ватмана. Брось это барахло, зови всех, надо на посошок... Четвертый уже посошок, говорит Лора. Бумбер машет рукой. Ладно, пиить меня будешь в Сан-Монико, штат Невада. Тогда хоть пополам можешь, хоть по кусочкам... Он как-то судорожно вздыхает. Обнимает — меня, Бориса, Ленку со смеш-

Об авторе | Андрей Столяров — петербургский прозаик. Автор 11 книг: «Изгнание беса» (1989), «Малый апокриф» (1992), «Монахи под луной» (1993), «Детский мир» (1996), «Боги осенью» (1999), «Наступает мезозой» (2000), «Некто Бонапарт» (2002), «Ворон» (2003), «Жаворонок» (2004) и других. Лауреат нескольких литературных премий. Начинал как фантаст, сейчас проявляет интерес к жанру магического реализма.

«По-моему, рассказы не пишутся, а возникают, — предупреждает настоящую публикацию автор. — Роман можно придумать: взять идею, построить на ее основе сюжет, загрузить его более-менее интересной фактурой. Что-нибудь да получится. А рассказ придумать нельзя. Он либо есть, либо его нет».

ными косичками, втиснувшуюся между нами. Лицо у него мягкое и растерянное. Глаза в синеватых белках выворочены, как у лошади. Ему не хватает воздуха... Ребята... Ребята... Что нам теперь делать?..

* * *

Дома я рассматриваю содержимое пакета более тщательно. На фотографиях Оля старше, чем я ее помню, лет, вероятно, на десять—пятнадцать. На улице я бы ее, наверное, не узнал. У нее безмятежное, я бы даже сказал, уверенное, без тревог и сомнений лицо; лицо женщины, осознавшей свою роль, место в жизни, предназначение. Может быть, она даже счастлива в этот момент. Не знаю, трудно судить, но кажется почему-то, что в этот момент она — счастлива. Грива волос, спадающая на плечи, распахнутые глаза, губы, будто ожидающие поцелуев. Поверх блузки — ниточка цветных камешков или ракушек. Оказывается, она была просто красавицей, эта Оля Савицкая. Впрочем, у женщин случаются иногда такие мгновения, когда они изумительно хорошеют. Как будто вспыхивает легкий огонь внутри; жар его, его отблески чувствуются даже при мимолетном взгляде. Меня только удивляет, что на уличной фотографии Оля курит. Разве она курила? Я этого совершенно не помню. Впрочем, я оттуда вообще мало что помню. Это же конец семидесятых годов, еще брежневская эпоха, как сейчас принято говорить, «период застоя». Медленное, будто в сиропе, течение времени: ни событий, ни изменений, вязкость, которую ничем невозможно разметить; в философии это называется «дурной бесконечностью»; один день прилипает к другому, смещается, неотличим от третьего. Ужасная духота, которая, впрочем, тогда воспринималась вполне естественно. Я только что закончил университет и после паники, что возьмут в армию, устроился на первую в своей жизни исследовательскую работу. Что-то такое с переносом кальция через мембраны клеток. Сейчас подумать — просто бред сивой кобылы. Зачем это тогда было нужно? Ведь — юношеские мечтания, что в жизни следует совершить нечто великое. И вдруг — перенос кальция через мембраны. Сомнения, разумеется, приступы тупого отчаяния: что если избран неверный путь? Вообще — не хватает чего-то, чего-то существенного недостает. Это теперь понятно, что не хватало воздуха. Петербургская пыль, скользящие над асфальтом хлопья тополиного пуха. Как дальше жить, что делать?..

И вот, действительно, — семинар при Доме культуры, если не ошибаюсь, Кировского завода. Тогдашняя мода: при каждом солидном промышленном предприятии — свой поэтический семинар. Занесло какими-то ветрами, приятель, имени, конечно, не удержалось. Да и зашел всего два-три раза, больше почему-то не получилось. Не столько стихи, которых я отродясь не писал, сколько неслыханная возможность поговорить на разные темы. Где еще можно поговорить на разные темы? А после второго, кажется, заседания, естественно — вечеринка у одного из участников. Это уже как закон той эпохи: если собираются по какому-то поводу пять-шесть человек, то заканчивается гулянием чуть ли не до утра. Как только тогда хватало сил? Ведь просыпался потом, шел на работу, и — ничего... Вроде бы, кабинет, стиснутый книжными переплетами, дешевый портвейн, присутствие чего-то такого закусочного... О закуске тогда, впрочем, не беспокоились... Пятна лиц, теснота, возбужденный гомон, надежды... Девушка в ярком спортивном костюме, что в те времена было редкостью... Ни единого слова — как зяблик, пристроилась на гладком поручне кресла... Неожиданно опускает стакан и, точно в трансе, ведет перед собой указательным пальцем... «Тот год! Как часто у окна / Нашептывал мне, старый: «Выкинься». / А этот, новый, все прогнал / Рождественскою сказкой Диккенса. / Его зарей, его рукой, / Ленивым веяньем волос его / Почерпнут за окном покой / У крыш, у птиц, как у философов»... Здорово, надо сказать, читала.

Голос такой — с хрипотцой, низкий, трогает. Но, между прочим, это еще не Оля Савицкая. Олю я, кстати, на вечеринке совершенно не помню. А вот почему потом пошел ее провожать? Почему, почему? Может быть, просто было тогда в одну сторону? Такие мелкие сцепки, которые, тем не менее, определяют иногда всю жизнь. Не определило, однако, но все равно — парк какой-то, сырость черных стволов, дальний пруд, мерцающие сквозь траву узкие трамвайные рельсы. По-моему, это — поздний вечер. Оля тянется к нависающей над нашими головами ветке и срывает с нее желтый кленовый лист. Я подхватываю ее, когда она опускается, и целую... Ничего... Потом — еще две или три ничем не примечательные встречи. Наверное, гуляли по улицам, наверное, опять целовались. Или это уже не с ней? Да нет, вроде бы, с ней... Семинар вскоре распался: кажется, руководитель у них уехал... Осень, дожди... Так, в общем, ничего из этого и не получилось... И еще одно смутное воспоминание, что года где-то через четыре Оля неожиданно позвонила, как только меня нашла, я к тому времени уже дважды сменил место жительства; годовщина была, что ли, какая-то, ты ведь, помнится, в этом тоже слегка участвовал? В голосе — ни намека на прошлое. Один старый приятель звонит другому. На встречу я, разумеется, не пошел; определился уже — по десять, по двенадцать часов просиживал в лаборатории. «Структурные отношения некоторых энзимов в мейотическом цикле». Другой мир, другая вселенная. Вот, пожалуй, и все.

* * *

Затем я читаю ее стихи. Они действительно отпечатаны не на принтере, как сейчас принято, а на пишущей машинке, к тому же еще — до предела изношенной. Одни буквы поэтому несколько выше строки, точно выпрыгивают из нее, другие, напротив, ниже, как будто им недостает усилий держаться, третьи — вовсе заваливаются, словно, опьянев, пытаются прислониться к соседним, а буква «е», кстати, в русском алфавите наиболее часто употребляемая, вообще застрекает, видимо, цепляясь за ближайšie клавиши; там, где автор не пробивает ее повторно, остается лишь тень, о значении которой догадываешься по смыслу. Из-за этого текст выглядит рябоватым, читать тяжело. А ко всему, это еще и сделано под копирку; второй экземпляр, может быть, даже третий, судя по водянистым размывам. Кое-где видны на полях пропечатавшиеся морщинки, а на паре страниц они образуют целые ветви, дотягивающиеся до текста. В общем, давно я не сталкивался с такой техникой исполнения. Так буквально и видишь согбенного, уставшего до изнеможения человека, который лишь после полуночи, когда только и появляется свободное время, чертыхаясь и отчаянно проклиная себя, выстукивает двумя пальцами по клавиатуре. Горит чуть приглушенная колпаком настольная лампа, бьются в дреме окна вспархивающие из мрака ладони, тупой стук клавиш отдается в висках. И все это — ради призрачного безумия быть кем-то прочтенным. Никогда этого не понимал...

Что же касается самих стихов, то мне они, в общем, нравятся. Нельзя, конечно, сказать, что меня так уж прошибло внезапным поэтическим откровением, что пронзило насквозь, обожгло, заставило по-новому ощутить окружающее. Такого, разумеется, не было. Да я этого и не ждал. И все же несколько стихотворений произвели на меня впечатление. Несколько стихотворений, несколько четверостиший, несколько строчек, запомнившихся как бы сами собой. Мне даже странно, что их написала девушка, которую я когда-то поцеловал. Что-то меня в них затронуло. Искренность какая-то торопливая, какая-то лихорадочная взволнованность, какое-то чувство, которое не умирает, даже если переносится на бумагу. Я, наверное, час или два не могу потом успокоиться. Мне вдруг начинает казаться, что в мире есть вещи более важные, чем «структурные отношения некоторых энзимов». Чего-то я раньше не понимал. Или, быть может, стихи так и должны действовать на челове-

ка? Или я просто уже давно не читал стихов? Когда мне читать: не успеваешь просматривать даже обязательную научную литературу. Вон у меня на полке под телевизором целая стопка книг, которые необходимо освоить в ближайший месяц. А для этого еще требуется найти время. В общем, есть, есть что-то в Оле Савицкой.

Мне только не слишком понятно, при чем здесь я? Если дело заключается в том, чтобы каким-то образом продвинуть эти стихи в печать, то данное обращение, честно говоря, не по адресу. Никаких связей в литературном мире я не имею, меня там не знают и к моему мнению вряд ли прислушаются. Я даже не представляю, какая сейчас процедура принятия рукописей. Наверное, ведь существует какая-то процедура? Слишком уж все поменялось за последние несколько лет. Я просто не в состоянии ничем ей помочь. И потом опять-таки — почему именно я? Неужели имеет значение тот давний юношеский поцелуй в мокром осеннем парке? Пара встреч, которые ничем не закончились? Девичья влюбленность, испаряющаяся обычно через несколько месяцев? Ведь у нее затем была еще — целая жизнь. Ведь не хранила же она память об этом крохотном эпизоде почти тридцать лет?

Ничего не проясняет и мой разговор с Калерией. Бумбер, к счастью, записал ее телефон на оборотной стороне конверта. На самом деле она не Калерия, а Калерия Галактионовна — не знаю уж, как ей удалось делить с таким именем-отчеством до девяноста трех лет. Или как раз имя с отчеством помогло? Привило ту стойкость, без коей в нашей стране просто не выжить? Во всяком случае, Калерия глуховата, о чем Бумбер меня тогда же предупредил, аппарат у нее тоже — старый, не менявшийся, наверное, пару десятилетий, из трубки то и дело доносится оглушительный треск, и потому общение превращается в муку, требующую совершенно нечеловеческого терпения. Все-таки кое-что мне выяснить удастся. Оказывается, последние десять—пятнадцать лет Оля проживала как раз в квартире Калерии, была замужем за каким-то ее внучатым племянником, потом развелись: что, как? теперь, разумеется, не установить; племянник переехал в Москву и растворился в коммерческой деятельности — видимо, насовсем, даже самой Калерии ни разу не позвонил. Еще в детства был с какими-то тараканами в голове. Ну а что до меня, тут совсем просто. Оля, оказывается, как-то роясь в газетах, наткнулась на мой портрет (лет пять назад действительно было напечатано некое интервью), и вдруг выяснилось, что Бумбер, который, кстати, Калерии тоже родственник, не только родственник, но еще и мой старый приятель. Все-таки Петербург — город маленький. Где-то через неделю то ли в шутку, то ли всерьез, кто его знает, сказала: Смотрите, Калерия Галактионовна, вот конверт. Если что — передадите этому человеку. Значит, помнила все же, что мы когда-то поцеловались? А в милицию по поводу исчезновения вы, Калерия Галактионовна, заявляли? Заявляла, заявляла я в вашу милицию. Четыре заявления написала... И что?.. Отвечают, что — ищут...

Вот так мы с Калерией поговорили. И, честное слово, когда я положил трубку, которая, по-моему, даже раскалилась от нервических интонаций, когда отдышался немного и вернулся в свое обычное состояние, то у меня возникла вполне здравая мысль, что лучше бы все это дело оставить. Ничего не предпринимать. Сделать вид, что ко мне это отношения не имеет. В конце концов, хватает своих забот. Никому я здесь ничего не должен. Пусть идет как идет. Все равно ничего хорошего из этого не получится.

* * *

Тем не менее, некоторые шаги я предпринимаю. В этом сказывается та проклятая добросовестность, которую я специально в себе воспитывал, занимаясь наукой. Каждое дело должно быть доведено до конца. Каждая версия — отработана и оценена в координатах общего направления. Иначе не только рискуешь прохло-

пать нечто действительно перспективное (явление «сверхтекучести» гелия, например, именно так и было в свое время пропущено), но и не сможешь в дальнейшем усилить главный сюжет периферийными данными. Работа окажется чересчур изолированной от других. Потеряны будут смысловые аналоги, потеряны сшивки со смежными областями, которые, кстати, дают наибольшее количество откликов.

В общем, я раскапываю старые свои записные книжки, коих у меня великое множество, выписываю из них фамилии, адреса, телефоны, в подавляющем большинстве, разумеется, ничему уже не соответствующие, методично опрашиваю знакомых (метод, по мнению социологов, вообще наиболее эффективный), и в результате всех этих усилий, в действительности занимающих не так уж много времени, как может показаться на первый взгляд, я через две недели оказываюсь перед громадным многоквартирным домом на набережной Фонтанки, протянувшимся несколькими сквозными дворами до параллельной улицы. Некие предчувствия охватывают меня, еще когда я поднимаюсь по темноватой лестнице. Окна здесь в витражах, света внутрь проникает не слишком много. Электричество же по случаю дневного времени отключено, и потому номера квартир, давно, кстати, не протиравшиеся, разобрать очень трудно. Предчувствия же мои еще больше усиливаются, когда на звонок, как-то глухо, очень не по-современномубрякнувший в коридорных глубинах, дверь открывает невысокая женщина в спортивном костюме, по-птичь склоняет голову и рассматривает меня, как будто вообще первый раз в жизни видит постороннего человека.

Меня она, конечно, не помнит. Я ведь был у нее всего один раз, бог знает когда. Сколько лет, сколько событий прошло с того времени. Сколько людей возникло, сгинуло, преобразилось до неузнаваемости. А вот она, на мой взгляд, изменилась не слишком сильно: подсохла, конечно, черты лица, как деревянные, заострились, усилив рельеф, искусственная седина волос, вероятно, призвана скрыть седину настоящую. И все-таки это именно та девушка, из далекого прошлого — с замедленными движениями, с отстраненным, как будто из другого измерения, взглядом. Так и кажется, что она сейчас опять начнет читать Пастернака. И кабинет, где мы когда-то сидели, тоже абсолютно не изменился: те же сумерки от громадных тяжелых штор на окнах, те же корешки старых книг, золотящиеся в недрах шкафов, тот же столик с гнутыми ножками, правда, выглядящий теперь уже совсем антикварным. И единственной данью времени, показывающей, что оно все же идет, предстает компьютер, задвинутый в дальнюю нишу: по экрану его неторопливо плавают взад-вперед полосатые рыбки.

Женщину зовут Ираида. Тему нашего разговора, как это принято, я обозначил, когда договаривался о встрече, и потому она не тратит времени на необязательные вступления, а, предложив мне кофе и закулив, тут же переходит к сути вопроса.

Прежде всего Ираида уведомляет меня, что ничего нового она, сожалению, рассказать не может. Все-таки со времени исчезновения прошло уже, боже мой, четыре года. Были заявления, разумеется, был объявлен, как полагается, розыск, никаких результатов. Думаю, что мы об этом уже ничего не узнаем.

Она гасит сигарету на половине и тут же закуливает другую.

Я удивлен.

— Как четыре?.. Калерия мне говорила — вроде совсем недавно...

Ираида с досадой морщится:

— Ну, Калерия... У нее со временем, знаете... В общем, четыре года прошло. Вряд ли теперь можно что-нибудь предпринять.

Чувствуется, что данная тема ей неприятна. Она глубоко и сильно затягивается, так что обостряется кончик носа, отпивает пару глоточков кофе, который, надо признать, очень хорош, и порывистым жестом стряхивает пепел прямо на столик.

— У нее ведь были очень приличные данные, — говорит Ираида. — Это я вам — вполне объективно, тогда, конечно, жутко завидовала. А чего завидовать? Нечему тут завидовать... Но... Не знаю, поймете вы меня или нет... в литературе помимо данных требуется еще и особого рода везение. Нужно, чтобы по крайней мере один раз «щелкнуло». Раздается такой тихий «щелк» — и все вдруг начинают осознавать, что ты существуешь. Это еще не слава, слава — другое. Просто «щелк», после которого тебя воспринимают совсем иначе... Кстати, в дальнейшем из этого «щелка» может ничего и не последовать, но уж если он не раздастся, будьте уверены — точно ничего не последует. Вот у Оли такого «щелка» почему-то не получилось. Напечатала подборку стихов в одном приличном журнале, а «щелка» не слышно. Напечатала через год подборку в другом журнале — снова «не щелкнуло». Так — раз пять или шесть, точно уже не помню. Что-то у нее с этим никак не связывалось. Даже ни одной книги за десять лет выпустить не удалось. Такие, знаете, чучундры печатались... А у нее одно издательство, вроде, взяло — тут же развалилось на части, другое попробовало — что-то у них там случилось с директором, третье клялось-клялось, два года тянуло, довело до макета — так и осталось. Автор без книг — это что-то невыносимое.

Ираида поднимает ладони, как будто отвечает на не заданный мной вопрос.

— Да, конечно, этот «щелк» можно организовать. Надо по тусовкам крутиться, непрерывно ездить в Москву: там возможностей для поэта намного больше, обхаживать критиков, нужных людей, вечера творческие устраивать, «быть на виду». То же шоу, что на эстраде, но обязательно делать вид, что ничего такого не делаешь. Правила хорошего тона. А у Ольги, к счастью или к несчастью, подобной склонности не было. Просто физически не могла подойти к «нужному человеку». И потом, вы знаете, ведь у автора, если он, конечно, в самом деле поэт, появляется со временем такая особая гордость: не хотите — не надо, ничего делать не буду, пальцем не пошевелю, пусть оно как-нибудь — само собой. Глупо, наверное, но вот странно — без этого уже невозможно писать... А затем вообще перестала что-либо куда-либо предлагать... Был такой человек, по-моему, он и сейчас процветает. — Ираида называет фамилию, которая мне в упор не знакома. Вдруг поднимает указательный палец, как в прежние времена, чуть прищуривается и, будто в трансе, с расстановкой цитирует: «Топорный критик с космами патлатыми, / Сосущий кровь поэзии упырь, / С безумными, как у гиены, взглядами / Сует под нос свой желтый нашатырь»... В общем, поганая, мерзкая была статья. Впрочем, не только о ней, он и про других писал то же самое. Есть такая порода критиков — специализируются на помоях. Обольешь дерьмом — по крайней мере заметят. Тоже — способ литературной карьеры...

— А как же друзья? — интересуюсь я.

Ираида смотрит на меня как на идиота.

— Какие в литературе друзья? В литературе друзей нет. В литературе — тусовка, боевые соратники, «ближний круг». Строятся клином, и — на штурм, на приступ, вперед, «новые поэтические голоса». Тут главное, чтобы в спину не выстрелили...

Она на несколько секунд умолкает, снова нехорошо прищуривается, вспоминая, вероятно, о чем-то своем, а потом машет рукой и берет еще одну сигарету.

Далее следует рассказ о неудачном замужестве. Через два года они развелись; не понимаю, зачем она вообще за него вышла... Сын вырос, поступил в институт, на третьем курсе уехал по обмену в Америку... Главное — какой-то тупик; почему-то никак не могла никуда приткнуться. На поэзию, конечно, не проживешь, надо где-то работать. И вот — редактором, править чужие рукописи, труд, надо сказать, сумасшедший, потом — опять редактором, потом — в каком-то эфемерном журнале. Одно время компоновала детские книжечки для познавательной серии; зна-

ете — «мыть руки перед едой», одно время писала очерки по российской истории... И все равно — копейки, копейки... Прибежала как-то вся запыхавшаяся — дай в долг пятьдесят рублей. Что такое по нынешним временам пятьдесят рублей? Четыре буханки хлеба, семь раз проехать в метро. Плащ носила один и тот же — зимой, весной, осенью. Подкладку только пристегивала. Хорошо еще зимы были последние годы теплые. Нигде не могла устроиться по-настоящему. Это понятно: чтобы устроиться, чтобы враси, надо быть такой же, как все. А чтобы писать, если уж хочешь писать, надо, напротив, ото всех отличаться. Без этого ни стихов, ни прозы не будет.

Я пользуюсь паузой и предлагаю Ираиде посмотреть рукопись. Ираида несколько мгновений колеблется, а затем говорит, что лучше не надо.

— Вдруг стихи и в самом деле хорошие? Вдруг — гений? Будет потом мучить совесть, что ничего для нее не сделала.

Она провожает меня до выхода. Заходить больше не приглашает, вообще — держится отчужденно. И только взявшись уже за ручку двери, неожиданно говорит:

— Главное в литературе — вовремя оттуда уйти. Вовремя понять, что тебе, к сожалению, не дано. Не мучиться дальше, не выжимать из себя одну тощую книжечку за другой.

— А чем вы сейчас занимаетесь?

— Переводами, — говорит Ираида.

— Ну и как?

— Тоже — хорошего мало...

* * *

Еще через пару недель я собираюсь к Калерии. Разговор-разговором, а все-таки, как мне кажется, следует встретиться лично. По телефону из человека много не выжмешь. Мне хотелось бы выяснить — вдруг сохранились еще какие-нибудь Олины рукописи, может быть, дневники, указания, что с этим делать. В пакете, который мне передал Бумбер, никакой сопроводительной записки не было.

Конечно, я пытаюсь с ней предварительно созвониться. Я же не из милиции, чтобы свалиться человеку как снег на голову. Вдруг она меня просто не пустит? Но на долгие, по двадцать—тридцать гудков, телефонные дребезжания никто не подходит. Это, впрочем, меня не сильно тревожит. Бумбер предупреждал, что Калерия иногда целыми днями не берет трубку. Сядет, например, к радио, включит телевизор — и готово, можно выломать дверь в квартиру, даже не повернет головы.

Все, однако, оказывается немного не так. Когда я подхожу к переулку, тянущемуся от Загородного проспекта к набережной Фонтанки (кстати, Ираида живет отсюда в пяти минутах ходьбы), то уже издалека вижу, что он перегороден строительным дощатым забором, ворота, правда, открыты, через них со звериным рыком выезжают грузовики, но внутрь пройти невозможно — грунт настолько разбит, что образовалась устрашающая грязевая лужа. Да, собственно, и незачем проходить. Мне и отсюда видно, что все три дома, дальний из которых — Калерии, поставлены на ремонт. Они уже, вероятно, полностью освобождены от жильцов, многие окна выбиты, зияют теневыми провалами, верхние этажи обвалены, точно землетрясением, и между страшноватых кирпичных ребер топорщатся остатки брошенной мебели. Квартиры Калерии, правда, это еще не коснулось, но ясно, что через день-другой дойдет очередь и до нее.

Вот чем, оказывается, это закончилось. Даже дом, где Оля жила последние десять—пятнадцать лет, более не существует. Не существует места, где она радовалась, писала стихи, мучилась, влюблялась, разводилась, воспитывала ребенка, где она была, вероятно, счастлива и где была, уж точно, несчастна и откуда однажды

выскочила ненадолго, чтобы никогда не вернуться. И если потом, спустя тусклые десятилетия, спустя очередные реформы, очередные пертурбации жизни, как-нибудь неожиданно выяснится, что Ольга Савицкая была выдающимся современным поэтом (честно говоря, я в это все же не верю), то даже мемориальную доску прикрепить будет некуда. Да и зачем ей доска? Зачем знаки внимания человеку, которого уже нет?

Некоторое время я меланхолично брожу по окрестным улицам, сижу в каком-то кафе, выпиваю две чашки довольно неприятного кофе. Мне хочется почувствовать здешнюю атмосферу: вот по этому переулку она каждый день ходила, вон в тот садик, который, правда, откуда не виден, водила гулять ребенка, бегала, наверное, вон в ту булочную, вон в тот магазин — таким же весенним днем, с сумкой, радостная, полная жизни, еще не знала, что впереди у нее — гнетущая пустота.

Что она делала во времена перестройки? Торчала, наверное, вместе со всеми на митингах, спорила, отчаивалась, надеялась, кричала до хрипоты, требовала того, чего, разумеется, быть никогда не может; во дни путча, скорее всего, стояла на Исаакиевской площади, может быть, даже входила в какую-нибудь самодельную «группу защиты». Потом оглянулась через несколько месяцев — другая эпоха, другие люди, непонятно, как с ними существовать... И дальше — дефолт, мгновенная нищета, денег (представить сейчас невозможно) не хватает даже на транспорт, приходится выбирать между обедом и ужином, вечная боль в затылке от того, что не на что жить...

Я меланхолично думаю обо всем этом, и чем больше я думаю, тем меньше оно совмещается с памятью о той давней девочке, которая приподнялась когда-то на цыпочки, чтобы сорвать огненный кленовый лист. Разве предполагала девочка, что ее ждет? Разве догадывалась, какая жизнь ей предстоит? Если бы ей рассказать тогда — не поверила бы. И все равно, вероятно, прожила бы ту же самую жизнь. И еще я думаю о странностях Гоголя — ходил в диком платье, фактически уморил себя голодом, об эпилепсии Достоевского, о его маниакальной страсти к игре, думаю о трагической жизни Цветаевой, покончившей с собой в далекой Елабуге, об Ахматовой, на десятилетия замурованной в тишину Фонтанного дома. Неужели, чтобы писать, надо платить такую цену? Неужели нельзя обойтись какими-нибудь меньшими жертвами? И ведь если даже цена уплачена, если жертва принесена, это все равно, к сожалению, еще ничего не значит.

Вот такие у меня сейчас мысли. Я смотрю на тяжелые грузовики, которые струдом протискиваются через ворота; морды у них у всех тупорылые, с рубчатых толстых шин стекает грязная жижа, мощный рык нахраписто прокатывается по переулку, и мне кажется, что вывозят они оттуда не мусор, а мертвое, забытое прошлое...

* * *

Далее я иду к поэтессе, которую рекомендовала мне Ираида. Фамилия поэтессы ни о чем мне не говорит, впрочем, я не знаток современной поэзии, однако, по словам Ираиды, здесь есть определенные шансы: поэтесса эта — на редкость энергичная женщина, делает карьеру, всегда в курсе всех наличных возможностей, имеет связи и в Петербурге и, что важнее, в Москве, составляет множество сборников, из коих некоторые выходят даже за рубежом, непрерывно выступает по радио с обзорами петербургской культуры. Она могла бы кое-что сделать. Одновременно они с Олей были приятельницами. Если, конечно, поэтесса захочет. Тут самое существенное, разумеется, что Оля ей более не конкурент. Не может заслонить где-нибудь, помешать, откуда-нибудь отодвинуть. Человеку, которого нет, вполне можно помочь.

Поэтесса, как выясняется, живет в удручающих новостройках. Мне приходится ехать сначала до конечной станции одной из веток метро, я уже несколько лет

не бывал в подобных местах, а потом, поскольку для маршрутки здесь слишком близко, шлепать через громадный пустырь, забитый транспортом и разными торговыми точками.

Дом поэтессы, впрочем, оказывается в довольно симпатичном проулочке. Здесь — даже нечто вроде аллеи, огораживающей его от шума проспекта. Кусты сирени почти смыкаются над дорожкой, ведущей к двери парадной, и верхушки их уже опушены нежной зеленью. Наступает весна.

Это чувствуется и в поведении поэтессы, которая через несколько минут приглашает меня пройти в квартиру. Впрочем, она, вероятно, всегда такая — энергичная, собранная, четко осознающая, что она делает и зачем. Кофе мне в этом доме, в отличие от Ираиды, не предлагают, зато сразу, хотя и вежливо, предупреждают, что здесь не курят. Затем меня усаживают в кресло у небольшого журнального столика и всем видом дают понять, что время мое весьма ограничено.

Впрочем, инициативу разговора поэтесса берет на себя. Сдержанным тоном она сообщает мне, что с Ольгой Савицкой, к сожалению, была почти не знакома, сталкивались, конечно, на каких-то мероприятиях, парой слов перебрасывались, но ничего, кроме этого. Ольга вообще была не слишком общительна. Тем более в тот период у нее... извините... был... роман... с одним... литератором... Ничем, разумеется, не закончилось, как это обычно с литераторами и бывает: походили походили, расстались, потом даже не замечали друг друга. Она ведь довольно симпатичной была, а симпатичные девушки в литературной среде — это редкость... — Поэтесса горделиво приподнимает голову и как бы случайно касается рыжеватых своих волос в мелкой завивке. Себя она явно считает исключением из общего правила. — Что же до публикаций... Я вас по телефону правильно поняла?.. То, видите ли, один сборник, который меня попросили курировать, уже составлен, он — в типографии, будем надеяться, что через два месяца выйдет, а второй, который только что заказали из-за рубежа, будет посвящен исключительно «новой волне» в поэзии. Савицкая туда не подходит просто по возрасту. Да и зачем ей сборники? Ей надо выпустить полноценную книгу. У нее наберется стихов на книгу? Есть пара издательств, которые выпускают поэзию более-менее систематически. Тоже, разумеется, не так все просто, но как член обоих редакционных советов она этот вопрос может затронуть...

Поэтессе явно хочется произвести на меня впечатление. Она не замужем, как мельком, но очень внятно сообщила мне Ираида. Вероятно, модная завивка не помогает. Я же, в свою очередь, обручального кольца не ношу, а на визитке, которая была мной представлена в первую же секунду знакомства, сказано, что я — профессор, доктор наук, директор Международного центра по изучению там чего-то. В конце концов, ведь не столь уж важно — чего. И хотя, «профессор, доктор наук» — ныне совсем не то, что в прежние советские времена, но, по мнению поэтессы, видимо, еще что-то значит.

К счастью, в этот момент требовательно звонит телефон. Поэтесса хватается трубку, и начинается долгий, видимо, неприятный для нее разговор, полный недомолвок и многозначительных пауз. Насколько можно судить, речь идет о каком-то поэтическом фестивале, намеченном на сентябрь, проводится он в Испании, и поэтесса твердо намерена в нем участвовать. Причем любопытно, как у нее меняется голос: он то воркует и обвораживает, будто на другом конце провода находится ее давний любовник, то вдруг практически без перехода становится сухим и жестким, точно у автомата, и я тогда действительно вижу перед собой не столько женщину, сколько члена двух издательских редколлегий, непременно составителя всяких сборников, председателя, как выясняется из беседы, какой-то комиссии, фигуру в литературном мире далеко не последнюю.

Правда, ни то, ни другое не помогает. Поэтесса бросает трубку с такой силой, что аппарат подпрыгивает.

— Вот сволочь, — говорит она, облизывая узкие губы. — Это — секретарь нашей писательской организации. И я еще за него проголосовала... Месяц назад клялся, что меня включат в состав делегации...

Собственно, делать здесь больше нечего. Несколько секунд поэтесса молча сидит, олицетворяя собой горестное извятие, сразу чувствуется, что человека незаслуженно оскорбили, однако быстро спохватывается и сообщает, что хотела бы подарить мне свой новый сборник стихов. Снимает с полки довольно скромную книжечку в мягкой обложке, открывает ее, не задумываясь ни на мгновение, делает надпись на первой странице, и, уже протягивая книжечку мне, точно облагодетельствовав, как бы вскользь добавляет, что на следующей неделе состоится ее презентация. В среду, в восемнадцать часов, Литературный музей.

— Было бы очень приятно вас видеть...

Я ощущаю себя в ловушке. Мне по роду работы известен этот менеджерский прием из «психологии управления»: человеку делается подарок, причем такой, который ему, быть может, совершенно не нужен, а потом, когда возникает естественное ощущение благодарности, следует просьба — и отклонить ее уже почти невозможно.

Я, как всегда в таких случаях, отвечаю, что обязательно постараюсь. Поэтесса моим ответом вполне удовлетворена. Она благосклонно кивает, принимая его за согласие, и небрежно, легко, мизинцем касается выложенной на столик Олиной рукописи:

— А это вы бросьте, — доверительно говорит она. — Не тратьте времени. Честное слово, никому это не нужно...

* * *

На вечер поэтессы я все-таки прихожу. Я делаю это не по обязанности, такие вынужденные обязательства я уже давно без угрызений совести игнорирую. Просто я рассчитываю, что вечер будет для профессиональной литературной среды, и мне, может быть, удастся поговорить там с людьми, причастными к книгоизданию. Вдруг из этого что-нибудь да получится.

С книгой я к тому времени, естественно, уже ознакомился. Больше, конечно, перелистал, чем прочел — она не произвела на меня особого впечатления. По-моему, это тот, вероятно, довольно частый в литературе случай, когда у автора есть способности, но они, к сожалению, небольшие. Да, попадаются иногда удачные строчки, даже удачные четверостишия, но нет удачных стихов. Литературным событием она, конечно, не станет. А хуже всего, на мой взгляд, то, что в тексте явно проступает натужность. Автору положено иметь книги, какой же автор — без книг? Автор без книг — это уже, извините, не автор. Вот поэтесса садится, напыживается и выдавливает из себя нужное количество строк. Не ждет, пока содержание будет накоплено за счет прожитого, пока оно отстоится, очистится от случайного, начнет обретать форму. Пока, наконец, оно само не запросится в мир — с такой внутренней силой, что противостоять ей будет нельзя. Нет, не терпится, недоношенное, скукоживается, умирает, превращается в «дерево».

В общем, проблески, не переходящие в свет. Стихи Оли Савицкой нравятся мне гораздо больше.

Меня удивляет лишь количество людей в зале. Здесь, как я быстро прикинул, сто двадцать мест, и практически все они оказываются заполненными. Конечно, значительную часть слушателей составляют пенсионеры, вероятно, жители ближайших домов, рассматривающие данный вечер как бесплатное представление, с

таким же успехом они могли бы сидеть и в цирке, но хватает и людей молодых, литераторов, что ли, пришедших сюда, именно чтобы послушать стихи. Неужели поэзия привлекает такое внимание? Мне почему-то казалось, что ныне она — где-то на периферии.

Правда, когда я, ни к кому, собственно, не обращаясь, высказываю свое удивление по этому поводу, мой сосед, юноша в толстых очках, в свою очередь поднимает брови:

— Вы что, не знаете, как это организуется? Обзваниваются двести человек, даже те, кто тебя заведомо терпеть не может, и умоляющим голосом приглашают принять участие. А потом, конечно, делается вид, что все пришли сюда по велению сердца...

Поэтесса, заметив меня, милостиво кивает.

Сам вечер проводится, вероятно, по накатанной схеме. Сначала к микрофону выходит усохший, с уклончивым взглядом, какой-то никакой человек, как мне шепотом объясняют, главный редактор одного из петербургских журналов, который интеллигентной скороговоркой, перемежаемой непрерывными «кхе...» и «ме-е...», извещает нас, что современная поэзия вовсе не умерла, как многие ей предрекали, она продолжается, она живет в лице лучших своих представителей.

Эта простая мысль занимает у него почему-то целых пятнадцать минут, и когда он садится, в зале облегченно вздыхают.

Далее берет слово критик, которого я тут же узнаю по описанию Ираиды. Действительно — «косматые патлы», землистое лицо упыря, боящееся дневного света, взгляд «безумной гиены». Критик рассуждает об «античном жесте современной поэзии», о ее «инверсности», «интертекстуальности», «деструктивной амбивалентности нынешнего эстетического дискурса». Создается впечатление, что он просто не слишком умен. Что он хочет этим сказать, я так и не понимаю.

И наконец, наступает очередь самой поэтессы. Держится она очень уверенно и читает высокимвичьим голосом, подкрашенным трагической интонацией. Это, вероятно, должно вызывать сопереживание в зале. Натужность в ее стихах, тем не менее, ощутима, редкие приличные строки тонут в словесном мусоре, которого значительно больше. Поэтесса, наверное, и сама это чувствует, поскольку тему собственно книги сворачивает довольно быстро и, пропев не более десяти—двенадцати стихотворений, переходит к рассказу о своей недавней поездке в Европу. Посетила она одним махом аж четыре страны, и ее наблюдения о приметах тамошней жизни не лишены интереса. У нее, вероятно, хорошо получались бы газетные очерки: все это простенько, мило, пересыпано вкусными, живыми подробностями. По-моему, как раз то, что любят читатели. Однако чем дольше поэтесса рассказывает о своих поездках, тем сильнее проявляется одна любопытная странность. Как-то само собой складывается впечатление, что стихов ее с нетерпением ждали чуть ли не в каждой стране, везде она оказывалась в центре литературной жизни, всякое ее выступление за границей сопровождалось невероятным успехом. Поэтесса на это, разумеется, особенно не упирает — напротив, дает понять, что сама смущена этим неожиданным обстоятельством, она на подобное внимание, естественно, не рассчитывала, но вот — такова реальность, от этого никуда не денешься.

Заканчивается же вечер тем, что некто в смокинге и манишке, придавленной к горлу «бабочкой», такого роста, что тыковка головы едва возвышается над роялем, то прижимая руки к груди, то выбрасывая их навстречу залу, гремучим «оперным» голосом исполняет романс на стихи поэтессы. Ни одного слова при этом не разобрать, а мелодия такова, что мне ясно: романс этот петь никогда не будут. Мне вообще кажется, что происходит нечто не слишком пристойное: не смущаясь и не краснея, явную копию выдают за подлинник. Причем если бы я не читал раньше

книгу поэтессы глазами, я бы, наверное, слушал спокойно и ничего этого не заметил бы. Слушают же, в конце концов, остальные. Я, однако, читал, и мне как-то неловко от очевидной подмены.

И еще мне кажется почему-то, что Оля Савицкая таких вечеров устраивать бы не стала. Она пригласила бы, вероятно, близких друзей и приятелей, почитала бы им немного, послушала бы потом, как они говорят о своих делах.

Хотя, возможно, я ее несколько идеализирую. Это свойство памяти — реконструировать прошлое только в исправленной версии. Поэтому оно всегда выглядит лучше, чем настоящее. Может быть, и Оля была совсем не такой, как я ее себе представляю.

В общем, настроение у меня ужасное. Не дожидаясь окончания вечера, я спускаюсь, беру в гардеробе плащ, выскальзываю на улицу. Мне больше ничего не хочется делать. Мне хочется лишь как можно скорее забыть всю эту историю.

* * *

И все-таки я предпринимаю еще пару попыток. Я не понимаю, зачем это делаю, — неужели только из-за того, что когда-то, почти случайно, поцеловал девушку в мокром осеннем парке? Сейчас это представляется уже почти нереальным. Где тот парк? Где та девушка, которая потянулась к нависшей над нашими головами тяжелой ветке? Разве это теперь имеет какое-нибудь значение? Разве та немного наивная юношеская эпоха не сгнула безвозвратно?

Я не могу ответить на эти вопросы. И потому, вероятно, что не могу, они не дают мне покоя. В общем, я встречаюсь с двумя издателями, которые выпускают стихи. Мне рекомендовала их поэтесса, как только я позвонил ей, чтобы поблагодарить за «чудесный вечер». Много ли нужно слабой женщине? Она даже позволила на себя сослаться, хотя честно предупредила, что никакого значения это иметь не будет. В результате примерно через неделю я оказываюсь в очень длинной и узкой комнате, более похожей на коридор, и передо мной сидит человек, уже десять лет занимающийся изданием современной поэзии. Надо сказать, что он совсем не похож на издателя: мятые брюки, старый, растянутый на локтях свитер, которому, наверное, исполнилось лет тридцать, не меньше. Еще Оля Савицкая могла этот свитер видеть. Очки в дешевой оправе, дешевенькие часы, тусклые, стоптанные ботинки, купленные, вероятно, в каком-нибудь секонд-хэнде. И тем не менее чувствуется, что это — издатель. Он сразу же вспоминает Ольгу Савицкую: да-да, стихи интересные, жаль, что она потом куда-то исчезла, мгновенно просматривает принесенную мною рукопись, согласно кивает, высказывается в том смысле, что, пожалуй, это можно было бы напечатать. Объясняет мне, что есть только одна трудность. Издательство у него небогатое, выпуск поэзии, как вы понимаете, особых прибылей не приносит. Даже те рукописи, по которым у него уже есть обязательства, будут ждать своей очереди два-три года. Раньше этого срока он ничего обещать не может.

— Все же лучше издать книгу автору, который еще успеет ее увидеть.

Я его, надо сказать, понимаю. Однако три года — это означает практически никогда. Три года — срок при нашей жизни слишком большой.

Рукопись я ему, тем не менее, оставляю, прикрепляю визитку и договариваюсь, что в случае каких-либо неожиданных вариантов он меня известит.

— Конечно, я вам обязательно позвоню...

Совсем иное впечатление производит на меня второй издатель. Им оказывается тот самый главный редактор, который выступал на вечере поэтессы. Нет, он, разумеется, предельно любезен: внимательно выслушивает меня и отвечает, что возвращение забытых стихов — дело весьма благородное; собственно, вся культура — это овеществленная память, без постоянного внимания к прошлому она не может суще-

ствовать, это такой, знаете, единый континуум... И они со своей стороны, конечно, сделают все возможное, рассмотрят рукопись на редколлегии, известят меня, какое решение будет принято. То есть по внешним признакам — результат самый благоприятный. Однако стоит лишь раз заглянуть в его тухлые, даже с какой-то прозеленью, маленькие, безжизненные глаза, как становится абсолютно понятно, что все эти слова для него ничего не значат. Он произносит их только потому, что так принято. Произносит, наверное, уже сорок лет и еще будет произносить, пока к нему обращаются. Даже патлатый критик нравится мне несколько больше. Тот хотя бы живой, этот же — просто мертвец, прикидывающийся человеком.

Стихи, тем не менее, я опять оставляю. В жизни бывает всякое — вдруг вспыхивают и начинают идти самые безнадежные предприятия. Всегда можно рассчитывать на везение. Правда, видя, в какой запредельный развал всяких папок рукопись попадает, я догадываюсь, что здесь на везение рассчитывать не приходится. Судьба этого чудовищного Монблана вполне очевидна: через год или больше, нетронутый, он перекочет в местный архив (если что-то вроде архива у них вообще существует), а затем, при очередной расчистке завалов, будет выброшен вместе с остальными невостребованными материалами.

Континуум есть континуум.

Никто в этом разбираться не будет.

* * *

Кстати, именно в эти дни я получаю письмо из Америки. Сыну Оли я написал месяца два-три назад, взяв адрес у Ираиды. И вот теперь, когда уже совсем потерял надежду, читаю наконец долгожданный ответ.

Юрий (Джордж, как он теперь себя называет) изъясняется сухо и ясно, словно боится остаться непонятым. Никаких рукописей или печатных текстов матери у него не имеется, и он даже не представляет, у кого бы они могли находиться. К сожалению, поспособствовать чем-либо в этом вопросе он мне не может.

Что же касается обстоятельств исчезновения, то четыре года назад, как только до него дошли известия о случившемся, он немедленно, бросив все, прилетел в Россию и за месяц пребывания здесь убедился, что ситуация безнадежная. Никто ничего делать не будет. Никакая милиция пальцем не пошевелит, чтобы найти человека. Видимо, у них ныне другие проблемы. Уже отсюда, из Калифорнии, он дважды запрашивал соответствующее отделение — ответа не получил. Тем более, что можно сделать сейчас?

Вообще, он уже более пяти лет живет в Америке, удачно женился, год назад у него родился ребенок. А недавно произошло еще одно важное для него событие: он официально стал гражданином Соединенных Штатов.

В заключение Юрий (Джордж) просит, чтобы я не считал его человеком эгоистичным, черствым, сухим. Просто он действительно не представляет, что еще можно сделать в такой ситуации. К тому же, добавляет он в самом конце письма, про «безумную литературную жизнь» интересно читать в мемуарах лет так через семьдесят, и совсем другое — испытать это на себе. Он сейчас даже вспоминать не хочет о том, что было.

Подпись стоит: «Сан-Франциско, штат Калифорния. Джордж Д. Савицки, гражданин США».

* * *

В конце концов я сдаюсь. Я больше ничего не могу сделать для темноглазой взволнованной девочки, которую некогда, в силу стечения обстоятельств, пошел провожать. То есть, конечно, я мог бы еще кое-что предпринять. Я бы мог, напри-

мер, договорившись с каким-нибудь мелким издательством, выпустить Олину книгу за собственный счет. Зарабатываю я, правда, весьма умеренно, в нашей области звания и регалии на доходах почти не сказываются, однако, поднатужившись, я, вероятно, сделать бы это сумел. Только кому эта книга будет нужна? Тухлоглазому вежливому редактору, похожему на мертвеца, патлатому критику, поэтессе, думающей сейчас исключительно об Испании? Бог с ними со всеми. Видимо, не судьба этой девочке. Что-то у нее не связалось, не щелкнуло, не произошло сцепления с жизнью. Такое бывает. Не стоит, наверное, переделывать это задним числом.

Мне ее действительно жаль. Она возникла в моем сознании как Афродита из пены — Афродита Блισταющая, Афродита-В-Тенях, Афродита Н, неизвестная. Сколько я теперь знаю о ней. Мне даже кажется, что я ее когда-то любил. Умом я, разумеется, понимаю, что это не так. Это — придуманная любовь, скорее — тоска по времени, которого уже не вернешь. И все равно при мысли о ней, будто чуть сдавленное, начинает ныть сердце. Слишком за последние месяцы я с ней сблизился. И я также догадываюсь теперь, почему Оля в те дни неожиданно назвала мое имя. Это та тоненькая соломинка, за которую в отчаянии пытаешься ухватиться, тот странный случай, который иногда превращается в чудо. Наверное, тоже вспомнила парк, усыпанный прелью, огненный крупный лист, легкое тепло поцелуя... Соломинка, однако, переломилась. Жизнь прошла. Случай чудом не стал и, вероятно, уже никогда не станет. Так что это, видимо, все.

В общем, фотографии и стихи я складываю в большой конверт, который специально покупаю на почте, подкальваю туда же короткую объяснительную записку — в науке это называется «атрибутировать», конверт заклеиваю и убираю в нижнее отделение шкафа, где у меня скопился уже довольно большой архив.

Я примерно представляю себе, что будет дальше. Лет через двадцать, уже без меня, Виктория, разбирая мои бумаги, достанет этот конверт, который, скорее всего, уже пожелтеет, откроет его, перелистает без особого любопытства, может быть, даже подумает, что была здесь какая-то давняя маленькая интрижка, усмехнется, наверное: дескать, отец тоже, оказывается, был молодым, и конверт, вероятно, будет лежать еще сколько-то времени. А потом незаметно исчезнет при переезде.

И все, уже — никогда, никогда...

Мне как-то нехорошо в этот день. Я ощущаю тяжесть в груди, чего со мною, как правило, не бывает. Спать я ложусь поэтому немного раньше обычного, и мне приходится выпить снотворное, чтобы оглушить себя спасительной тупой чернотой...

* * *

Однако этим история еще не заканчивается. Примерно через месяц, когда накатывается на город волна первой летней жары, когда обвисают листья на тополях и начинает взлетать от порывов ветра пыль с тротуаров, на одной из тех презентаций, от которых, к несчастью, не всегда получается уклониться, среди стендов, приглушенного гомона и толчеи я вдруг вижу девушку, как отражение, похожую на Олю Савицкую.

В первое мгновение я даже вздрагиваю. Но я не могу ошибаться, я слишком долго и часто вглядывался в ее фотографии. Хотя тут же я замечаю и разницу: девушка тоньше, подвижнее и, вероятно, более жизнерадостная, чем Оля. Правда, кто знает, может быть, Оля именно такой и была? Вся эта разница — только издержки возраста.

Таращусь я на нее самым невежливым образом. Девушка это чувствует и оборачивается ко мне — раз, другой — уже с некоторым недоумением. Далее так глазеть становится неудобно, я подхожу, представляюсь, протягиваю заранее вынутую из кармана визитку. А пока девушка с тем же недоумением ее рассматривает,

испрашиваю разрешения поговорить с ней хотя бы пару минут. Предупреждаю, что тема разговора — несколько специфическая, это не уловка, поверьте, ухаживать я не намерен.

— А жаль, — опомнившись, говорит девушка.

Мы садимся за столик, и я показываю, чтобы нам принесли два кофе.

И тут меня ожидает сильнейшее разочарование. Когда кофе приносят, и я, преодолевая неловкость, вероятно, немного путано, сбиваясь и отклоняясь от сути, рассказываю, в чем дело, выясняется, что к Оле Савицкой девушка никакого отношения не имеет. Она ей не дочь, какое безумное подозрение у меня вдруг мелькнуло, не родственница, не седьмая вода, даже близко ничего не находится. В общем, пустой номер, промашка, случайное сходство, усиленное, возможно, моим пылким воображением. Правда, зовут ее тоже — Оля. Оля, Оленька, можете называть так, если хотите. И совпадение это, впрочем, не слишком странное, почему-то успокаивает меня и возвращает к реальности.

Мы разговариваем еще некоторое время. Оленька рассказывает, что только в прошлом году закончила отделение информатики какого-то нового института, почти сразу же устроилась во вполне приличную фирму и уже несколько месяцев работает там веб-дизайнером. То есть оформляет внешний вид сайтов. Работа ей нравится, но, разумеется, останавливаться на этом уровне она не намерена. С осени она будет ходить на курсы по компьютерной графике, а потом, вероятно, попробует свои силы в рисунке и анимации. В общем, планы у нее обширные. Я на всякий случай интересуюсь — не писала ли она стихов, и Оленька отвечает, что действительно несколько лет назад, представьте, пыталась, но потом бросила это дело и больше не возвращалась. Прошло как-то само собой. Не было, видимо, чего-то такого, что заставляло бы упорно склоняться к бумаге.

— Стихи надо писать либо очень хорошие, либо вообще не писать, — говорит она строгим голосом.

На это мне возразить нечего. Я прощаюсь и еще раз приношу извинения за то, что ее задержал.

— Ну, что вы. Мне было очень интересно, — вежливо говорит Оленька.

Она медлит, но ни адреса, ни телефона я у нее не спрашиваю. Зачем это мне? Ведь ясно, что больше мы никогда не встретимся.

Я лишь провожаю ее взглядом.

Стена в холле стеклянная, отсюда хорошо видна площадь, где расположена станция метрополитена. Я слежу, как Оленька идет по проспекту, перекинув сумочку через плечо. Вот на перекрестке она замедляет шаги, оглядывается, над ней — белая новенькая табличка «Улица Достоевского».

И в это мгновение со мной что-то случается.

Я, конечно, не верю ни в какие астралы, реинкарнации, ни в какое переселение душ. Все это, по-моему, полная чепуха; все уйдет, от нас не останется ничего. Но сейчас мне кажется, что произошло небольшое чудо. Это — та же Оля Савицкая, только она и в самом деле родилась заново. Она снова пришла в этот мир, в этот город, живет другой жизнью, где, наверное, будет счастлива. Это ей — воздаяние. Это ей — за все прошлые мучения и неудачи. Теперь она будет счастлива. Я желаю ей этого всей силой вдруг похолодевшего сердца. Я действительно желаю ей этого. И вот что самое удивительное — я даже немного верю, что именно так и будет.

Сергей Юрский

Все включено

ЛЕГКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда мы были советскими людьми, мы очень любили отдыхать. То есть мы, конечно, работали, и даже много работали, но всю зиму и весну любили поговорить и помечтать о будущем летнем отдыхе, а осенью целыми компаниями вспоминали этот отдых.

Теперь другое дело. Право на отдых сильно подорожало. У одних времени нет — надо вкалывать и вкалывать, у других средств недостаточно, а у третьих — сил уже нет отдыхать (а силы для этого нужны немалые!).

Но все-таки некоторые иногда выезжают на курорты и на морские окраины нашей державы, а то и за границу. И тут все более привлекают такие отели и заповедные зоны, которые имеют своим девизом:

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!

Это означает — столы накрыты круглые сутки, ешь-пей в два горла, кровати постелены, обслуживающий персонал непрерывно улыбается и готов на все услуги. Короче говоря — рай!

Это, конечно, заманчиво и приятно на ощупь, но в то же время и опасно. Рискнешь совершенно потерять ориентиры и чувство реальности.

Вы спросите: к чему это я? Отвечу — это я хочу объяснить общее название тех разнородных текстов, которые Вы, уважаемый читатель, в данный момент собираетесь то ли прочесть, то ли в сторону отложить.

Так вот! «Все включено» может означать, что тут будут и рассказ, и документ, и стихи, и даже, извините за выражение, эссе.

Есть и другой, более глубокий смысл в этом названии — такое нынче время, такое тысячелетие, что любое явление хочет расширяться до бесконечности во времени и в пространстве. Если премьера, то мировая, если Олимпиада, то всемирная, если телевизионное кино, то в сто серий, если концерт, то транснациональный, и даже если экологическая катастрофа, то глобальная. Так что в этих двух словечках нечто вроде диагноза сегодняшней цивилизации.

Но это я, разумеется, высоко хватил. Не судите строго. Это я так, что называю — брякнул. К делу отношения не имеет (хотя... наиболее прозорливых может заставить и задуматься!). А попросту говоря, «Все включено» — это название, которое придумал я для своей новой книги. И книгу эту уже начал писать. И вот первые главы как раз предлагаю Вашему вниманию. Начинаю, а там посмотрим.

1. БОБА-АМЕРИКАНЕЦ

Хотите посмеяться? Опоздали маленько! Раньше надо было хотеть. Когда Боба жил еще в Ленинграде и не был американцем. Вот тогда можно было посмеяться. Мы с Бобой во всех поездках жили по гостиницам в одном номере — и в Челя-

бинске, и в Сочи, и в Тбилиси. А в Свердловске нам на двоих сняли даже пустующую летом квартиру местного Народного артиста Буйного, и мы в ней жили. И все время смеялись. То есть смеялся я, а Боба произносил смешное и горестно кивал головой. Эта смесь еврейского катастрофизма и русского мата была в буквальном смысле сногшибательна — я корчился от смеха и валился на диван, на кровать, на пол, куда придется.

Боба был старше меня на пятнадцать лет. Он много всякого повидал и все умел. Боба мог обезвредить мину (это еще с войны), мог разобрать и собрать обратно карбюратор, умел торговаться на базаре и (откуда-то!) знал цену всем вещам. Я видел еще мало и не умел ничего.

«Две левеньких! — говорил про меня Боба. — Две левых руки приделали, и обе с одного бока. Очень неудобно! Ничего нельзя делать — ни ухватить, ни завинтить, ни приколотить. Агиба кук, аота зой, смотри туда, смотри сюда, и все без толку. Сынок! У тебя две левых! Ничего не умеешь! Только чесать колени утром, когда еще не проснулся. Все! Как ты справишься с этой Олечкой, на которую ты сделал стойку, — не представляю. С двумя левыми? — Невозможно! Ее же надо обхватывать, брать с двух сторон. А сынок может схватить только за один бочок, за жирок. Две левых! Но слушай меня, сынок: Олечка годится только для «не иметь»! Только! Под ней нет ноги. Это все так задоприземисто. Нет! Только для «не иметь»!

Я смеялся в голос, а Боба горестно качал головой, а потом плакал. Когда его самого наконец разобрал смех, у него сразу начинали течь из глаз слезы.

«Сынок! Абханаки! Кругом абханаки! Нет людей. Не с кем иметь дело. В нашем вагоне аншлаг. Битком набито, все полки заняты! Ты молодой, ты еще ухватишь плацкарту. А я стою в коридоре, все полки заняты. Агиба кук! Вцепились в подушки и давят ухо. Храпят. Абханаки! Не с кем говорить!»

Две особенности отличали Бобу от всех знакомых мне людей: Боба мог десять раз подтянуться НА ОДНОЙ РУКЕ — это раз. Второе — Боба ВСЕГДА женился на балеринах.

Боба был беден, и Боба не был знаменит. Но он был весел, щедр и умел любить. Балерины его обожали. Внешность у Бобы была достаточно корявая, но он мог подтянуться ДЕСЯТЬ РАЗ на одной руке, с ним было нескудно, и балерины выскакивали за него замуж, как пули из обоймы. Потом они его бросали. Он страдал. Но... расставшись с ним, и они страдали — я это точно знаю! — и всегда вспоминали его любовь как счастливое время. А Боба... пострадав, покряхтев, Боба шел на балетный спектакль разок... другой... и из обоймы выскакивала новая балерина.

У Бобы была мама — Баба Берта. Баба Берта готовила из бедных продуктов изумительные еврейские блюда. Говорила мало, но зато с сильнейшим акцентом. Бобу она всегда и за все ругала, а нас, его друзей, обливала добротой и вниманием. И всегда готовила. Я вообще не помню Бабу Берту за другим занятием. Никогда она не ела, не читала, не сидела. Она все время готовила и подавала на стол. Баба Берта ругала Бобу. Боба ругал Бабу Берту. И было очень смешно.

Сам Боба никогда не смеялся. Я уже это говорил? Если говорил, прошу прощения за повтор. Но не перечитывать же всю мою несущуюся без черновиков, по кочкам, по бугоркам, по обрывкам памяти скоропись! Вот закончится эта вольная скачка без седла вслед за давно исчезнувшим молодым Бобой, вслед и за мною самим — по-щенячьи молодым, а потом за Бобой солидным, Бобой-американцем (Господи, я же именно так озаглавил этот рассказик, а вот сколько времени прошло, еще и не добрался до того, почему, собственно, Боба-американец!), вот закончу, доскачу и освобожусь от этого живущего во мне спрятанного, памятного пузыря смеха и радости, лопнет этот пузырь и — может быть! — хоть каплей сме-

ха обрызгает и тебя, случайный читатель. А я останусь серьезным, успокоенным, с чувством исполненного долга, я не буду больше смеяться нелепым шуткам и оборотам речи канувших времен. И Боба останется там, у себя в Нью-Йорке, в квартирке нижнего Манхэттена с американской женой — достойный, преодолевший, вытерпевший, в конечном счете победивший и получивший все, чего мог желать... Ну, кроме, может быть, богатства. А лишившийся при этом только одного... Вы подумали — Родины? Нет! Это само собой, это не обсуждается. Вы скажете — молодость прошла? Да ну, что за разговор?! У всех проходит молодость, а Боба еще лучше всех нас сохранился. Нет! — Юмора! Юмора он лишился! Потому что у них там, в Западном полушарии, другой юмор. Жить там можно. И нужно! А шутить... шутить там бессмысленно.

Так вот я и говорю, Боба смешил, но никогда не смеялся.

— Сынок! — говорил Боба. — Я хочу машину! Я хочу большую машину, чтобы много места было. Чтобы можно было оглядеться вокруг, а потом плотно закрыть все окна, чтоб не слышно было, и громко послать всех к... Евгении Марковне! Только всех! И очень громко! И чтоб не было слышно! К развегенейшей Марковне! Свобода определяется количеством людей, которых ты можешь послать. А из закрытой машины ты можешь послать всех сразу. И очень далеко. Нужна машина, а остальное у меня уже готово.

Боба не смеялся. Почти никогда. Редко. С трудом вспоминаю, чтобы Боба смеялся. Впрочем, один случай точно был...

Мы жили в Тбилиси. И мне было двадцать пять. Бобе — сорок. Мы жили в большом квадратном номере гостиницы на проспекте Руставели. Окна во внутренний двор на ресторанный кухню. Туалет в коридоре — в самом дальнем от нас конце коридора (это важно!). Мы были бедны, но мы были актерами знаменитого театра. Нас приглашали. Мы уже не раз слушали зурну и дудуки, ели шашлыки и хинкали, пили коньяк и «Мукузани». И было жарко!

— Сынок, нас зовут на блядки, — сказал Боба.

Нового знакомого звали Сандрик. Он очень настаивал, чтобы мы пошли к нему, потому что туда должен прийти Зураби и привести Манану с подругами.

Наш путь шел только в гору. Наверное, это была Мтацминда. Да, она! Но может быть, и другая, соседняя гора. Может быть, соседняя. Город как-то незаметно кончился. Пошли совсем кривые улочки, одноэтажные домики, запахи жаровень, детские крики и остальное, что, ты сам знаешь, опытный читатель.

Сандрик был парень угрюмый. Он шел и шел. Изредка только останавливался. Показывал рукой вверх и говорил: «Там!». И мы опять шли.

В совершенно пустой комнате стояли два топчана, четыре шатких стула и простой стол. На столе большая бутылка сухого вина «Цинандали» урожая 1959 года — то есть прошлогоднего. Окна были распахнуты. С улицы тянуло благовоением шашлыка и слышались детские голоса.

— Сейчас придет Зураби, — сказал Сандрик. — Приведет Манану с подругами.

Мы с Бобой сели на топчан. Угрюмый Сандрик постукивал носком сандалии в такт доносившейся издали заунывной мелодии.

— Музыку хотите? — спросил Сандрик.

За топчаном обнаружился проигрыватель.

— Грузинскую или французскую? — спросил Сандрик, держа в правой и в левой руке пластинки на выбор.

— Да, нет... погодим, — сказал Боба. — А когда Зураби должен прийти?

— Придет! — убежденно сказал Сандрик. — За Мананой пошел.

— А Манана же еще должна за подругами зайти, — напомнил Боба.

— Нет. Они у нее уже. Ждут, — твердо заверил Сандрик.

Да-а! Еще в комнате была этажерка! С нее Сандрик и снял три простых граненых стакана. Открыл «Цинандали».

— Хочу поднять этот бокал, — совершенно изменившимся, чужим, заунывным голосом заговорил Сандрик, — за дорогих гостей! Для нас большая честь принимать таких людей. Пусть будет вам много радости, пусть живы будут ваши родители, а если умерли, светлая им память! Пусть столько радостей дарит вам каждый день вашей замечательной жизни, сколько капель грузинского вина в этом бокале! И пусть всегда дружат наши народы!

Мы выпили. Из окна пахло шашлыком.

Теперь я наполнил стаканы и произнес ответный тост во славу Грузии и Тбилиси.

— И за твоё здоровье, Сандро! — закончил я.

— И за здоровье Зураби и Мананы! — подхватил Боба. — Где они, кстати? Слушай, Сандрик, тут в доме хлеба нет, а?

— Закрыт магазин уже, — сурово сказал Сандрик. — Девять часов, генацвале! В восемь все закрывается, да?!

Из окна пахло шашлыком.

— Сынок, может, музыку послушаем? — сказал Боба.

Зазвучала песня «Тбилисо» композитора Реваза Лагидзе. Потом песня кончилась.

— Ну, ладно, Сандро, мы, пожалуй, пойдем, — сказал Боба.

— Так нельзя! — Сандрик встал. Он был очень прямой и стройный. — Грузинский дом так гостя не отпускает.

Он вышел из комнаты. Послышались громкие речи и даже вскрики на грузинском.

— Сынок, блядки отменяются, — сказал Боба. — Давай выбираться. Нам отсюда не меньше часа топтать, даже под горку.

В дверях появился Сандрик — в каждой руке по бутылки «Цинандали», такой же большой, как и первая. Думаю, литра полтора туда входит — у нас такие бутылки не делают. Сандрик взял штопор.

— Нет, Сандро, обожди, не открывай, а то для Зураби ничего не останется. А что, позвонить нельзя Зураби, чтобы уже шел? — спросил Боба.

— Он дядю на вокзале встречает, — сказал Сандрик и очень ловко со смачным щелчком вытащил пробку из безразмерной бутылки.

— Они вместе с дядей сюда придут? — спросил Боба.

— С Мананой... Поезд, наверное, опоздал. — Сандро поднял стакан. — Чтоб всем вашим близким... — опять загнул он изменившимся голосом...

— Э-э, Сандро, я не могу больше... у меня, знаешь, желудок... язва была, надо обязательно хотя бы хлеб...

— Думаю, — гнул Сандро, — что за наших близких осушим до дна этот бокал. Чтоб каждая капля, которую мы не допьём, стала горем для них. Так выпьем за то, чтобы никогда не знать им горя!

Мы выпили.

— Манана, — сказал Сандро нормальным голосом, — Манана увидит, что Зураби не пришел, сама пойдет сюда и подруг приведет.

— Да, нет... ладно... — сказал Боба. — Какая ужтам теперь Манана. Темнеет уже. Потянуло ветерком, и запах шашлыка стал еще сильнее.

— Пойдем, сынок, надо еще Валериану позвонить, узнать насчет завтрашней репетиции. Спасибо, Сандро. Еще увидимся.

Мы встали.

— На дорогу! — Сандрик налил полные стаканы. — Есть такой обычай, — загнул он, — в самый последний момент осушить бокал, чтобы легкой была дорога. За дорогих гостей! И за всех наших друзей! Чтоб было им хорошо, всем... кроме Зураби и дяди его, которые (далее прозвучал залп гортанных грузинских восклицаний, видимо, ругательств, но не ручаюсь, сужу только по интонации)... даже если дядин поезд опоздал, — закончил оратор по-русски.

Действительно, уже темнело. Но жара не спадала. Употребленный в неумеренных количествах «Цинандали» выходил из всех пор. По лицу потоком тек пот. Желудок подводило. Мы оба сегодня не пообедали в ожидании званого ужина.

Когда выбрались к центру, на освещенные улицы, было уже поздно. Но город гулял. И нас подхватило это гуляние. Кто-то узнал, кому-то крикнул, куда-то повели... Наконец-то вонзили зубы во что-то съестное.

Но главное... — «Поднимем эти бокалы... За ваш приезд!.. За то, чтобы всегда!.. За то, чтобы никогда!..» — и так далее.

Одни передавали нас другим, другие сдвигали столы, меняли скатерти, накрывали заново... И снова несли бутылки, бутылки...

Это еще хорошо, что мы были молоды! Это еще очень хорошо! А то было бы очень плохо. Мы ночью (!) мылись в турецкой бане! Да, она была закрыта. Но нам ее открыли! От теплых каменных лежанок и нежной мыльной пены стало легче и чуть прояснело, а потом опять накатило: «Чтобы всегда!.. Но чтобы никогда!».

Незнакомый бородатый мужчина крепко меня поцеловал и сказал:

— В пять! — Везде в шесть, но я знаю, где в пять!

Мы шли есть хаши. После кутежа мужчины должны есть хаши. И тогда можно все сначала.

— В пять! — сказал бородатый. — Знаю одну хашную, в пять утра открывает-ся. Около базара. Я ее знаю. Там грузчики приходят. В пять!

Мы немного постояли в небольшой толпе солидных, хорошо знающих друг друга людей — видимо, грузчиков. В пять хашная открылась.

— Что это? — спросил я, глядя на мутный жирный суп, в котором плавало что-то большое и неаппетитное.

— Хаши. Никогда не пробовал?

— Никогда.

— Надо. Но сперва рюмку водки. Потом хаши. И на работу.

Я глянул в тарелку с жутким варевом и попробовал представить себе, как сегодня вечером я, легкий и воздушный, танцую свой танец в итальянской мелодраме «Синьор Марио пишет комедию». Меня повело.

— Чтобы был здоров! — сказал бородатый незнакомец. — Гаги марджос!

Мы чокнулись. Я выпил водку до дна. Гортань уже ничего не чувствовала, но пищевод обожгло.

— Хаши! — провозгласил бородатый и сунул мне в руку ложку.

И я хлебнул. Раз... два... Может быть, даже три... Потому что другой закуски не было.

— Сейчас отпустит, — сказал хранитель обычаев, но смотрел на меня при этом подозрительно. Видимо, я сильно изменился в лице.

— Сынок! — сказал Боба и отодвинул от меня тарелку. — Пойдем в гостиницу. Полежишь немного — и на репетицию. Ты положи ложку, не ешь больше.

Бородатый проводил нас до порога хашной.

— Нахвамдис, генацвале! — поднял он руку в приветствии.

Нет, я не шел по городу Тбилиси, я нес свой желудок по городу Тбилиси и думал только о нем — о желудке. А рассвет был прекрасен — это само собой, но что мне до рассвета? Рассвет бывает каждый день.

— Сынок, — сказал Боба, — что это ты совсем не загорел? Мы уже месяц на юге, такое солнце, а ты... Слушай, ты совсем белый, как бумага.

Мы вошли в гостиницу и поднялись на свой четвертый этаж. Прошли весь длинный коридор (это была ошибка — с каждым шагом мы удалялись от общего туалета!). Мы вошли в наш просторный квадратный номер с окном во внутренний дворик. Я открыл это окно. Снизу пахло вчерашней едой.

И тут... Все! Все, что скопилось во мне за эти загульные полсуток... фонтаном вырвалось из моего обожженного перцем и алкоголем рта. И вознеслось к потолку.

— Сынок! — крикнул Боба.

Я хотел объяснить Бобе, что часть вины я должен взять на себя. Я повернулся к нему, чтобы сказать это, но тут второй залп из моего нутра поверг Бобу на пол. Он увернулся и начал неудержимо хохотать.

Я наклонился к нему, чтобы извиниться. Боба стремительно закатился под койку, и поэтому третий залп его миновал.

Я гонялся за Бобой, чтобы объяснитьсь, а он метался от окна к двери, приседал, забегал за шкаф и оставался нетронутым в абсолютно заблеванном номере гостиницы «Тбилиси» на улице Руставели.

— Сынок! — кричал он и хохотал. Как же он хохотал! Все навыки бойца переднего края (а Боба воевал, и хорошо воевал в Великую Отечественную!), всю готовность сапера к любым неожиданностям (а Боба был сапером) применял он и уходил от моего бомбометания.

Мы оба обессилели. Я уже не мог ничего сказать. И Боба ничего не говорил. Он плакал от смеха. Слезы текли по его щекам и сотрясали все его тело.

Рассвет наступил окончательно.

Внутренний дворик, накрытый сверху витражами, осветился. Солнце пробило цветные стеклышки. Там, внизу, показалась фигура в грязном белом фартуке и широкое лицо с усами. Лицо крикнуло, и внутренний дворик мощным эхом подхватил этот крик.

— Ма-на-на! — крикнуло лицо. — Модияк! Модияк, Манана!

И тут мы оба повалились на пол, лицом вниз, чтобы досмеять весь этот ком... шар... пузырь смешного, где смешнее всего были мы сами.

Смеющимся я Бобу больше не видел. Разным видел. А смеющимся... — нет, больше не видел.

* * *

— How do you do? This is me, — сказал я в трубку.

— Сынок! — раздался голос Бобы. — Приехал?

Я приехал в Нью-Йорк через тридцать лет после наших тбилисских блядок и через десять лет после Бобиной эмиграции.

Эмиграция у него была по полной программе — исключение из партии (а Боба с войны еще был коммунистом), осуждение товарищей, лишение наград (а у Бобы

с войны были боевые награды), и т.д. и т.п. Я рад, что жил тогда уже в другом городе и всех Бобиных испытаний не видел. Только слышал о них.

Щелкали годы. Я в Америку (естественно!) не выезжал. Боба из Америки (естественно!) не приезжал. Вообще говоря, стало казаться, что жизнь завершилась (что тоже естественно — мы же заранее знали, что она не бесконечна). Но вот какая штука: оказалось, что завершилась «та жизнь» и началась какая-то другая.

Я стоял на углу Седьмой авеню и 53 стрит, недалеко от моего отеля, и ждал Бобу. Увидел издали. Боба двигался в толпе прогуливающейся походкой. На нем была светлая кепочка. Боба поглядывал по сторонам и периодически цыкал языком, слегка кривя рот налево. Видимо, в зубе была дырка. За прошедшие годы Боба сильно помолодел и, я бы сказал, как-то упорядочился. Некоторая суетливость движений, которая была свойственна ленинградскому Бобе, абсолютно исчезла. Фигура стала более вертикальной, не оставив и следа от прежней, если можно так выразиться, кривчоватости. По нью-йоркской улице двигался совершенно нью-йоркский господин добротного пенсионного возраста в белой кепочке и в зеленой бобочке (по погоде). Господин этот никуда не торопился. Потому что хорошо знал дорогу и заранее продумал, куда он идет, зачем и в котором часу прибует к месту назначения. Ну, совершенно иностранная фигура. И все-таки человек в белой кепочке и зеленой бобочке был не кто иной, как Боба.

Внимание! То, что вы читаете, не является документом! Так что не вздумайте придирайтесь к деталям. А то, понимаешь, найдется какой-нибудь друг-приятель и начнет нудить: дескать, не было у Бобы зеленой бобочки, а носил он бледно-голубую рубашку с рукавами, и зубы он залечил, а потому не цыкал на левую сторону... Вот я и говорю: ЭТО НЕ ДОКУМЕНТ! Я могу в чем-то ошибаться. Мне говорили, что я дальтоник и плохо различаю цвета. Возможно. И память может подвести — сколько лет прошло! И мы ведь живые люди, а не компьютеры. Мне не раз говорили, что я все путаю. Возможно. Я не буду возражать. Я уважаю чужое мнение. Это так! Но, черт вас всех возьми, я-то точно знаю, что Боба шел в белой кепочке и зеленой бобочке по городу Нью-Йорку, и шел так, как будто он тут и родился, в этой бобочке. И Боба цыкал зубом! Это точно! Может быть, не тогда, может быть, в другой мой приезд, еще через десяток лет, а может быть, в Москве, куда он в результате мой приезд, — все может быть! Но зубом он цыкал!

И вот еще на что хочу обратить я ваше внимание. Удивительное дело. Я много видел наших эмигрантов, так или иначе, все они жались друг к другу. Ну, кроме тех, что выскочили в богачи или в большие люди (такие есть, но таких мало). Те, естественно, сами по себе — на фиг нужно опускаться до заурядного мелкого кишения? Но Боба ведь не стал ни богачом, ни большим человеком. И, однако, он тоже умудрился С САМОГО НАЧАЛА послать это кишение на фиг!

Вы спросите — как это ему удалось? Отвечаю — а черт его знает! Вы скажете — может, он, в отличие от других, еще в России свободно говорил по-английски? Не смешите! (Впрочем, об этом позже.) Или, может быть, он вывез из Ленинграда в подошве ботинок бриллианты покойной Бабы Берты? Оставьте! Как говорится, из драгоценностей у Бабы Берты было только золотое сердце, это как максимум. И как минимум тоже. Ну так что? Как это? Как это получилось? Я вам уже сказал: понятия не имею!

Знаю — пожилой Боба развозил пищу, служил посыльным, подрабатывал в массовках кино... Да не буду я вам все это рассказывать — тысячу раз все это уже переговорено.

Я вам другое скажу. ТРИ ПУНКТА:

Пожилой Боба

а/ Женился (опять!)

б/ Женился НА БАЛЕРИНЕ (опять!)

с/ Жена его — балерина была американкой и НИ СЛОВА не знала по-русски!
Ну? Теперь вы поняли, почему стоит читать этот рассказ про Бобу?!

* * *

К моменту той нашей, первой после перерыва встречи Боба стал (это кроме того, что женился на американской балерине), Боба стал профессором и LANDOWNER (то есть владельцем поместья).

Наверное, читателю ничего не остается, как только воскликнуть: «Ого!». Вот и я сделал то же самое.

— Ого! — воскликнул я. — Бобец, так ты полностью на полке! Имеешь мягкого вагона и плацкарт до конечной остановки!

— Сынок! — скривился Боба и цыкнул зубом. — Это Америка! Тут все может быть. Но тут все иначе — не как у вас.

Боба был первым, последним и, коротко говоря, единственным эмигрантом, который про Россию говорил «у вас», а про Америку — «у нас». Так вот, профессор в Америке это «не как у вас». Это не то что — сперва кандидат наук, потом доктор наук, диссертации, защиты, печатные труды и прочая хрестоматия на десятки лет, а то и на всю жизнь. В Америке профессор — тот, кто учит. Кого учит, чему учит — это второй вопрос. Учит! Значит, профессор.

Боба учил, худо-бедно, в Нью-Йоркском университете. Он преподавал «Кино и актерское искусство». Этот курс был в сетке предлагаемых факультативов, и курс этот «was taken» (был взят) каждый год некоторым количеством людей. У нас (на этот раз у нас с вами, в России) Боба снимался в кино в эпизодиках, в небольших ролях, и иногда очень симпатично. На сцене тоже играл роли небольшие, а в последние годы, прямо скажем, в одних массовках, что было горько, может быть, и несправедливо, но такой вышел расклад в нашем знаменитом театре.

Вы спросите: знал ли Боба кино и актерское искусство, знал ли Боба эти дела настолько, чтобы преподавать их в университете? Я вам отвечу так, как он ответил мне: «Сынок, это Америка! Тут все может быть!». А еще я вас в свою очередь спрошу: А у нас (у нас — в России!), с нашими диссертациями, степенями, утверждениями, проверками, — ВСЕ, кто преподает, знают толком, чего они, собственно, преподают? Как-с? Некоторые знают? Ага... а другие некоторые? Говорите, по-разному? Ну, вот и снимем эту проблему! К тому же в Америке все русские считаются прямыми учениками Станиславского и знатоками его загадочной системы. Каждый дурак знает, что румыны играют на скрипках в ресторане, индусы занимаются йогой, а русские лудят систему Станиславского. Не Бог весть что, но некоторую ценность это имеет. Это, как здесь говорят, «аутентично» — из первых рук! Надо брать!

— Сынок, — говорил Боба-американец, — здесь свободная страна. Кто чем хочет, тот тем и занимается. Можешь целый день стоять на голове. Можешь лежать в гамаке. Если кто-то оплатил этот гамак, можешь лежать. А можешь записаться ко мне на факультатив. Ко мне ходят пара-тройка черных, двое желтых, один красный, в смысле такой... марксист, он пуэрториканец, и голов шесть белых, но тоже с разными оттенками. Здесь свободная страна — какой цвет имеешь, такой и имей. А хочешь, можешь поменять, пожалуйста, но тогда надо очень много бабок. Надо иметь тугой кошель, как Майкл Джексон.

Знаешь, почему они ко мне ходят? Это для них экзотика. Они слово «театр» никогда не слышали. «Кино» — знают, «балет», «мюзикл» — знают. «Театр» — понятия не имеют! Я им рассказываю про БДТ, про МХАТ, про Станиславского, — слушают, открыв рот, и... не верят! Думают, либо я вру, либо плохо по-английски

говорю и сам не соображаю, что несю. А потом пишут на меня доносы. Здесь свободная страна, сынок! После каждого семестра они все пишут декану, как им понравился профессор. И одна сучка каждый раз пишет, что я говорю непонятно! Кончится тем, что меня уволят. (NB — как в воду глядел!) Но, правда, есть и другие. Я с ними начал делать чеховские рассказы. Они прямо обалдели: как это? Сперва один говорит, а потом другой? Не налезая друг на друга? Потрясающе! Это называется «Система Станиславского»? Потрясающе! Есть у меня один — играет во всех рассказах. Я такого неспособного для сцены человека даже в страшном сне представить не мог. Совсем бездарный! Он в prison, как это по-русски?.. prison... — тюрьма! Он охранник в тюрьме! Они же все где-нибудь работают. А университет вроде вечерней школы. Драмкружок! Так вот он все время приходит из своей тюрьмы и жутко играет рассказы Чехова. Я ему сказал уже, не раз сказал: «Garry, слушай, не ходи сюда, зачем? У тебя хороший job — профессия, не надо тебе быть актером. Это дело у тебя не пойдет». А он на следующий семестр опять записывается! Сынок, это хорошо, что никто не приходит смотреть, как мы играем, а то бы... ой, прощайте, мама, иду биться з румынцами, и хрена вы меня больше увидите! А эта сучка, Солли, она меня достанет, этим кончится! Каждый раз одно и то же пишет декану: «За весь семестр ни слова не поняла, профессор говорит на неизвестном языке!».

Стоп! Теперь уже не Боба говорит, теперь я вхожу в разговор — ведь тем дело и кончилось! Лет через пять количество доносов зашкалило, какой-то административный компьютер выбил отрицательный результат, и Бобу уволили. Тюремный охранник бегал за ним и пытался договориться о частных занятиях на дому, но дело как-то совсем не пошло и само рассосалось.

Теперь насчет LANDOWNER, то есть насчет того, что Боба стал американским землевладельцем. Это ведь без всяких кавычек, на самом деле. Вы уже знаете, что он ходил сниматься в массовках. Массовка — она и есть массовка! Множество людей, и никакого внимания к кому-либо в отдельности. Но это ж Америка! Тут чтобы даже в массовку попасть, нужно иметь АГЕНТА! Тут каждый имеет агента. Напрямую с тобой никто и разговаривать не будет, кому ты нужен?! А с агентом — это совсем другое дело. Каждый свободный художник должен иметь агента! А Боба был именно свободным художником. То есть в первое время абсолютно свободным — от всякой работы и от всяких заработков.

Ну вот! А потом пошли массовки, переговоры агента с кем-то, какие-то списки, кастинги... И однажды... понадобился пожилой русский актер, работавший в России в знаменитом театре. И Боба сыграл роль. Небольшую, но РОЛЬ В АМЕРИКАНСКОМ ФИЛЬМЕ. И фильм снимал известный режиссер. А вы знаете, что это значит? Догадываетесь? Ну и правильно догадались! Боба получил ДЕНЬГИ. Я специально написал это слово большими буквами, потому что это были ДЕНЬГИ, которых Боба сроду в руках не держал. Не в том смысле, что они были какие-то странные, а в том смысле, что их было много! (Для непонятливых повторяю — МНОГО АМЕРИКАНСКИХ ДЕНЕГ ЗА ОДНУ НЕБОЛЬШУЮ РОЛЬ В КИНО!)

И тут Боба еще раз показал всему миру, что знает цену вещам. Думаете, он купил «ролс-ройс», закрылся наглухо в машине и громко послал всех к такой-то матери? А вот и нет! Машину Боба купил — поддержанную, по дешевке, это само собой. Нет! Он купил поместье в штате Пенсильвания! И землю, и дом! Да, вот так все совпало — в одно и то же время Бобины доходы скакнули вверх, а цены на поместья в дальнем углу штата Пенсильвания ухнули вниз. И Боба стал AMERICAN LANDOWNER. Да-с!

Далековато. Что правда, то правда — далековато! Триста майлс. (Миль то есть.) А майлс эти длинные. В наших километрах в районе полтысячи наберется. Тут, ко-

нечно, допустим, на работу ездить — никаких колес не хватит. Но факт есть факт! Житель коммунальной квартиры на Выборгской стороне города Ленинграда на старости своих лет угнездился на самостоятельной площади в Нью-Йорке и займел поместье в штате Пенсильвания!

Колоссально! Почти. Цена на землю в Пенсильвании маленько поднялась, тут бы и продать на фиг это никому не нужное за пятьсот километров поместье, так вот — не сориентировался! Тут надо было другого агента иметь, а его не было. Время убежало, быстро убежало, и полетела стоимость пенсильванских земель прямо-таки в тартарары. И ушло в результате поместье за бесценок. Америка! Тут чего угодно ждать можно! Но поместье у Бобы было? Было! Поместье имени одной небольшой роли в кино!

* * *

— Сынок, ты до сих пор куришь? — сказал Боба. — Ты с ума сошел! Надо бросать. Никотин?! — Это ужасно!

— Ладно, Боба, оставь это, сколько лет ты дымил? Утром натошак в квартире артиста Буйного...

— «Беломор»? Полный кошмар. Какая же это была отравка!

— Да уж... И ты говоришь: «Первую, утром, сразу обжечь легкие, и тогда можно жить...»

— А-а! Безумное дело! А потом кафе «Чайка». Там кашка, слипшиеся комки, политые машинным маслом... И тошнница по-венски. И «Уральские пельмени» напротив оперного театра, очередь от завтрака до обеда... Свердловск, пятьдесят восьмой год.

— А ты совсем бросил?

— Курить? Давно! Что ты?! Здесь курит только шпана. Травку, травку... И еще ваши приезжают со своими болгарскими сигаретами «Стюардесса»... Безумное дело. Ваш задымит, а американцы почуют запах и в сторону отскакивают — наркоман, сумасшедший, самоубийца!.. Ладно, какие у тебя проблемы? У тебя есть проблемы? Мы будем их сейчас решать. Пазл есть?

— Если пазл это проблема, то у меня большой пазл. Я, Боба, в аэропорту очки разбил.

— Обо что?

— Об пол. Суетился с вещами, с паспортами и...

— Это плохо, сынок. Плохо, что ты уже тоже в очках. Ты же был такой молодой! Какие очки, безумное дело?! Ты что, ничего не видишь?

— Читать не могу.

— Все нормально — будешь читать. Сейчас мы пойдем и купим тебе очки.

— Нужен же рецепт, нужно заказать, потом сделать, а я тут всего три дня.

— Все нормально! Сынок! Заказать — это безумно дорого. Мы купим готовые. Это Америка! Здесь решаются все пазл. Через час ты будешь читать. А у тебя что, нет каких-нибудь других очков?

Я прерываю наш диалог. Я вмешиваюсь в него. Я пытаюсь объяснить дальнейшее. Это наше былое общение вело меня к тому, что я сделал. Это тот Большой смех в Тбилиси позволил мне совершить то, что я совершил.

Я вспомнил, что, собираясь в Америку, я, непонятно на что надеясь, но сообразуясь с летним временем, взял с собой плавки, купальную шапочку и купальные очки.

— Вот! — сказал я. (Я полез в чемодан и предъявил Бобе купальные очки — два продолговатых малопрозрачных стеклышка на широкой туготянущейся резин-

ке, советский дизайн восьмидесятых.). — Вот! — сказал я. — У меня есть другие очки, но я в них ни хрена не вижу.

Боба придирчиво осмотрел предмет.

— Надень, — сказал Боба.

Я надел очки.

— Понимаешь, — сказал я, — я прямо тут же, в аэропорту, купил вот эти очки, но ничего не вижу. Я пробовал — одна муть.

Боба внимательно и серьезно смотрел на меня.

— Сынок! Ты не то купил, — сказал он. — Знаешь, что это? Это для... как это по-русски?.. swimming pool... это для плавать... для бассейна... Дай сюда...

Теперь он надел очки. Наморщив лицо, поглядел по сторонам.

— Ничего не видно. Ужасные стекла. Зачем ты это купил?

Что я мог ответить? Я же не мог сказать, что купил этот странный предмет лет десять назад, кажется, в Ярославле, по случаю, а с собой взял с несбыточной целью купаться в Атлантическом океане в районе Трескового мыса и наблюдать рыбок среди камней.

— Вот видишь, Боба, ничего не видно, — сказал я. — Я в метро ехал, надел их, чтобы посмотреть на схеме, где выходить, и... ни фиги! Ничего разобрать не могу.

— Ты их надевал в нью-йоркском метро? — строго спросил Боба.

— Конечно! Я хотел посмотреть, где моя пятьдесят третья улица, на какой мне выходить остановке.

— Сынок! Ты не мог ничего увидеть. — Боба все еще был в моих очках на резинке. — В них нет optics, понимаешь? Нету этих... диоптрий... Как ты смотрел в метро, я уже понял. Но как на тебя смотрели? Это же для swimming pool очки.

— То-то я ничего не мог разобрать, — сказал я.

В данный момент меня разбирал жуткий смех, потому что Боба сидел в моем номере в гостинице Holliday inn в купальных очках, морщил нос, пытался разглядеть что-нибудь, что разглядеть было нельзя, и НИКАК НЕ ВРУБАЛСЯ В РОЗЫГРЫШ, в КОМИЧНОСТЬ ЭТОЙ СИТУАЦИИ.

— Пошли, сынок! — сказал Боба, и мы отправились покупать очки. В универмаге Боба уверенно прошел между сотней прилавков к искомому нужному. Черная продавщица оскалилась дружелюбно.

— Мисс... плизз... — начал Боба, — ты какие хочешь очки, в оправе? Или одни стекла, знаешь, современные?

— Я не знаю... ну, очки, круглые такие, плюс два с половиной, если у них есть...

— Здесь все есть, это Америка! Мисс... плизз... гив фор ас, фор май френд... эти...

Черная продавщица охотно поощряла Бобу улыбками и междометиями.

— Сынок, ты хочешь стекла или этот... plastic... как по-русски? Пластмассу! Хочешь пластмассу?

— Ну, можно... Надо очки, такие круглые... чтобы смотреть... плюс два с половиной...

— Понятно... Ту энд хаф.. Мисс... плизз гив фор ас...

Чернокожая очаровашка выслушала Бобу, ослепительно улыбнулась и ушла, сделав многообещающий жест.

— Это Америка, сынок! Здесь есть то, что ты хочешь. Что тебе еще нужно? Тут все ваши покупают технику, радио-шмадио, видео... Это у Ираклия... там он продает для вашего напряжения... Тебе надо?

Чернокожая продавщица вернулась и выложила на прилавок десяток женских шляп. Были соломенные, но были плотные, фетровые.

— Мисс... плизз, — сказал Боба. — Уай ду ю... Сынок, она не понимает по-английски, я ж ей все объяснил... Какие шляпы? Пойдем отсюда, сынок!

Продавщица недоумевала. Мы вышли на улицу.

— Глаза — это важно, — сказал Боба. — Для глаз не надо жалеть денег. Универмага не надо. Нужен специальный магазин.

Мы вошли в специальный. Бесплотные прозрачные двери, стекла, оптика, запах дезодоранта.

Молодому человеку с китайским разрезом глаз всего пару минут понадобилось, чтобы по словам и по жестикуляции понять Бобу и удалиться за товаром в перспективу белых полупрозрачных ширм.

— Сынок, ты примерь, приглядишься, если не подойдет, посмотрим другие. Здесь можно взять, поносить, потом принести обратно — не подходит, мало, велико, что угодно — и возьмут как миленькие. Ты не стесняйся.

Серьезный молодой человек принес изумительной красоты футляр.

— Сперва примерь, сынок, — сказал Боба.

Футляр не открывался ни с какой стороны. Серьезный китаец пришел на помощь. Нажал, пригнул, крышка отскочила, и из бархатной постельки выглянул... фотоаппарат.

— Едешь твою мать, — сказал Боба. — Это что ж такое?! Откуда они понаехали? Они не знают английского языка. Ничего не понимают! Пойдем отсюда на фиг, сынок. Надо идти туда, где все выставлено. Сам возьмешь очки, примеришь, покажешь — вот это, я спрошу, хау мач, и все, купим тебе очки. Или жене скажу, Келли, она завтра с тобой сходит и все сделает. А они ж дикари, полно дикарей, ни хрена не понимают ни на каком языке.

* * *

Теперь-то я тоже бросил курить. Опомнился. Время стало такое... Серьезное время стало. Там, за океаном (я предполагаю), там давно уже все серьезно. Это я могу подшучивать: дескать, везде агенты, все учтено, а на деле какие-то прорехи, путаница и полная туфта под солидными вывесками. Там мои шуточки понимания не встречаются. Там люди дело делают, им не до шуточек. Там люди улыбаются — это да! Это такой установившийся способ общения, и к тому же стоматология довольно хорошо налажена — есть что показать. Зубы у большинства в порядке, так что чего не улыбаться? (А что Боба цыкал зубом, так это временно. Это скорее всего отрывка нашего общего прошлого. И к тому же он цыкал только при первой нашей заокеанской встрече, а потом уже не цыкал.)

Так вот, я про то, что там принято при любом начале общения улыбаться. (Что, честно говоря, приятно отличается от нашего угрюмого приступа к разговору.) Но СО СМЕХОМ дело обстоит иначе. У нас смеются, когда видят что-нибудь смешное, то есть почти все время, потому что довольно смешно то, что мы видим. Не обязательно в голос, смеяться можно уголками губ, можно глазами, можно отворотом головы — неважно как! Важно, что смеются ПОСРЕДИ быстро текущей жизни. Даже посреди ругани, грубости, ора и хамства могут неожиданно рассмеяться.

Там иначе. Там смеются в определенное время и в определенных местах. Вот собрались смотреть комедию, деньги заплатили, билеты купили, сели, глядим — тут и смеемся. А чтоб среди бела дня, тем более среди собственного, какого ни на есть бизнеса, это уж увольте. Тут не до смеха.

Сейчас у нас, в связи с бурным развитием капитализма, тоже с этим делом сдвиг наметился. Дела делают серьезно и даже свирепо. А потом с устатку идут глядеть сатирика-юмориста, и тут уж, извините за выражение, ржут по полной от начала и до конца, даже не особо вслушиваясь, об чем речь. Новые люди сами так

и говорят: «Сходим, поржем?». И ржут! И наблюдается то самое соединение, которое раньше называлось — американская деловитость и русский размах.

Я ведь говорил, что Боба и в те, дальние теперь уже времена смеялся крайне редко. Он умел смешить, он был как-то естественно остроумен. Он был язвитель — давал коллегам прозвища, иногда жутко обидные, но такие смешные и точные, что они приклеивались к человеку намертво, уже не отодрать. Но сам не смеялся. В этом смысле он уже тогда был похож на американца. А теперь он по-прежнему не смеется, но уже и не шутит. Боба теперь настоящий американец.

А впрочем, о чем говорим, безумное дело?! Возраст-то, возраст у нас какой?! Какие тут смешки?! Боба очень следит, чтобы в продуктах питания не было холестерина. Я сижу на специальной диете, которая называется раздельное питание. Водку мы оба пьем (когда встречаемся), но как-то без восторга, что ли. А что до сухого вина, то это забытый продукт. «Цинандали» и в продаже редко увидишь. А такие большие бутылки по полтора литра мне и вовсе с тех пор не встречались.

Да-а, дорогие мои, если хотели посмеяться, то... раньше надо было спохватиться.

Кстати, весть пришла оттуда — Боба снимается в **ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ РОЛИ В АМЕРИКАНСКОМ ФИЛЬМЕ**.

Ах, Боба! Дорогой мой Боба! Дай Бог тебе доброго здоровья и долгих лет жизни! И чтобы всегда...!!! И чтобы никогда...!!!

Только б цены на землю не слишком подскочили в штате Пенсильвания!

*San Monino, Villa Debaty,
июль — август 2004 г.*

2. ОСТАНОВКА В ОАЗИСЕ

*«Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали Греческую церковь,
дабы построить на свободном месте
концертный зал».*

Иосиф Бродский. «Остановка в пустыне».

Так много было греков в самолете,
что, может, это даже и не греки —
откуда столько греков?

Ну, а впрочем,
мы тоже ведь не греки, и однако
наш «Боинг» (порт приписки Красноярск),
взяв старт в Москве, имел конечной целью —
Салоники. Придется согласиться,
что это точно — Греция и даже
что это полис ДРЕВНЕГреческий, который
зовется Фесалоники по книгам.

А был июль. И век был двадцать первый
от Рождества Христова. Но не будем

на это упирать. Пора признаться,
 нам довелось бывать в таких краях,
 где скорость жизни вовсе не измерить
 привычным счетом. Хоть и там, конечно,
 есть Новый год — на перемычке
 метелей декабря и января, —
 но это так — формально, а на деле
 им глубоко плевать, кто там родился
 под голубой звездой Вифлеема,
 их счет древнее и неколебимей,
 они и сами уж не помнят, от кого
 все началось, с чего пошло — у них иные сроки,
 иные даты — все свое, а Рождество Христово
 приемлемо, отмечено... и только.
 На этом многоточие...

В июле
 мы прибыли на греческую землю,
 где флаг содержит православный крест.

Итак, мы в Греции!

Оазис,
 в котором нам отведены покои,
 зовется Sani Beach, а полуостров,
 весь целиком, поименован с глубокой древности —
 Халкидики.

Гидесса объясняет: суша здесь
 в Эгейское вдается море
 тремя ветвями, или — здесь привычней
 именовать их пальцами. Наш — Западный —
 имеет имя возвышенное (стоит подчеркнуть,
 оно звучит по-женски, но на самом деле
 оно мужского рода). Имя это —
 Касандра.

Восточнее — второй,
 природой дикою покрытый палец.
 А далее Республика Афон —
 союз монастырей. Веками не ступала
 на эту землю женская нога.
 Да, здесь всерьез проведена граница,
 пусть не свирепая, но строгая. Не каждый
 пройдет ее, хоть он мужчина —
 монах, мирянин или голубой.

Жара, жара. Над Грецией жара.
 Давно уснули боги на Олимпе,
 но вечнозвучные их имена
 звенят, бренчат на благо ИНТУРИЗМА.
 Вот я бреду по улице Антея,
 сворачиваю вверх — на Посейдона,
 по Афродите движется автобус, а Тезей —
 совсем зарос — чередованье

кустов и сосен. Там, за ними,
белеют виллы. Я остановлюсь
и явственно услышу звонкий голос:
«Не трогай, Владик, Леночкин купальник!
Пусть сушится. Иди поешь маслин!».

Да, это дачи
российских богоизбранных семей.
Немного далеко, зато надежно —
охрана не нужна, забор условный —
кусты, решетка низкая, воротца,
покой чужой страны, чужих законов,
спасенье отпрысков, гаремное цветенье
жен юных,
купленных навеки на корню.

«Марина, собери детей! В Ногинске
такого моря нет! Пошли на пляж!
Вот завтра Игорь прилетит с Парижа,
тогда уж и не сдвинуться. Начнется:
зови Петра, отпразднуем прибытие,
нет, убери «Метаксу» эту, я коньяк
и видеть больше не могу,
налей нормальной водки, —

и пойдет...

Давай-ка, собирай детей, Марина.
На пляж, скорей на пляж,
пускай поплещутся пока в Эгейском море».

Я движусь дальше улицей Антея,
всхожу на холм — в подножьи вся лагуна,
многоэтажный высится отель,
левой Marina Sani — яхты, яхты,
скопление ресторанов. А правее —
бунгалос, клетки для уединенья.
Bus shuttle целый жаркий день
подвозит пассажиров, местный транспорт —
без крыши, без дверей, одни сиденья, —
бесшумно поднимает вас на level
2-3-4, там, где легкий ветер
качает занавески на балконе,
но солнце... солнце жарит не на шутку.
И в этом длинном строе
прохладных пятизвездочных жилищ —
оазис!

Да, серьезно, — здесь оазис!

Здесь тридцать лет назад была пустыня,
два домика да несколько гектаров
садов оливковых. Вода! Нужна вода!
Ее здесь не было, а значит,
и жизни не было.

Две тыщи лет назад апостол Павел

шел этим побережьем и дивился —
 «Ну как тут можно жить?!». Ему казалось —
 Господь один поможет, коль захочет,
 чтобы язычники нашли здесь пропитанье.
 Вода! Нужна вода! — У моря
 соленого всегда, всегда проблемы
 с обычной пресной питьевой водой.
 Он шел на Фесалоники и жажду
 мучительную только утолял
 маслинами солеными.

Теперь
 вода пришла! Димитрос Контос —
 шеф-менеджер отелей Sani Beach —
 приветствует прибывших отовсюду! —
 К нам! К нам! Вода пришла! Прошу вас!
 Она течет из кранов днем и ночью!
 Вы моетесь под душем, а мы моем
 посуду вашу, мы водою
 наполним все бассейны голубые,
 мы напоим
 корни громадных пиний,
 толстых важных пальм,
 польем поляны
 зеленых травяных газонов,
 прозрачные беседки обовьем
 почти невероятным фиолетом
 рододендронов.

Найдена вода!
 И дело не в молитве, ей-Богу!
 Не посох Моисея выбил влагу
 из этих опустыневших земель,
 Да нет! Есть более простые вещи!
 Геологоразведка! Прагматичность
 тех, кто вложил в сей берег миллионы,
 расчет толковый, правильный зачин,
 и через 30 лет на пустоте
 построен мир удобства. Димитрос Контос
 шлет нам привет, улыбку, предлагает
 есть, пить, дышать, летать на парашюте,
 скользить на лыжах, покупать манто,
 молиться Зевсу, иль Христу, иль Павлу,
 иль попросту доверить тело солнцу
 и вовсе не молиться никому.

Да, все свершилось! Нету остановки
 в пустыне, потому что нет пустыни.
 Мы победили! Нет социализма!
 Нет бедности! (Поблизости, по крайней мере,
 нет бедности!) И нету ничего,
 чтоб нас могло расстроить в этом рае.

Оазис!
 Здесь не так уж много греков, то есть есть,

конечно, греки, но — из наших,
из Грузии, с Кавказа, из Москвы,
короче, это греки-эмигранты.
Они улыбкивы. Хочу поверить,
что довольны жизнью здесь, на далеких землях
далеких предков.

Вот они нам подают блюда из рыбы,
Вот они желают нам добра,
мы тоже им желаем. Они здесь могут наконец молиться
своим богам. Но молятся ли? Этого не знаю.
Мы все теперь свободны. И теперь...

Теперь так мало греков в Ленинграде,
и так давно от нас уехал Бродский...
Я совершенно не уверен нынче,
что надо бы сломать Концертный зал
«Октябрьский» и на освященном месте
опять построить греческую церковь.
Зачем? И для кого? Иное время.
Прогресс идет, и даже, может стать,ся,
любой из нас вполне имеет право
считаться победителем.

Post scriptum

Вполне нелепое предположение —
быть может, Бог не в храме обитает,
а только лишь в развалинах его?

25 июля 2004 г.

Sani Beach Club, N 346.

Halkidiki.

3. ЯРКИЕ ВСПЛОХИ ХОЛЕРНО

*(Заметки критика Маши Склень
с XXXXIII Международного кинофестиваля в Холерно)*

С разрешения журнала «Мракобес».

Начну с простых цифр.

На одну только пристройку к «Kholerno Movies Palace» гигантской сауны и бассейна организаторами фестиваля было истрачено более 500 000 000 евро.

Только на первом проходе по дорожке славы общая стоимость драгоценностей на прибывших знаменитостях составила два МИЛЛИАРДА, 621 миллион, 441 тысячу, одиннадцать евро, 54 сантима.

Наплыв VIP-персон, гостей, участников и просто любопытствующих превзошел все самые смелые ожидания. Были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Более ДВУХ ТЫСЯЧ полицейских и агентов в штатском не подпускали к сверкающему Дворцу кино вообще никого, пока спецгруппа осторожно снимала пояса шахидов с посланцев Аль-Каиды, проникших в зал до начала просмотров и занявших там первые три ряда. Общий вес изъятой взрывчатки составил ОДНУ ТОННУ, 254 КИЛОГРАММА в тротиловом эквиваленте, что, по расчетам специали-

стов, достаточно, чтобы снести с лица земли Холерно, Солери, Паперно и весь полуостров со всеми прилегающими странами. Это почти на 92 килограмма больше, чем в прошлом году.

Вереница иномарок, подвозивших гостей, протянулась непрерывной лентой от Холерно до Солери на 63 километра. Стоимость бензина подскочила до астрономической цифры 1, 673 евро за литр!

По количеству представленных картин, по обилию работающих круглосуточно баров и ресторанов, по избытку новых, никому не известных звезд мирового кинематографа 43-й Холернский может быть сравним только с 14-м, 21-м, 22-м и 34-м Холернскими же фестивалями.

Ну а теперь к делу!

Еще за месяц до открытия мало кто сомневался, что Платиновую Оливку вручат Спилбергу. Об этом кричали СМИ, об этом говорили в кулуарах. Но когда выяснилось, что Спилберг не посетит Холерно, потому что давно уже ничего не снимает, *игра стала непредсказуемой!*

Председателем жюри, как и в прошлом году, стал признанный мэтр кинематографии Джулиан Броун. Этого эксцентричного седобородого красавца давно уже называют королем сенсаций. Так что и на этот раз от него можно ожидать самого невероятного. (Напомним, что в прошлом году в день торжественного и скандального закрытия фестиваля Джулиан Броун уехал со сцены на велосипеде, заявив, что намерен совершить кругосветное путешествие. Год он был в пути — так по крайней мере сообщали падкие до «жареного» газетенки разных континентов. И вот теперь — день в день! — на том же велосипеде, сверкая своей неотразимой улыбкой, стареющий плейбой въехал в Холерно, чтобы вновь занять кресло председателя.) На брифинге по случаю открытия кто-то из журналистов спросил: «Как дела, Джулиан? Что вы ощущаете после трехсот шестидесяти пяти дней на колесах?» «Соскучился по кино!» — ответил Броун под громовой хохот присутствующих.

Но все это — а, как говорится, ргрос.

На открытии был показан американский блокбастер «More that's seems», по непонятным причинам переведенный на русский как «Конец света».

У нас, в России, картина идет уже около трех месяцев, выпущена на видеокассетах и DVD, имеет громадный успех и принесла немалые доходы всем причастным к ее прокату. Здесь же ее видели впервые — и жюри, и простые зрители, и даже создатели фильма.

Провал ленты был неожиданным и громким. Публика свистела, выкрикивала колкости и плевала в экран. По моему скромному мнению, такая оценка была излишне резкой. Эпизод превращения нашей планеты черт знает во что, в какие-то комки и мотки, смотришь, конечно, с отвращением, но ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ Пар Кин Сона (американца корейского происхождения или, наоборот, — корейца американского происхождения), эти достижения неоспоримы.

Однако факт налицо — «More that's seems» провалился! (Правильный перевод — «Больше, чем кажется». Тоже, кстати, не очень понятно, почему так называется! Что кажется? Кому кажется?.. Ахинея какая-то!) Первый, как говорится, блин вышел комом.

Но дальше пришла очередь надежде испанского кинематографа Гарсии Алькару. И тут все встало на свои места. Секс-символ текущего года Гэрри Чуни (Garry Chounivt) блеснул в очаровательной мелодраме «Negro Huebes» («Черный четверг»), причем, казалось бы, на совершенно банальном сюжете.

Герой фильма Nino в день своего бракосочетания проваливается в бочку с говном. Казалось бы, все пошло к черту — костюм испорчен, запах ужасный, настроение — хуже некуда. Но в результате хитроумных и уморительных qui pro quo герою удается все-таки вовремя прийти к алтарю. Тут оказывается, что невеста сбежала с Roberto, который выдавал себя за кровного родственника Nino, а оказался «кровником», то есть кровным врагом и мстителем. Не находящий себе места Nino влюбляется в другую девушку (в исполнении новой французской звезды Мари Садо), назначает новую свадьбу и снова проваливается в бочку с говном!

Этот сюжет разыгран актерами и режиссером с таким изяществом и с такой изобретательностью, что публика устроила авторам настоящую овацию.

Рядом с «Черным четвергом» как-то потерялись и благопристойный, но лишенный неожиданностей английский фильм «Хачик Туманян» о судьбе армян-эмигрантов на Британских островах, и жесткий, но схематичный немецкий «Ниже нижнего предела» — о малолетних проститутках Гамбурга.

Добротная семейная драма в духе раннего Бергмана была представлена шведским кинематографом. Свен Нордсклеп снял свою картину «Зука» — непереводаемое скандинавское слово, означающее что-то вроде «Клест» — в простом интерьере в центре Стокгольма. Как всегда у этого режиссера, превосходная игра актеров — Брюн Деннисон, Ирма Палмен и другие, безупречная работа оператора — Юхан Юхансон. Но невероятное занудство текста и слишком большое количество крупных планов при очевидной непривлекательности лиц исполнителей делают картину утомительной, а порой даже отталкивающей.

Жаль, конечно, но снова не увидели мы в конкурсной программе кинематографа российского. Единственной русской лентой (вошедшей в ознакомительный показ) была лента Александра Косурова «Матапару Второй».

Как сказано в аннотации, фильм снят на каком-то острове в акватории мыса Горн. Матапару Второй — король или царек этого острова. Фигура реальная, но, судя по фильму, ничем не примечательная. Весь фильм снят одним планом при неподвижной камере. Матапару Второй сидит около окна. Смотрит в окно и моргает. Текста в картине нет. Есть только длинная статья перед финальными титрами о войне Матапару Первого — отца героя фильма — с соседним островом. Упрямство Александра Косурова, ставшее его знаковым и даже культовым феноменом, проявлено и на этот раз в полной мере. Вот, хоть тресни, полтора часа в кадре — окно, Матапару сидит у окна и моргает. Первые двадцать минут даже интересно — чем все это может кончиться? А потом зрители из зала начали выходить. К концу осталось человек пять. А Матапару сидит и моргает. Когда зажегся свет, один из зрителей громко сказал по-английски: «Мне всегда была подозрительна Россия. Но после этого фильма я уже вообще не понимаю, что это за страна. Это что-то абсолютно загадочное и одновременно неинтересное». Возразить ему было трудно.

Однако не осталась незамеченной и реплика Мориса Бризоду. Знаменитый критик и историк кино смотрел картину на кассете у себя в гостиничных апартаментах. После этого Бризоду заявил: «В этом фильме много тайны. В нем все квантовые ритмы нашего СИНЕЮЩЕГО мира. Да мне, — сказал Бризоду, — да мне эти моргания косуровского Матапару куда дороже десятка будущих фильмов Огюста Ренье».

Замечание, прямо скажем, хлесткое. Хотя, как я ни старалась выяснить, кто такой Огюст Ренье, так и не удалось. Никто не имел о нем ни малейшего понятия.

Очередную сенсацию преподнес известный режиссер-маргинал из нью-йоркской «Группы независимых» — Лик Бэсс.

В связи с демонстрацией фильма возле здания Конгрессов состоялись две многолюдные демонстрации. Целых пять километров прошли маршем консерваторы, требуя запретить показ картины детям до десяти лет. С другой стороны, левые, среди которых было много байкеров и хакеров, призывали ограничиться специальным титром в верхней части экрана: «Смотрение данного кадра вредит вашему здоровью». На площади Конгрессов митингующие обменялись выкриками и показыванием друг другу кулаков. Затем обе демонстрации вошли в зал, высоко поднимая свои лозунги и плакаты. В связи с этим просмотр начался с ОПОЗДАНИЕМ почти на четыре минуты, что для Холерно абсолютный нонсенс.

Теперь о самом фильме.

Гений андеграунда на этот раз снял такую гадость, что двух членов жюри с середины просмотра увезли в реанимацию местной больницы.

(Кстати сказать, сейчас крупный международный концерн рассматривает проект строительства СПЕЦИАЛЬНЫХ кинотеатров для показа фильмов этого режиссера. Каждый зритель в таком кинотеатре помещается в специальный скафандр с иллюминатором. Под колпак подается свежий воздух с легкой примесью нашатыря, что дает возможность избежать обморока. Заказы на строительство таких кинотеатров уже поступили из Бельгии, Бразилии и даже Польши. По собственному проекту решила построить подобное здание и Москва (архитектор Центрелли). Вторую копию москвичи решили отправить в Астану, в виде подарка президенту Нурсултану Назарбаеву. Причем интересно, что, как заявил мэр Ю.М. Лужков, на уникальное сооружение не будет истрачено НИ ОДНОЙ КОПЕЙКИ государственных денег! Весь проект профинансируют меценаты и спонсоры.)

Пусть это прозвучит несколько кощунственно, но про сам фильм «Самоеды-2» сказать почти нечего. Да, гадость! Да, порой подташнивает! Но все это мы уже видели у Лика Бэсса в «Самоедах-1». Часть публики откровенно скучала.

Параллельно конкурсным показам оживленно работал и кинорынок. Здесь определились совершенно новые подходы к экономике и производству кино. Я спросила вице-президента Международной ассоциации кинопромышленников и сноуперов (МАКС) Грэга Баски, чем отличается сегодняшний рынок от прошлого.

«Я бы сказал, — сказал господин Баски, — что теперь растет роль долгосрочного планирования. Мы теперь больше смотрим в завтрашний день. Приведу пример. Неделю назад Дэвид Финч познакомился на вечеринке с Линой Кассадэ. Их интимная связь не осталась незамеченной. Вся пресса заговорила о начале возможного романа. И вот уже вчера мы подписали контракт на ДВА МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ (по миллиону на каждого из них) на съемки фильма, где главную роль сыграет их ребенок». — «А когда фильм выйдет на экраны?» — «В 2022 году». — «О-ля-ля! А ребенок будет мальчик или девочка?» — «Несомненно, мальчик. Мы привлекли к этому вопросу внимание астролога и гадалея Моки Ово и имеем его авторитетное заключение. Гонорар астролога составил 1 750 евро, или \$ 3 000 по курсу токийской биржи».

Ну, и несколько слов о ретроспективе, составляющей нашу постоянную гордость. Речь идет о показе фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин». Дело в том, что после сеанса к администрации кинотеатра обратился семидесятирехлетний пенсионер из Антверпена (Бельгия) Кульд Хрэн. Старик объявил, что смотрит сегодня свой любимый фильм ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ раз. Он специально

ездит по всем фестивалям, где обязательно показывают ретроспективу Эйзенштейна. В доказательство Хрэн предъявил аккуратно подклеенные в специальный альбом ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЬ билетов с надписями на разных языках: «Броненосец «Потемкин». Число просмотров совпадает с ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫМ годом, когда происходит действие фильма! Мэр Холерно Тэд Марино вручил Кульду Хрэну специальную медаль. «Делать нечего! — сказал мэр. — Мы должны отметить это событие, чтобы как-то обуздать неумного пенсионера».

Жизнь в Холерно бьет ключом дни и ночи. Не угасает инициатива тысяч корреспондентов, VIP-персон, киноманов и... перекупщиков билетов (которых здесь великое множество!). Стейки и гамбургеры, сэндвичи и омары поедаются сотнями тысяч. Спиртные напитки... — о! О них можно сказать, что они не льются только из водопровода! Что касается наркотиков, то с этим в этом году как никогда строго. По инициативе рок-группы «Puls», бас-гитарист которой Чуки Дэн погиб в прошлом году от передозировки, был проведен даже специальный концерт под девизом «Two hours without drugs!» — «Два часа без отравы!».

Волна за волной накатывают новые звезды экрана, бизнеса, высокой моды и всего того, что составляет сверкающий праздник сегодняшнего мира искусства.

Не обошлось и без курьезов!

Популярный французский эстет, уже упомянутый Морис Бризоду где-то на экваторе фестиваля разразился большой статьей со знаковым названием «Alois, en avant jusqu'a the blu-uing!». Этот франко-английский идиом можно перевести как «Теперь вперед... до посинения!». Статья мгновенно стала бестселлером — все решили, что Бризоду намекает на засилье «голубых» в кинопроцессе. Ответственность собиралась обвинить эстета в отсутствии политкорректности. Назревал скандал. Но тут выяснилось, что матерый волк кинематографа (странное дело!) имеет в виду БУКВАЛЬНО СИНИЙ ЦВЕТ экрана во всех фильмах фестиваля.

Каково же было обнаружить, что Бризоду попросту не снимал синих очков фирмы BULGARI, купленных здесь же в ларьке, и потому ему все казалось синим. Что это было — рекламный трюк или профессорская рассеянность, — так и осталось невыясненным, но дало пищу разговорам, шуткам и желтой прессе.

Другой забавный случай.

На просмотре весьма заурадного аргентинского фильма «Руки в крови» малоизвестная певица и порнозвезда Рина Калатти (кстати сказать, хорошо знакомая россиянам по ее концерту в Кремлевском дворце) вошла в зал, как говорится, в чем мать родила. На ней были только босоножки и чудовищной дороговизны колье, подаренное ей постоянным спонсором Рэем Гротовски. Зал ахнул! Фишка состояла в том, что Рина — новичок в Холерно. Ее попросту не предупредили, что по традиции фестиваля совершенно голой входит в зал только жена мэра Тэда Марино синьора Марино, да и то на ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ гала-концерте! Этой традиции уже более тридцати лет. И все эти тридцать лет во время финала синьора Марино входит в зал голая. Поэтому появление Рины во всей «прелести» ЗА ТРИ ДНЯ ДО ФИНАЛА вызвало буквально бурю возмущения. Некоторые звезды в знак протеста вообще покинули фестиваль.

Но курьезы курьезами, а кинофорум сверкающей колесницей подкатывает уже к своему финалу. Накануне вручения Платиновой Оливки и других премий город гудит, стреляет шампанскими пробками и фейерверками.

Кому бы ни достались награды, победило КИНО, которое всегда живо, которое делает нашу жизнь ярче и осмысленнее.

Завтра!

Завтра мы скажем с горечью и благодарностью:

ПРОЩАЙ, СОРОК ТРЕТЬЕ ХОЛЕРНО!

ЗДРАВСТВУЙ, ХОЛЕРНО СОРОК ЧЕТЫРЕ!

Маша Склень,

Холерно — Солери.

(Специально для журнала «Мракобес».)

4. ОСЕННИЙ ПОЛЕТ

Солнечным ноябрьским утром я улетал в Эдмонтон. Шел третий год после Великого разбоя, и контроль на входе в аэропорт был подробный и раздражающе чуткий. Меня заставили снять сперва пальто и шарф, потом пиджак, потом ботинки. Приказания были четкими, но мне-то все равно — слов я не разбирал и ориентировался на жесты молодой чернокожей женщины: «Да, да! Снимайте, снимайте ваши ботинки... расшнуровывайте!». Я разложил свои вещи в пластиковые ванночки и отправил их по транспортеру в рентген-машину, вслед за моим портпледом. Без каблуков я стал ниже ростом, и носки были не первой свежести. Это унижало. Раз за разом я проходил через блестящие воротца. Звякало, как мне казалось, в соседнем отсеке. Но черная женщина вежливо и равнодушно говорила что-то на непонятном языке и возвращала меня на исходную точку. В руке у нее была черная палка с мембраной. Она элегантно жестикулировала этой палкой, как бы предупреждая, что может пустить ее в дело, но пока ко мне не прикасалась.

Было шесть утра. Я поднялся в четыре и теперь думал о том, во сколько встала с кровати эта черная женщина... как давно началась ее смена... как далеко живет она от аэропорта... есть ли у нее муж или любовник... какого он цвета... Я подумал о том, что в Москве сейчас два часа дня, но почему-то никак не мог сообразить, какого дня — вчерашнего или завтрашнего. Солнечным я назвал это ноябрьское утро, потому что потом, когда рассвело и мы уже были на высоте десяти километров над землей, солнце сверкало недопустимо открыто и беззащитно. Но это потом, над тысячекилометровым ледяным полем. А в пять утра, когда бывший еврейский человек из бывшей Молдавской ССР, а ныне старый водитель такси с канадским паспортом вез меня по бесконечному городу Торонто, был серый, почти непрозрачный воздух и выпрыгивающие из него фары встречных машин.

Брюки мои крепились на подтяжках, но подтяжки (голландские) держали плохо. Поэтому я надел еще и ремень. Теперь — без пиджака — я обнаружил для всех эту нелепость — и подтяжки, и пояс. Это унижало. Очки и футляр от них, авторучки, ключик от чемодана, сданного в багаж, и часы я уложил в малую ванночку и слегка катнул ванночку по гладкому пластику другой женщине — в очках, в форменном берете и в ослепительно белой блузке. Она близко глянула в стекла моих очков, а потом все-таки открыла футляр. Там было пусто. Она щелкнула замком футляра и посмотрела на меня одобритительно. Взгляд ее мог означать: «Вот видите — значит, можете, когда хотите!».

Еще два раза я прошел в носках через воротца и обратно. Звякало. Мне упрямо казалось, что это не у нас, а рядом.

Я выковырял мелочь из заднего брючного кармана и выложил на столбик возле транспортера. Звякало.

Потом, однажды, не звякнуло. Черная женщина, страстно прижимаясь мембраной, провела палкой по всем частям моего тела. От всех частей шел гул. Она приказала развести в стороны руки и ноги. Гул был.

Черная женщина бросила короткую фразу высокому толстому охраннику, потом вдруг перестала мною интересоваться и шагнула к следующему.

Я остался полураздетый посреди огромного сверкающего зала и множества моих вещей, лежавших кучками в серых корытцах, брошенный всеми, даже черной женщиной. Это унижало.

* * *

Выход С-41 оказался ближе, чем я думал. Сто с лишним человек расположились на серых чистых диванах. Все сто были хорошо умыты несмотря на ранний час. А если кто и не был умыт, то это носило принципиальный, ритуальный характер, и потому все равно вписывалось в общую стерильную атмосферу. Человек пять индусов в чалмах — живописные и бородатые. Старые индусские женщины в шароварах и сандалиях. Две индусские же молодухи с колечками в ноздре. Белая девушка, тоже с колечком в ноздре, с токи-уоки в ушах, кусающая яблоко и читающая книгу (длинные ногти, большой рюкзак, надорванные по моде джинсы). Женщина-инвалид в кресле на колесах (за спинкой кресла очень важный и независимый служащий аэропорта). Греко-православный священник в рясе с большим крестом.

Люди в надувных северных куртках с каким-то сложным, необычной формы, багажом. Двое в майках. Один в шортах. Две матери с колясками и с младенцами. Остальные без лиц. И я в их числе. Мы летели самолетом дешевой компании Gets go.

Люди молчали.

Говорил в микрофон дежурный-гомосексуалист. Говорил много, говорил, сладко улыбаясь, говорил настойчиво и абсолютно непонятно для меня. Тревожило то, что в его речи даже не мелькало слово «Эдмонтон» — пункт нашего назначения. Я вслушивался... — не мелькало. Или он произносил его как-то особенно, что я не мог разобрать?

Я пытался читать детектив, но дело не шло. Мешало чувство... как бы это определить?.. чувство, что я не на своем месте. Вот такое чувство, что не надо бы мне лететь солнечным ноябрьским утром в город Эдмонтон. Или надо лететь, но не мне... Или, наконец, мне надо лететь, но не в Эдмонтон, а в какое-то другое место.

Вот такая история — сотня разных людей на своем месте, а я один — случайный. Пожилой, неловкий, знаменитый в своих, неведомых тут никому, краях, а здесь — совершенно комический персонаж с громадным дурацким портпледом.

Вспоминался стих-хокку моего сошедшего с ума друга Володи С.:

«Хочу в Америку,
Но я подозреваю, —
Мне не хера там делать».

* * *

Вчера итальянская жена Mikhail'a Catharina спросила:

— Что вы будете делать в Эдмонтоне?

— Давать концерт, — ответил я.

— С кем?

— Один.

— А где ваш инструмент?

Она точно знала, что я не пианист, и потому задала такой вопрос.

— Инструмент? Вот! — я показал на свой рот.

— Будете петь?

— Буду говорить.

— A-a! One man show?! — догадалась она.

— Yes? I do.

— Какую же story вы будете рассказывать? Вы уже знаете, про что вы будете говорить?

Я сказал:

— Разные истории. В стихах и в прозе. Три часа подряд.

— Ого! Три часа! — сказал Mikhail.

Майкл — это Миша, ровесник и сосед моей дочери. Наши семьи жили рядом в большом доме напротив гастронома «Здоровье» на Московском проспекте в Ленинграде. Дети вместе гуляли, играли во внутреннем дворе с чахлой, но все же зеленью. Детям было три, четыре... пять лет. Теперь, в свои тридцать, Mikhail сохранил отчасти русский язык, но он был ему неудобен.

— Кое-какие истории для концерта я написал сам, — сказал я.

— Вы написали? — вежливо удивилась Катя. — А по-английски это можно получить?

— Нет, — сказал я и показал свою последнюю книжку. На твердой обложке был мой портрет. Называлась книжка «Попытка думать».

Майкл сказал:

— Катя тоже хочет написать книжку, но нету времени. Голова болит, сколько у нас дел. Мы еще хотим ребенка, но пока не получается. Знаешь, — продолжал Майкл, — я бы с удовольствием почитал твою книжку, но это долго. Одна страница целых два дня. Это мама может почитать. Я уже нет.

В книжку были вложены фотографии его отца. Я вынул их. Юра стоял на берегу озера. Был ветер. За его спиной на флагштоке развевалось полотнище с кленовым листом. Лицо Юры было бледное. Почти белое. На другой фотографии мы стояли рядом с ним возле шхуны, положив друг другу руки на плечи.

Это было год назад. Здесь, в Торонто. Юра заболел, но держался очень мужественно. Мы ездили с ним по его делам. Он проверял поставки, собирал деньги с клиентов и везде получал, кроме денег, разные вкусные булочки и круассаны. Мы их надкусывали.

Специальностью Юры были добавки для пекарен, необходимые, чтоб хлеб не черствел и имел разные вкусы — на выбор. Сам Юра эти добавки не делал. Даже не знал, как они делаются и где. Он знал, кто ими торгует и кто покупает. Был Интернет, был E-mail, был телефон.

— О, нет, никаких погрузок, никаких камьонов. У меня всего один вэн, так, для мелких пакетов. Но, но, я дистрибьютер и только дистрибьютер. Я с утра до ночи бизи, я работаю с кастомерс, мне этого хватает во как! — говорил Юра.

Он очень мучился. Последние два месяца он был неподвижен. Жена кормила его, поворачивала, обтирала. Левая рука совсем не двигалась. Правой он гладил ее голову и не отпускал от себя. Боли были ужасные. Он очень стыдился своей беспомощности. Он все понимал. Только в последние две недели сознание затуманилось, и он стал терять нить разговора.

* * *

Мы с Мишей приехали на кладбище в самом конце светлой части короткого осеннего дня. Было часов пять. Камни на всех могилах были одинаковы. Серо-белые, метр двадцать на 60 сантиметров. Выгоднее и рациональнее брать двойной камень — для умершего супруга и для себя, в запас. Надпись будет на одной поло-

вине, а вторая пока будет чистая. Дожидаясь. Надписи по-английски и на иврите. Это еврейское кладбище.

Юра не знал иврита и никогда не хотел ехать в Израиль. Один только раз я видел его в кипе — на фотографии, на свадьбе Миши и Кати. Он был похож на Марлона Брандо в «Крестном отце». Кипу почти не было видно. Только если приглядеться. Это было почти тогда же, когда мы фотографировались возле шхуны — год назад.

А теперь, пока камень еще не поставили, от Юры не было ничего. У нас на свежую могилу обязательно насыпают холмик и ставят фотографию. Здесь это не принято. Ровная земля со следами того, что тут рыли. Поваленный ветром ящик с цветами и колышек с дощечкой — имя, фамилия, дата смерти — ровно месяц назад. На кладбище безлюдно и очень чисто.

Я положил свои цветы к колышку. Я сказал Майклу:

— Встань сюда, я сфотографирую тебя у могилы, а то... что же так... без всего...

— Если ты хочешь... — сказал Майкл и присел на корточки возле колышка.

Аппарат сработал без вспышки. Значит, света было еще достаточно.

* * *

Мы ужинали вчетвером — вдова, сын, невестка и я.

— Что будешь пить? — спросил Майкл.

— Водку. Поминать надо водкой. У вас есть водка? — спросил я официантку.

— Водка?

— Да, водка. Есть водка?

— Конечно... — она очень удивилась.

Мы ели закуски, потом луковый суп — ресторан был французский, — потом принесли второе. Большая тарелка была раскаленная и обожгла мне пальцы, а мясо на тарелке еле теплое. Водки все не было.

Майкл позвал хозяина.

— Мы просили водку, — сказал он.

— О-о-о! — хозяин взмахнул руками. — Момент! Нужно, чтобы она была ледяной! Это так!

Я сказал Майклу:

— Скажи, чтоб не тянули резину.

— Какую резину? Куда тянуть ее?

— Чтоб водку сразу принесли... Сколько времени ждем... — Во мне бурлило раздражение. — Да! Еще скажи ему, чтоб не смели класть лед в водку!

— Не кладите лед в водку! — сказал Майкл и спросил у меня: — Почему ты думаешь, что они положат лед в водку?

— Я уже нарывался. Знаю я их. Ничего не понимают...

Хозяин принес две плоские рюмки в виде розочек. В рюмках была водка, грамм тридцать. На краю розочек были прицеплены кусочки лимона. Я снял свой лимон.

— Помянем, — сказал я. — Юра успел, — сказал я. Он достиг всего, о чем мечтал тогда, в Ленинграде на Московском проспекте. Меня поразило, что он мог так четко сформулировать свои мечты. А теперь я поражен, что он смог все это осуществить, все пункты своей ясной программы. Мы гуляли с ним ночью. Моросил дождь. Мы не рисковали говорить на эти темы в квартире — ни у него, ни у меня. А на улице, в темноте он шепотом рассказал мне план своей жизни. Он говорил: «Брат Лины Додик будет знаменитым хирургом в Штатах, мы будем жить в Канаде, я заведу собственное дело. Выучим английский. По-настоящему. Будем постоянно заниматься. С русской диаспорой мне не по дороге. Я буду работать с

американцами. Миша и Марина получают хорошее образование и будут чувствовать себя в Канаде, как дома. В театр мы здесь ходили и там будем ходить — купим абонемент и будем с Линой каждую неделю глядеть спектакли на английском языке. Я Ленинград буду помнить, а Марина, Миша... они... как захотят... имеют право. Они будут настоящими канадцами». Он успел. Он все сделал, как хотел.

Я поднялся, и все встали. Мы выпили, не чокаясь. Все сбылось. Свершился великий план, который тогда, в конце семидесятых, казался невыполнимым.

* * *

Канада большая. Мы летим уже три часа. Под крылом освещенная солнцем снежная пустота. В Торонто и намека на снег не было, а тут тысячи километров ледяных рек, невысоких заснеженных хребтов и просто белой пустоты.

До Эдмонта еще час. Это, стало быть, путь примерно, как от Москвы до Красноярска. Ничего себе! От нас кажется, что тут, на Западе, все маленькое, а на самом деле...

От них, наверное, мы тоже кажемся маленькими. И наши расстояния, которыми мы так гордимся. И наши страсти, которые нам представляются небывало горячими и кипучими...

Я и сам теперь сомневаюсь, какую же story смогу я рассказать зрителям в Эдмонтоне, этим решительным людям, изменившим свою жизнь, сменившим полушарие, какую STORY смогу рассказать я им, чтобы они поняли, зачем я заглянул сюда к ним.

Нет, но что удивительно... — никакого холмика на могиле... Даже маленького возвышения нет. Просто ровная земля.

Канада. Осень

Семён Липкин

Три земных поры

«Когда человек умирает, / Изменяются его портреты», — писала Ахматова. В обыденном смысле несколько изменился и портрет Семёна Липкина. Трудно было бы себе представить, что педантичный, предельно аккуратный, неукоснительно соблюдающий распорядок дня, знающий место каждому предмету, никогда ничего не ищущий, поскольку ничего не теряющий, Семён Израилевич оставит после себя такой неупорядоченный архив. Вот уж, действительно, он как бы вторил Пастернаку: «Не надо заводить архива, / Над рукописями трястись». Но стихотворение «Быть знаменитым некрасиво», как мне думается, мог написать только знаменитый поэт.

Совсем иначе складывалась поэтическая судьба Липкина. Его многие годы знали и читали как переводчика эпосов народов СССР и классической поэзии Востока. А его оригинальные стихи, едва начав, прекратили печатать в начале тридцатых, да и опубликовано было к тому времени всего несколько стихотворений. Как оригинальный поэт Липкин был известен лишь узкому кругу литераторов. Талант его оценили в его юные годы Багрицкий и Мандельштам, а в зрелые годы — Ахматова, Заболоцкий, Платонов и Василий Гроссман. Борис Слуцкий, любивший поэзию Липкина, способствовал выходу в свет его первого сборника «Очевидец». Эта книга вышла в крайне урезанном виде в 1967 году, когда поэту было уже 56 лет. Да и могло ли в те годы издательство «Советский писатель» издать в достаточном объеме произведения поэта, религиозного с детства и, возможно, в силу этого говорящего о мире, времени и о себе открыто и ясно? Семён Израилевич и в частных разговорах всегда подчеркивал, что не терпит в изящной словесности темнот и туманностей, не признает таинственностей, ибо сама по себе поэзия есть тайна.

В начале 1980 года Семён Липкин в связи с участием в неподцензурном альманахе «Метрополь», в знак протеста против исключения молодых составителей альманаха Евгения Попова и Виктора Ерофеева из Союза писателей, вышел из этого союза. Судьба круто изменилась как в худшую, так и в лучшую сторону. С одной стороны — запрет на профессию, всякого рода преследования и гонения. С другой — неслыханное счастье: наконец-то выйдут в свет, пусть и за океаном, его стихи и поэмы! Издательство «Ардис» в 1981 году издает «Волю», составленную Иосифом Бродским, в 1984-м еще один поэтический сборник — «Кочевой огонь». А в 1991-м, слава Богу, уже на родине увидело свет избранное Липкина «Письмена». И как был счастлив Семён Израилевич, когда в 2000 году издательство «Возвращение» напечатало «Семь десятилетий» — почти все, что он к тому времени написал стихами за семьдесят лет жизни.

Ныне издательство «Время» подготовило полный свод поэзии Семёна Израилевича, названный, как и его первый сборник, «Очевидцем». Но эти стихи, которые представляются читателям «Знамени», войти в книгу уже не успеют, — «Очевидец» к началу 2005 года уже, надеюсь, будет на прилавках книжных магазинов.

Здесь я не стану говорить о прозе Липкина. Но о том, как мечтал Семён Израилевич о переиздании его прозы — художественной и мемуарной, не упомянуть просто не в силах. А вдруг какой-нибудь издатель прочтет это мое предисловие и захочет переиздать в двух томах прозу Липкина?!

Но вернусь к разговору об архиве, как бы изменившем портрет поэта после его жизни. Никаких дневников. Несколько записных книжек, где стихи разных лет перемежаются корот-

кими записями адресов и телефонов, а также краткими дорожными заметками и рассуждениями. На осенние пожелтевшие листья похожи и кипы плохо, вразнобой собранных машинописных страниц, некоторые — от руки. Такое впечатление, что Семён Израилевич относился к своим стихам спустя рукава, ничуть себя как поэта не ценил. Но это впечатление разрушают не только, скажем, строка-заклинание своей поэзии «Чтобы остаться как псалом» или же скромное «Я всего лишь переписчик / Он диктует — я пишу». Но кто диктует? Господь Бог! А к Нему, а, значит, и к Его переписчику Липкин не мог относиться несерьезно. О том, как серьезно относился поэт к написанному им, свидетельствуют и разбросанные по разным папкам многочисленные оглавления книжек, которые он составлял с юношеских лет. Однако ни одной рукописной книжки не осталось. Эта же публикация выбрана из разных по годам записных книжек и уцелевших страниц. Многие стихи, указанные в оглавлениях, наш драгоценный поэт и вовсе не сохранил. Казалось бы, именно тот, кого так долго не публиковали и кто был в повседневности тщательно аккуратен, должен был с особым тщанием сохранять свои рукописи и трястись над ними. Так не случилось. Это в основном касается стихов раннего периода. Почему? И можно только предполагать, что именно — из отчаянья, из неверия в то, что стихи когда-нибудь дойдут до читателя. В записной книжке военных лет нашлось дивное лирическое стихотворение «На пароходе». Семён Израилевич, прошедший всю войну от Кронштадта и Сталинграда, в начале 1967 года, когда мы встретились с ним на всю жизнь, много говорил мне о своей давней фронтовой любви, но этого стихотворения мне никогда не показывал.

Что же касается неопубликованных стихов восьмидесятых-девяностых годов, то он их, видимо, просто забыл отдать в печать, занятый своей прозой и увлеченный переводом древнейшего эпоса «Гильгамеш». И я их непростительно запомнила, ведь каждое, свежее испеченное, как выражался Липкин, стихотворение он мне тут же прочитывал по нескольку раз. Писал же Семён Израилевич чаще всего на ходу, обкатывал строки в уме, а уж потом переносил на бумагу. Еще он рассказывал мне, как ему пишется: стихотворение виделось (именно «виделось») сразу и целиком, он почти точно знал, сколько будет строф, и работа над словом происходила уже внутри увиденных строф и услышанной музыки.

Господь даровал Семёну Израилевичу длинную жизнь и долгую муку непечатанья.

Инна Лиснянская

МИР

Мир в отрочестве был не в облаках,
А на земле, как наш огонь и прах,
Невидимый, таился как бы рядом
С дворами, где мешались рай и срам,
Где шушера теснилась по углам,
А краденое прятали по складам.

И сладок нам казался переход,
Когда мы видели на хлябях вод —
Нет, не дыханье, — тень его дыханья!
Не часто в жизни думали о нём
И, умирая, знали: не найдём
Гудящего бок-о-бок мирозданья.

Тот мир не то чтоб так уж и хорош:
В нём та же боль жила, и та же ложь,
И тот же блуд, безумный и прелестный,
Но был он близок маленькой душе
Хотя бы тем, что нас пленял уже
Одной своей незримостью телесной.

В БОЛЬНИЦЕ

Я умираю в утро ясное,
Я умираю.
И смерть, смерть старчески-прекрасная
Садится с краю.

Она совсем, совсем, как нянюшка.
Мелькают спицы.
Я тихо говорю ей: — Аннушка,
Испить... водицы...

Вот кружка медная царапает
Сухие губы,
И на́ душу мне капли капают,
О, душегубы!

И чудятся мне пташки ранние,
Луга, болота
И райских дворников старания
Открыть ворота.

1929

В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ

— Будь нежным, голос мой, будь неземным, —
Душа бормочет, замирая.
Вот сети сушатся. Землянки дым
Чернит покровы молочая.

Четыре кирпича — костер и печь.
Золой, наверно, пахнет ужин.
На берег селятся две тени лечь
От вечеряющих жемчужин.

Зачем девчонка рыбу потрошит?
Обиду заглуша земную,
— Будь нежным, голос мой, — душа велит,
Играя с мыслями вслепую.

...Я вижу блеск её холодных глаз,
Передающийся подругам.
Корзины в сторону — бесчестить нас
Они уселись полукругом.

Я вижу торжество твоё, нужда.
Но, просветлённый и нежданный,
Будь нежным, голос мой, как никогда,
Дыши, казалось, бездыханный.

1932

ГОРОДУ НА МОРЕ

*Doch hängt mein ganzen Herz an dir,
Meine graue Stadt am Meer.*

T. Storm

Где же страшные вывески меховщиков?
Клейкий запах столярной? Цирюльни альков?
Часовых мастерских паутина?
Где ж турецких пекарен цукатный дурман?
Золотые сандалии тучных армян?
Как мне скучно вдали карантина!

Ты, красавица, нынче как будто не та:
Неприметна родня моя вся — нищета,
Запах моря на старом погосте!
Где ж латальщики, сгорбленные до зари?
Не скрипите подводами, золотари,
Янтари не рассыпьте в замостье.

Я хотел бы, прибывши часам к десяти,
По твоим цеховым переулкам брести,
Никому не известный приезжий.
Только март начался. Задышало весной.
Пахнет мокрым каракулем воздух дневной,
Свежей тиной морских побережий.

1931

МУЗЫКА

Флейту я не слышал городскую,
Но я верю в её бытие,
Ибо музыку знаю другую,
И загадочней свойства её.

Говорят... я не помню преданья,
Но учёного память хранит:
Он играл — это были рыданья
Бледных, запертых в колбах сильфид.

Нет, не звук — очертание звука.
Морем выступит, встанет стеной,
И чужая неясная мука
Этой музыки станет родной.

Вспомнишь: нерасторопный прохожий
Загляделся на вывеску — вдруг
С чем-то схожий и всё же несхожий
Нежный голос — блаженства испуг.

И целует, и нежит, и носит,
И поёт, — но пройдёт колдовство, —
Засмеёт и, как женщина, бросит...
Это длилось минуту всего.

И не знаешь, что ж это такое:
 То ли шёпоты пыльных вершин,
 То ли вашу мечту за живое
 Неуклюже берёт Бородин.

1933

ПИСЬМО В СТОРОНУ ПОНТА

Михаилу Скалету

*Долго беседу веду с любезными сердцу друзьями
 Овидий. Письма с Понта*

Только невежд рассмешить Скалёта фамилия может,
 Знающим слышится в ней венценосной Венеции речь
 Или Толедо. Когда иду я кладбищем еврейским,
 Повесть скитальческих лет в фамилиях тех мертвецов
 Мне открывается: вот — смотрю — Малой Азии отпрыск,
 Явно голландец другой, а третий — Германии сын.
 Далее дети Литвы, белорусских, польских местечек,
 Русь и Кавказ говорят окончаньями «швили» и «ов».
 Был твой отец меховщик, и вывески на Ришельевской
 Золото выпуклых букв горело, когда поутру
 Мимо я в школу ходил... Очень рано мать овдовела,
 Трудно ей стало одной меховую торговлю вести.
 Замуж вторично она удачно, казалось бы, вышла:
 Муж — ювелир, и вдовец, и видный мужчина, силач.
 В городе знали: хитёр Паромщик, еврей свиномордый,
 На Дерибасовской он в доме Вагнера лавкой владел.
 В красное мясо лица были вправлены два бриллианта —
 Точечки глаз, но знаток понимал поддельный их блеск.
 С дочерью юной вдовец и с мальчиком-сыном вдовица
 Объединились в семью и квартиру нашли без труда
 В доме у нас, на втором этаже. Вливалась к ним в окна,
 Что против наших окон, весеннего нэпа заря.
 Мы подружились с тобой: ты был крепышом, забиякой,
 Я — созерцателем дня, жадным глотателем книг.
 Ты восторгался моим беспомощным стихоплетеньем,
 Я — сочетаньем в тебе и умницы, и драчуна.
 Нравилась мне и Адель, сестра твоя, нежный подросток
 С зрелостью ранней груди, с пленительной лживостью глаз.
 Позже призналась она, что с умыслом, полунагая,
 Будто Бог знает, о чём в мечтание погружена,
 Передо мною в окне стояла и тайно следила,
 Как я зубрю иль черчу. О, я плохо зубрил и чертил,
 Станным волненьем томим — необычным, мучительным, чудным.
 Было четырнадцать мне, шёл ей шестнадцатый год.
 Только тебе открывал заключённое в ямбы томленье,
 Памятлив был ты и ей читал эти ямбы, смеясь.

1935

НА ПАРОХОДЕ

Черты лица её были, наверно, грубы,
 Но такой отрешенностью, такой печалью сияли глаза,
 Так целомудренно звали страстные губы...
 Или мне почудились неведомые голоса.

Как брат и сестра мы стояли рядом,
 А встретились в первый раз.
 И восторг охватил меня под взглядом
 Этих нечеловечески-печальных глаз.

Она положила слабые руки на борт парохода
 И, хотя была молода и стройна,
 Казалась безвольной, беспомощной, как природа,
 Когда на земле — война.

И когда, после ненужного поцелуя,
 После мгновенного сладостного стыда,
 Ещё не веря, ещё негодуя,
 Неуклюже протянула мне руку, сказав: навсегда, —

Я понял: если с первоначальной силой
 Откроется мне, чтоб исчезнуть навеки, вселенной краса, —
 Не жены, не детей, не матери милой, —
 Я вспомню только её глаза.

Ибо нет на земле ничего совершенней забвенья,
 И только в том, быть может, моя вина,
 Что ради одного, но единственного мгновенья
 Должна была произойти война.

20.08.41. Кронштадт

ПОСЛЕ ИНФАРКТА

Заснула роща сном истомным,
 Лишь рокот слышен отдалённый, —
 То трудится трудом никчёмным
 Дом отдыха белоколонный.

Деревья на зиму надели
 Из снега сделанные шкуры,
 А на снегу, где зябнут ели,
 Чернеют резко две фигуры,

Инфарктник с палочкой таёжной,
 С женою новой, полнокровной,
 Походкой тихой, осторожной,
 Гуляет рощей подмосковной.

Он за женой скользит, сползает
 В овраг, где мягок снег, как вата,
 Затем очки он протирает
 Застенчиво-молодцевато.

Семнадцать лет в тайге он прожил,
И вывез палочку оттуда.
Себя душил, себя корёжил,
И снова жизнь, и снова чудо.

— Послушай, Люда, что такое?
Да что такое, в самом деле?
В застывшем снеговом покое,
Где стыннут сосны, зябнут ели,

Где розовое от мороза
Им небо головы кружило,
Где сумасшедшая берёза
Вдруг почками стрелять решила,

Где валенок следы несмело
Легли на толщу снеговую, —
Под настом теплота запела
Без удержу, напропалую!

Они стоят на снежном спуске,
Внимая песне речки дерзкой,
То плавно плещущей по-русски,
То бурной, как мятеж венгерский...

1957

* * *

ИННЕ

Раскольниковы твои слова грустят,
То яростью сжигаясь, то стыдом,
И сумрачно твои глаза блестят —
Два зеркала, облитые дождём.

И в этом жарком, влажном пепле глаз,
Столь соприродных мирозданиям двум,
Открыл я бред и боль двух древних рас,
Души дремотной бодрствующий ум.

1979

ЛИПА

Вода из тучи грозовой,
Грозясь, никак не выльется.
Трепещет плотною листвою
Моя однофамилица.

Одной заботой занята, —
Чтоб туча отодвинулась,
Чтоб роковая темнота
На лес не опрокинулась,

На той тропе, где жухнет пень,
Местечко есть лукавое:
Не сохнет в самый жаркий день
Болотце медно-ржавое.

Его мне надо обойти,
А надо, так попробую,
Я должен до дому дойти
И не залечь с хворобою.

И липа — ближе, чем родня
Иль чем сестра названная, —
С какою жалостью в меня
Уткнулась, деревянная!

А я пойду и над водой
Падучей или вязкою
Вновь посмеюсь, как молодой,
Согрет медовой ласкою.

Пусть липовый густеет цвет,
Дыша стихом невянущим.
«В ней есть любовь», — шепчу я вслед
За Фёдором Иванычем.

09.08.79

* * *

Зачем же я прячу,
Скрываю, таю
И всё-таки трачу
Отраду свою?

Отраду-отраву,
Чья горечь сладка,
Заботу-забаву,
Чья сладость горька.

А как не истратить?
А как убересть?
Иль законопатить
Шалавую речь?

Пускай задохнётся,
Когда не судьба,
Но если очнётся,
Не будет слаба.

А будут родниться
Друг с другом слова,
Как с небом зарница,
Как с полем трава.

05.10.80

ВДВОЁМ

Из страны раскатов грозовых
Я пришёл к блюстителю живых;

Из страны глупцов, слепцов, хромцов
Я пришёл к владыке мертвецов;

Из страны метельных холодов
Я пришёл к хозяину плодов

И сказал: «Я прожил жизнь, греша,
Но виновна плоть, а не душа.

На меня без гнева погляди,
Кровь сожги, а душу пощади».

Он сказал: «Вчера горел закат.
Я вступил в свой финиковый сад.

Возле пальмы, в ямочках следов,
Косточки валялись от плодов.

Двое смолкли пред моим лицом,
Был один слепцом, другой — хромцом.

— Вор и вор! За страсть к чужим плодам
Вас обоих каре я предам!

Но спокойно возразил слепой:
— Посмотри, слепец перед тобой,

Посмотри на мой потухший взор:
Я плодов не вижу. Я ли вор?

Закричал в волнении другой:
— Как я мог с моей хромой ногой

Влезть на пальму и плоды сорвать?
Разве мне под силу воровать?

Я сказал им: — Слышу ложь словес.
Ты, хромой, слепцу на плечи влез,

Вы, бесчинствуя в саду моём,
Воровали финики вдвоём.

Ты один, но состоишь из двух,
И грешат вдвоём и плоть, и дух».

04.11.81

РАСПАД

Произошёл распад ядра.
И с бешенством большим и ярым
Достигло облако Днепра,
Остановясь над Бабьим Яром.

И тот, кем был когда-то я,
Давно лежащий в яме тёмной,
Увидел: красная струя
Во мрак вонзилась чернозёмный,

И кровью став, вошла в меня,
И мясом остов мой одеда,
И вновь из праха и огня
Цветущее возникло тело.

Я оглянулся: не костей
Сыпучий тлен, не пыль бесполох,
А много женщин и детей,
Отцов и юношей весёлых.

Наверх! Скорей наверх! О нет,
Слои земли нам не преграда,
И нас не мрак изверг, а свет
Обетованного распада!

Мы по Крещатику идём
Средь ламп, зачем-то днём зажжённых,
И видим в ужасе кругом
Ослепших или прокажённых,

И плачем — пожалейте нас,
И руки снова окровавьте!
Стреляйте в нас! Убейте нас,
И памятников нам не ставьте!

09.05.86. *Красновидово*

СУМАСШЕДШИЙ

Сын профессора был сумасшедшим,
Жил на даче круглый год.
Вышел вечером к вишням расцветшим,
Слышит, — соловей поёт.

Очарованный звонким рассказом,
Вдруг почувствовал больной,
Что такой же измученный разум
Бредит в местности лесной.

Пусть грохочет насмешливый поезд, —
Легче мучиться вдвоём:
Тот же бред и серебряный посвист
В сердце слышит он своём.

05.06.80

* * *

О дождя стариковские слёзы,
 О как хочется верить слезам,
 И трёхпалую руку берёзы
 Поднимает земля к небесам,

Чтобы заново с ними наладить
 Им и ей столь потребную связь,
 Чтоб на небе морщины разгладить
 И самой рассмеяться, светясь.

Но калек небеса не жалеют,
 Ни трёхпалых берёз, ни людей,
 Лишь по-старчески плакать умеют
 В час, когда нам не нужно дождей.

<80-е>

КЕСАРИЯ

Кесария, ты не забыла
 Тех, столь разно одетых людей.
 Как недавно всё это было:
 Крестоносцы, а раньше Помпей.

Как недавно всё это было,
 Если зорким глазом взглянуть.
 Преходяща земная сила,
 Вечен духа высокий путь.

Легион уходил с легионом,
 Отступал с отрядом отряд,
 Но под тем же стою небосклоном,
 Что синел столетья назад.

Тот же ров перед мощной стеною
 И театр слепит белизной,
 Но мне кажется: солнце иное
 Да и самый воздух иной.

Там, вдали, замирание зноя,
 Вечность сводится к счёту минут,
 Здесь волна гудит за волною:
 — Вы уйдёте, другие придут.

Но в незримом, неведомом хоре
 Неожиданный слышится гром:
 — Замолчи, Средиземное море,
 Никогда никуда не уйдём!

21.04.91

ТРИ ДОЧЕРИ

Женщина трёх дочерей родила.
Первая трудно и чисто росла.
Даже в пределах извечного зла
Жизнь без неё невозможна была.

Средняя — дочери первой близнец.
Это — основа и это — венец,
Ангел и жница, мечта и стрелец,
Ярость, безумье и счастье сердец.

Мудрой Софии последняя дочь,
Та, что одета в денницу и ночь,
Может легко погубить и помочь,
К телу прижаться — и выскользнуть прочь.

08.06.92. Переделкино

НИКОГДА

Кто вдохнул в меня душу,
Тот со мной до сих пор.
Никогда не нарушу
Давний тот договор.

Только выпрямлю спину,
Долгий сделаю вдох, —
Никогда не покину
Одного ради трёх.

11.04.93. Переделкино

ТРИ БАБКИ

Вот бабушка русской эстрады,
Покуда кассовая.
Светясь и меняя наряды,
Поёт, приплясывая.

Колдуя, лаская, играя,
А речь пророческая,
Шаманствует бабка другая,
Стать стихотворческая.

На площади бабушка третья,
В словах натасканная,
Неистова в дни лихолетья,
Никем не ласканная.

07.04.94. Переделкино

МОГИЛЁВ

Мои две родные тётки
 Были мечтательны, кротки.
 Двоюродные братишки
 Запоем читали книжки.
 От них не осталось и крови
 В захваченном Могилёве.

Миля, врачаха зубная,
 Жила без мужа, страдая.
 Рахиль, моя тётка вторая,
 Девушка полуседая,
 Деточек беспечальных
 Учила в классах начальных.
 От них не осталось и крови
 В захваченном Могилёве.

На площадь, подобие Красной,
 Смотрели окна прекрасной
 Трёхкомнатной квартиры,
 А на балконе кумиры
 На полотне рисовались,
 По праздникам красовались,
 Но и от них в Могилёве
 Не осталось и капли крови.

19.04.95. Переделкино

ЗЕМНАЯ ЗВЕЗДА

Божественная, ты прекрасна
 Безмолвьем твоего лица,
 Ты звёздам неба сопричастна,
 Ты облаками правишь властно,—
 И это не слова льстеца.

Ещё ты в материнском чреве
 Сияла скрытой красотой,
 В травинке в каждой, в каждом древе
 Рождались повести о деве,
 Земною названной звездой.

Но ты свой свет порою прячешь.
 Ты удаляешься? Куда?
 Нам слышен плач. Но ты ли плачешь?
 Кого зовёшь? Кому назначишь
 Свиданье? Кто придёт сюда?

Вернись. Тогда в ночном тумане
 Откроются его врата,
 И горы в снежноглавом стане,
 И волны в грозном океане,—
 Откроется без одеяний
 Твоя святая нагота.

06.12.97

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Каждый месяц на небосводе
Уменьшается луна,
Наконец, в мировом просторе
Исчезает, но видим: вскоре,
Будто чудом, возрождена.

Я скажу о родном народе:
Превращаясь в пепел, в кровь,
Уменьшаясь в смертельном горе,
Исчезает, но чудом вскоре
На земле рождается вновь.

27.5.1998

* * *

Мир в окне — это племя листвы
И высоких столпов белоствольных,
И гуляющих, самодовольных,
Обходящих цепочкою рвы.

Мир во мне — это свойство души,
Это чувство, что близко засека,
Властный голос предсмертного века
В предвечерней, тревожной тиши.

10.8.1999

ЛОРД

В белом фраке, униженный кольцами тёмными,
Лорд не очень-то жаловал близких коллег,
Никогда не общался с чужими бездомными,
Не терпел безымянных нерях и калек.

Так случилось: ходил он с годок искалеченным,
(Наскочил малолетка велосипедист),
Но потом целиком оказался излеченным,
А красив, до чего же красив и казист!

Как всегда, он махал пред двуногими хвостиком,
Притворяясь хромым ради их пирогов,
Впрочем, он даже в юности не был агностиком,
И охотней богинь почитал, чем богов.

Вот в садочек выходит хозяйка с тарелочкой,
Он виляет, хромает: гляди, пожалей!
Как-то свадьбу сыграл с рыжеватой целочкой,
И она понесла под навесом ветвей.

Мимоходом целует её снисходительно,
Счастье входит в глаза её так глубоко,

И ложится жена на него упоительно,
Рыжей лапкой погладит, укусит ушко —

И сползает. А Лорд с горделивою важностью
На траве растянулся, супруга — у ног,
И трава, после дождика, радуется влажностью, —
Так приятна она в жаркий летний денёк.

16.5.1999. Переделкино

* * *

Как всегда, перед завтраком вышел
Погулять, — вот и все дела,
И от встречного слово услышал,
Уколовшее, как игла.

Это слово не месть Немезиды,
Но оно овладело мной,
Мной, столь чуждому чувству обиды,
Мне оно — как зерну пережной.

21.07.98

ДРОБЬ

Поняв: ты родом из дробей
С огромным знаменателем,
Ты поумнел. Так не робей,
Представ перед читателем.

Ты в гуще многих наособь
Держись как неотмеченный:
Вдруг станет маленькая дробь
Потом очеловеченной.

И если знаменатель твой
Негаданно уменьшится,
Удаче, женщине пустой,
Не смей на шею вешаться.

23.12.1997

* * *

Молодые несли мне потёртые папки,
С каждым я говорил, как равнин в лисьей шапке,
А теперь, отлучённый, нередко унылый,
Хорошо различающий голос могилы,
Я опять начинаю, опять начинаю
И, счастливый, что будет со мною — не знаю.

27.05.80

Леонид Рабичев

«Война всё спишет»

Несколько фрагментов из книги воспоминаний о войне

Спустя шестьдесят лет пишу то, что выплывает из памяти, не всегда и не обязательно последовательно, не все могу понять, ничего не могу оправдать, иногда догадки, иногда прозрения, вряд ли это объективная картина войны, это только то, что попадало в поле моего зрения, отдельные страницы фронта и тыла 31-й армии, сражавшейся на Центральном, Третьем Белорусском и Первом Украинском фронтах, калейдоскоп нескольких аспектов жизни: исповедь, счастье, позор, покаяние, мемуары, дневники, письма.

КАПРИЗЫ ПАМЯТИ

Лет двадцать назад собрал я в своей творческой мастерской проживавших в Москве восемь бывших своих связистов. Пили водку и вспоминали.

— Жалко, Жуков не пришел, — сказал Марков.

— Ты что? — сказал Денисов. — Жукова я под Оршей хоронил.

— Да ты что? — сказал Марков. — Я после войны из Венгрии в Москву его провожал.

— А переправу через Неман помнишь?

— Нет.

— А Гольдап?

— Нет.

— А Ирку Михееву?

— А как же, я с ней...

— А Веру Семенову?

— А как же, я с ней...

— А я с Танькой Петровой...

— Где? — Молчание.

— В Любавичах? В Сувалках? В Левенберге?

Помнили имена женщин, которых любили, друзей, которых хоронили, но абсолютно смешалось в памяти, с кем, когда, где, и то, что рассказывали другие, с тем, что

Об авторе | Рабичев Леонид Николаевич — поэт, график, живописец. Родился в 1923 году в Москве. Старший лейтенант запаса. В 1942 году окончил военное училище. С декабря 1942 года лейтенант, командир взвода 100-й отдельной армейской роты ВНОС при управлении 31-й армии. На Центральном, Третьем Белорусском и Первом Украинском фронтах участвовал в боевых действиях по освобождению Ржева, Сычевки, Смоленска, Орши, Борисова, Минска, Лиды, Гродно, в боях в Восточной Пруссии от Гольдапа до Кенигсберга, в Силезии на Данцигском направлении участвовал во взятии городов Левенберг, Бунцлау, Хайльсберг и других, в Чехословакии дошел до Праги. Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом «Красная Звезда», медалями.

Член Союза художников СССР с 1960 года, член Союза писателей Москвы с 1993 года, автор тринадцати книг стихов, книги мемуаров.

пережили сами. И о каждом событии у каждого была своя версия, исключаяющая все прочие. А я уже думал о мемуарах, но подтверждения того, в чем сомневался, да и просто понимания не находил. То, что их веселило, — меня повергало в уныние.

/ Два ангела с цитатами из книг. / На горизонте города и горы. / Смотрели впрямую на них / с крестов вероотступники и воры. / Речь шла о муках смертных, о слезах, / о наших покаяниях и столах, / но было что-то детское в глазах, / в туниках их и голубых хитонах. / Луч солнца через щель проник в окно, / и тень от них на мне остановилась. / Казалось мне, что тайно и чудно / она с моей рукой соединилась. /

/ О близости и муках в тесноте, / Два с половиной метра, как в пенале. / Потом вагоны, шпалы, звезды, дали, / Под Оршей бег в кромешной темноте, / И каски, и кресты на высоте. / Но я уже забыл, как мы бежали. / Погасли звезды, изменился век. / Существенным в той жизни был не бег, / а близость женщины и отдых на привале. /

/...На качелях времени идущего / В прошлое вернуться из грядущего, / Извлекая бытие из сущего, / Вывести в открытость потаенное. /

ДЕКАБРЬ 1942 ГОДА — МАРТ 1943 ГОДА

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

Трое суток ареста

Вязьма. Руины. Часа два скитался по бывшему городу, наконец на попутной машине добрался до штаба армии. Окончил училище, лейтенант. Устав караульной службы знаю наизусть. Кстати, полгода назад за безобразное его нарушение получил трое суток ареста. Я ночью стоял с винтовкой в карауле у входа в складское помещение училища. До смены караула оставалось часа полтора. Вдруг сначала звук шагов, а потом метрах в двадцати силуэт человека. Согласно устава кричу: «Стой! Кто идет?» А силуэт не отвечает, и до меня уже метров десять. Кричу: «Стой! Стрелять буду! Ложись!» И поднимаю винтовку, взвожу затвор, а он идет, и уже от меня в трех шагах, и молчит. Палец на курке. Решаю стрелять в воздух, но не стреляю. Внезапно узнаю своего командира взвода. Рапортую: «Товарищ лейтенант! На посту номер три курсант Рабичев». А он выхватывает у меня из рук винтовку и говорит: — Вы почему не стреляли? Трое суток ареста.

— Товарищ лейтенант, я же вас узнал!

— Стрелять надо было. Трое суток. — И поднимает тревогу, вызывает командира караула, меня на посту подменяет Олег Корнев, я снимаю ремень, иду на гауптвахту.

А сейчас — блиндаж, у входа на карауле младший сержант, но не стоит согласно устава, а сидит на пустом ящике от гранат, винтовка на коленях, а сам насыпает на обрывок газеты махорку и сворачивает козью ножку. Я потрясен, происходящее не укладывается в сознание, кричу: «Встать!», а он усмехается, козья ножка во рту, начинает высекать огонь. Это приспособление человека каменного века: два кремня и трут — растрепанный огрызок веревки, высекается искра, веревка тлеет, козья ножка загорается, струя дыма из носа. Я краснею и бледнею, хрипло кричу «Встать!», а младший сержант сквозь зубы: «А пошел ты на х..!» Не знаю, как быть дальше, фронт — училище?

Начальник штаба армии

Нагибаюсь и по лесенке спускаюсь в блиндаж. Никого нет, два стола с телефонами, бумаги, две сплюсненные снарядные гильзы с горящими фитилями, сажусь на скамейку. Звонок.

Снимаю трубку одного из телефонных аппаратов. Хриплый голос: «Е... твою в ж..., Бога, душу мать» и т.д. и т.п. Я кладу трубку. Звонок. Поднимаю трубку. Тот же голос, но

совершенно взбесившийся. Кладу трубку. Звоню — поднимаю трубку, тот же голос: «Кто говорит?» И тот же, только еще более квалифицированный и многовариантный мат. Отвечаю: «Лейтенант Рабичев, прибыл из резерва в распоряжение начальника связи армии».

«Лейтенант Рабичев? Десять суток ареста, доложить начальнику связи!» И вешает трубку. Входит майор. Я докладываю: «Лейтенант Рабичев и т. д.», о мате в телефонной трубке, о десяти сутках. Майор смеется. «Вам не повезло. Звонил генерал, начальник штаба армии, а вы вешали трубку, ладно, обойдется, капитан Молдаванов будет через два часа, а пока есть дело. Необходимо привезти карты из топографического отдела армии, вот доверенность».

Лошадь

Он вписывает в готовый бланк доверенности мою фамилию и объясняет, что у третьего блиндажа слева стоит лошадь, чтобы я верхом доехал до деревни Семеново, дорога прямая, на пути речка и деревня, речка и брод, туда — назад, как раз к приходу Молдаванова. — «Есть!»

Прячу доверенность в планшетку. Иду налево, первый, второй, третий блиндаж, смотрю, к обесточенному столбу привязана лошадь, на спине вместо седла подушка, перевязана веревкой. Изумление и недоумение.

Я москвич, никогда верхом не ездил, в училище тоже не научили. Лошадь, а ни седла, ни шпор нет. Попробовал, ухватившись за подушку, подтянуться на руках, подушка поползла вниз, ничего не вышло. Тут увидел на поляне пень. Отвязал от столба уздечку, одной ногой на пень, двумя руками за гриву — и оказался на подушке. Натянул уздечку — лошадь пошла, стукнул каблуками по ребрам — побежала рысью. Каждую секунду меня подбрасывает, никак не могу приспособиться к ритму, то и дело, чтобы не упасть, вцепляюсь в гриву, обнимаю шею лошади, невольно перетягиваю уздечку то вправо, то влево, лошадь вращает головой, останавливается, с тоской смотрит на меня.

Минут через двадцать начинает болеть все между ногами, и я меняю положение, свешиваю ноги в одну сторону, то есть то направо, то налево, верчусь и никак не могу найти оптимального положения.

Дорога упирается в речку. Это брод. Чтобы вода не затекла в сапоги, приходится задирать ноги. Чудом сохраняю равновесие и оказываюсь на другом берегу, мимо заборов и калиток проезжаю через деревню, занятую какой-то воинской частью. Последний километр иду пешком, лошадь веду за собой.

Картографический отдел в тылу, в сохранившейся избе. Привязываю уздечку к забору. Получаю карты. Это довольно тяжелый рулон, килограммов пять. Не догадался попросить, чтобы мне перевязали его, сделали ручку, держу его под мышкой.

Одной ногой на слегу забора, другую перекидываю. Я на лошади. Терплю боль и неудобства. Еду. Вдруг небо затягивает облаками, гром, молния — и ураганный порыв ветра чуть не сбрасывает меня. Двумя руками вцепляюсь в гриву, и рулон падает на землю. От удара лопаются оберточная бумага, ветер подхватывает карты, и некоторые из них уже, как птицы, кружатся в воздухе. Я спрыгиваю с лошади, с трудом, едва успеваю прихвотиться к земле более половины карт. К счастью, рядом оказывается камень, придавливаю камнем, вслед за ветром ловлю, подбираю и в конце концов собираю все разлетевшиеся карты. Оглядываюсь. Лошади нет. Пока я гонялся за своими птицами, она убежала. Снимаю гимнастерку, заворачиваю в нее карты и в подавленном настроении пешком тащусь по направлению к штабу. Деревня. У последнего дома к забору привязана моя лошадь с подушкой. Кто-то из солдат или офицеров части, расположенной в деревне, сумел остановить ее.

Я счастлив. Кажется, мне удастся выполнить мое первое армейское задание. Опираясь на забор, залезаю на подушку, переезжаю вброд через речку, привязываю лошадь к столбу, надеваю гимнастерку, ремень и португепю. Докладываю о выполнении задания.

Два часа командующий артиллерией армии, заместитель его по противовоздушной обороне подполковник Степанцов и заместитель начальника связи армии — капи-

тан Молдаванов думали, что с нами делать. Приказ командующего фронта об образовании при штабе армии отдельной 100-й роты ВНОС они уже получили, но каково будет ее назначение, как она будет организована в условиях первого эшелона армии, не знали. Решение было принято условно.

В мое и Олега Корнева распоряжение передавалось около ста пятидесяти резервистов: пехотинцев, связистов, артиллеристов, бывших лагерников. Половина поступивших из госпиталей после ранения, половина добровольцев и бывших штрафников из резерва фронта.

Вечером из госпиталя после ранений прибыли командир роты Рожницкий и интендант — старший лейтенант Щербаков.

О задачах службы ВНОС в армейских условиях они понятия не имели и целиком положились на меня и Олега Корнева. Штаб роты, состоявший из командира, его ординарца, взвода управления, интенданта, писаря, радиостанции РСБ в машине с тремя радистами, двух верховых лошадей, гужевого транспорта, включавшего несколько телег с лошадьми и солдат при них, парикмахера, портного, а также трех или четырех полуторок с шоферами, повара, обосновался в пустой тыловой деревне Сергиевское.

Нам с Олегом предоставили пустую тыловую деревню за рекой — километра полтора от штаба армии — и одну верховую лошадь.

Уже со следующего дня начали прибывать команды солдат. Через три дня рота была укомплектована и мы начали проводить учебные занятия. Прибыли три офицера: бывший кандидат технических наук старший лейтенант Алексей Тарасов, артиллерист старший лейтенант Грязютин и связист лейтенант Кайдриков.

Они присутствовали на всех наших занятиях и приобретали новую профессию наряду с солдатами.

Каждый взвод теперь состоял из шести постов связи и наблюдения, которые должны были быть размещены на переправах, на господствующих высотах. Армия по фронту занимала восемнадцать-двадцать километров и в глубину располагалась на площади до пятнадцати-двадцати километров. Под нашим наблюдением, таким образом, должна была оказаться вся территория армии со всеми приданными к ней частями. Мы должны были создать свою параллельную систему связи со штабами корпусов, дивизий, аэродромов, отдельных артиллеристских бригад, зенитных подразделений и всех армейских узлов связи.

ПРИКАЗ МОЛДАВАНОВА

Мой взвод

26 декабря 1942 года в 16.00 капитан Молдаванов приказал мне в течение сорока восьми часов проложить сорок километров телефонного кабеля и организовать на высотах в районе деревень Воймерово, Калганово, Каськово, Чунегово шесть постов наблюдения и связи.

Я только месяц назад получил в свое распоряжение из резерва армии сорок шесть пехотинцев. Двадцать два попали в резерв после очередных ранений, человек восемь в составе кадровых частей пережили и Финскую войну, и отступление 1941 года, имели в прошлом по два-три ранения и были награждены медалями, трем было присвоено звание сержантов, а двум — Корнилову и Полянскому — звание старших сержантов.

А двадцать шесть еще вообще пороха не нюхали, попали в резерв из тюрем и лагерей, одни за хулиганство и поножовщину, другие за мелкое воровство. Приговорены они были к наибольшему срокам заключения, по месту заключения подавали рапорты, что хотят кровью и подвигами искупить свою вину. Все они были еще очень молодые, по восемнадцать-двадцать лет, и действительно на войне, пока она шла на территории страны, пока не начались трофейные кампании 1945 года, пока в Восточной Пруссии не столкнулись с вражеским гражданским населением, оказались наиболее храбрыми,

способными на неординарные решения бойцами. Однако были среди них и хвастуны, и люди бесчестные и трусливые, но то невыдуманное чувство локтя и солдатской взаимопомощи, уверенность в конечной победе, то чувство патриотизма, которое в 1943 году царило в армии, заставляло их скрывать свои недостатки: не хотели, да и, вероятно, не могли они быть не такими, как все их товарищи.

Тоталитарное государство, люди-винтики, совки — все это пришло значительно позднее. Тогда же (и это очень важно для понимания тех отдельных коллизий войны, которые я в виде исповеди писал спустя шестьдесят лет) я, невзирая на различие образования, семейного воспитания и духовного опыта, воспринимал их как своих друзей и в какой-то мере, как офицер, как своих детей, в процессе обучения старался передать им все, что знал, читал им вечерами стихи Пушкина, Пастернака, Блока, Библию и драмы Шекспира, и лучших, более восприимчивых слушателей у меня в жизни не было.

Двадцать четыре дня по восемь часов в сутки я обучал их всему тому, чему сам научился в военном училище: телефонии, наведению линий связи, способам устранения обрывов кабеля, устройству телефонных аппаратов и полевых радиостанций, но и строевой подготовке, и владению оружием, винтовками и автоматами, и стрельбе из них по целям. И гранатами меня снабдили, и кидали мы их из укрытия, обыкновенные с ручками, и лимонки, и трофейные немецкие гранаты, и трофейные немецкие автоматы были у нас. Учил их ползать по-пластунски, и уставами мы занимались, и знакомством с немецкими самолетами, и распознаванию их типов по звуку моторов, и работе на полевых радиостанциях. Обучению новичков, безусловно, помогали опытные мои сержанты. Одним словом, за двадцать четыре дня, с большим или меньшим успехом, превратил я бывших пехотинцев, минометчиков и лагерников в связистов. Почти всему они научились, и наступил день, когда получили мы винтовки, автоматы, патроны, гранаты. Но на армейских складах почему-то не оказалось ни необходимых нам пятидесяти километров кабеля, ни зуммерных, ни индукторных телефонных аппаратов. Должны были нам их прислать, обещали, но когда это произойдет, никто не знал.

Именно поэтому приказ капитана Молдаванова 26 декабря 1942 года чрезвычайно удивил меня.

— Товарищ капитан, — сказал я ему, — я не могу через сорок восемь часов проложить сорок километров телефонного кабеля, у меня нет ни одного метра и ни одного телефонного аппарата.

— лейтенант Рабичев, вы получили приказ, выполняйте его, доложите о выполнении через сорок восемь часов.

— Но товарищ капитан...

— лейтенант Рабичев, кругом марш!

И я вышел из блиндажа начальника связи и верхом добрался до деревни, где в тылу временно был расквартирован мой взвод.

Обычная история

В состоянии полного обалдения рассказал я своим сержантам и солдатам о невыполнимом этом приказе. К удивлению моему, волнение и тоска, охватившие меня, не только никакого впечатления на них не произвели, но, наоборот, невероятно развеселили их.

— лейтенант, доставьте телефонные аппараты, кабель через два часа будет!

— Откуда? Где вы его возьмете?

— лейтенант, б..., все так делают, это же обычная история, в ста метрах от нас проходит дивизионная линия, вдоль шоссе протянуты линии нескольких десятков армейских соединений, срежем по полтора-два километра каждой, направляйте человек пять в тыл, там целая сеть линий второго эшелона, там можно по три-четыре километра срезать, до утра никто не спохватится, а мы за это время выполним свою задачу.

— Это что, вы предлагаете разрушить всю систему армейской связи? На преступление не пойду, какие еще есть выходы?

Сержанты мои матерятся и скисают.

— Есть еще выход, — говорит радист Хабибуллин, — но он опасный, вдоль и поперек нейтральной полосы имеются и наши, и немецкие бездействующие линии, но полоса узкая, фрицы стреляют, заметят, так и пулеметы и минометы заработают, назад можно не вернуться.

— В шесть утра пойдём на нейтральную полосу, я иду, кто со мной?

Мрачные лица. Никому не хочется попадать под минометный, автоматный, пулеметный обстрел. Смотрю на самого интеллигентного своего старшего сержанта Чистякова.

— Пойдешь?

— Если прикажете, пойду, но если немцы нас заметят и начнут стрелять, вернусь.

— Я тоже пойду, — говорит Кабир Таллибович Хабибуллин.

Итак, я, Чистяков, Хабибуллин, мой ординарец Гришечкин. Всё.

В шесть утра по согласованию с пехотинцами переднего края выползаем на нейтральную полосу. По-пластунски, вжимаясь в землю, обливаясь потом, ползем, наматываем на катушки метров триста кабеля.

Мы отползли от наших пехотинцев уже метров на сто, когда немцы нас заметили. Заработали немецкие минометы. Чистяков схватил меня за рукав.

— Назад! — кричит он охрипшим от волнения голосом.

— А кабель?

— Ты спятил с ума, лейтенант, немедленно назад.

Смотрю на испуганные глаза Гришечкина, и мне самому становится страшно.

К счастью, пехотинцы с наблюдательного поста связались с нашими артиллеристами, и те открывают шквальный огонь по немецким окопам. Грязные, с тремьями метрами кабеля доползаем мы до нашего переднего края, задыхаясь, переваливаемся через бруствер и падаем на дно окопа. Слава богу — живые. Все матерятся и расстроены. Чистяков с ненавистью смотрит на меня. Через полтора часа я приказываю Корнилову срезать линии соседей, а сам направляюсь на дивизионный узел связи и знакомлюсь с его начальником — братом знаменитого композитора старшим лейтенантом Покрассом.

Мы выясняем, кто где живет в Москве. Я рассказываю ему об Осипе Брике, а он наизусть прочитывает что-то из «Возмездия» Блока. Говорим, говорим. Через час он одалживает мне пять телефонных аппаратов. Ночью мы прокладываем из преступно уворованного нами кабеля все запланированные линии, и утром я докладываю капитану Молдаванову о выполнении задания.

— Молодец, лейтенант, — говорит он.

— Служу Советскому Союзу, — говорю я.

Молдаванов прекрасно знает механику прокладки новых линий в его хозяйстве. Общая сумма километров не уменьшилась. Завтра соседи, дабы восстановить нарушенную связь, отрежут меня от штаба армии. Послезавтра окажется без связи зенитно-артиллерийская бригада. Я больше не волнуясь. Игра «беспроегрешная». Слава богу, связисты мои набираются опыта. Декабрь 1942 года.

10 мая 2002 года

Только что залез в свои архивы шестидесятилетней давности.

Письмо от 11.02.1943

Дорогой папа! Я командую взводом. Бойцы мои в два, а то и в три раза старше меня. Это замечательные, бесконечно работающие, трудолюбивые, добросовестные и очень веселые люди. Любая трудность и опасность превращается ими в шутку. После года военного училища я полностью включился в боевую работу, каждый новый день воспринимается мной, как большой праздник, самое радостное то, что фрицы бегут. Нет бумаги, нет книг, и я не читаю и не пишу. Впрочем, это не совсем так. Нашел в пустой избе Евангелие и по вечерам при свете горячей гильзы читаю своим бойцам. Слушают внимательно.

КАПИТАН ПАВЛОВ

Было, вероятно, часов девять вечера, когда кто-то постучал в окно моего блиндажа. Дверь открылась, и в блиндаж вошел незнакомый капитан. Объяснил, что ехал в свою часть на лыжах, но потерял заметенную снегом дорогу, заблудился и попросил у меня разрешения переночевать. Я же, после того как мы познакомились, пригласил его разделить с нами ужин, а он извлек из рюкзака флягу со спиртом. Выпили за победу. Оба оказались москвичами. Я рассказал ему о своем доме на Покровском бульваре, он — о своем на Палихе, я — о замечательном кружке в Доме пионеров, об увлечении историей и поэзией, о матери, члене КПСС с 1925 года, об отце, награжденном только что орденом «Знак почета» за участие в открытии новых нефтепромыслов и спасении старых, о брате танкисте, погибшем полгода назад под Сталинградом. Он наполнил опустевшие кружки и предложил мне выпить за моих и его родителей. Потом мы говорили о книгах, о Пушкине, Шекспире и Маяковском и незаметно перешли на «ты». Потом усталость взяла верх и мы заснули. А утром капитан Павлов вынул из кармана свое красное удостоверение и сказал, что посетил меня не случайно, а по заданию руководства СМЕРШ, что из вчерашнего разговора он понял, что я советский человек, комсомолец, но совершил ошибку, читал своим бойцам Евангелие, и по секрету рекомендовал мне опасаться моего сержанта Чистякова, который написал в СМЕРШ, что я в своем взводе веду религиозную пропаганду, и предложил мне немедленно бросить в огонь найденную мной в пустой избе книгу, а он в свою очередь бросит туда донос Чистякова, что мне повезло, что бумага эта попала в его руки, а не в руки его коллег. Пришлось мне впоследствии читать моим бойцам журналы «Знамя», стихи Пастернака и Блока, «Ромео и Джульетту» Шекспира. Спасибо тебе, капитан Павлов!

ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ И ДЕВУШКА-ТЕЛЕФОНИСТКА

В феврале 1943 года я по топографической карте выбрал наикратчайшую дорогу от своего западного полутылового поста до штаба армии. Вызывал меня Рожицкий на предмет консультации о передислокации одного из постов в связи с готовящимся началом весеннего наступления.

Лесная проселочная дорога была накатана, неожиданно лес кончился, и перед нами оказалась сожженная деревня, а из трубы одной из землянок шел дым. Мы с Гришечкиным замерзли, решили в этой землянке отогреться, а если обстоятельства позволят, позавтракать. Пять ступенек вниз, дверь, застекленная форточка. В землянке жарко. Бочка, стол, скамейка, нары. Женщина, девушка и девочка радостно потеснились.

Гришечкин вытащил банку комбиджира, крупу... хлеб, занялся приготовлением супа на всех, а я разговорился с девушкой. Оказалась она москвичкой. Работала до войны на телефонной станции. Говорю ей, что я армейский связист, а я, говорит она, окончила техникум связи и все телефонные аппараты знаю, и на коммутаторе работала, возьмите меня с собой, говорит, я воевать хочу с фрицами.

— В мае 1941 года приехала в деревню к бабушке, потом шесть месяцев скрывалась в лесу, землянку вырыла, столько всего было. В двух километрах от нас шли танковые бои, бойцы занесли ко мне раненого лейтенанта, но выходить его я не сумела, и он умер у меня на руках...

Возьмите меня, лейтенант, с собой!

Красивая, смелая, сильная, профессиональная телефонистка.

— Садись, — говорю, — на телегу, через два часа я тебя завезу к начальнику связи армии.

Лес кончился, и передо мною открылась жуткая картина.

Огромное пространство до горизонта было заполнено разбитыми и поврежденными танками, а между танками тысячи стоящих, сидящих, ползущих, заживо замерзших наших

и немецких солдат. Одни, прислонившись друг к другу, другие — обнявши друг друга, опирающиеся на винтовки, с автоматами в руках.

У многих были отрезаны ноги. Это наши пехотинцы, не в силах снять с ледяных ног фрицев новые сапоги, отрубали ноги, чтобы потом в блиндажах разогреть их и вытащить, и вместо своих ботинок с обмотками надеть новые трофейные сапоги.

Гришечкин залезал в карманы замороженных фрицев и добыл две зажигалки и несколько пачек сигарет, девушка равнодушно смотрела на то, что уже видела десятки раз, а на меня напал ужас. Танки налезали друг на друга, столкнувшись друг с другом, поднимались на дыбы, а люди, и наши, и вражеские — все погибли, раненые замерзли. И почему-то никто их не хоронил, никто к ним не подходил. Видимо, фронт ушел вперед, и про них — сидящих, стоящих до горизонта и за горизонтом — забыли.

Через два часа мы были в штабе армии, девушку я завел к связистам, а сам занялся разрешением своих проблем. Вечером увидел ее в блиндаже одного из старших офицеров, спустившего штаны подполковника. Утром увидел девушку в блиндаже начальника политотдела. Больше девушки я не видел.

Ночевал я в гостевом блиндаже. Интендант Щербаков издевался надо мной. Смешна ему была моя наивность.

— Может, она и попадет на фронт, — говорил он, — если духу у нее хватит переспать с капитанами и полковниками из СМЕРШа. Была год на оккупированной территории. Без проверки в СМЕРШе в армию не попадет, а проверка только началась.

А мне страшна была моя наивность. Чувство стыда сжигало меня и спустя шестьдесят лет сжигает.

КУРИНАЯ СЛЕПОТА

У меня во взводе был нерадивый боец Чебушев. У всех были сапоги — у него ботинки с обмотками. Шнурки на ботинках распушены, из-под обмоток торчали штрипки кальсон, почему-то сами собой на ходу разматывались, пояс без тренчиков, шинель без хлястика. Ни одного приказа не выполнял сразу, обязательно задавал вопросы. Зачем? Для чего? Все начеку, а он — для чего? Куда? Зачем?

Спустя лет двадцать я понял, что, в сущности, он был интеллигентом, а тогда он мне казался симулянтом. Ни приказы, ни уговоры на него не действовали. В один из вечеров марта 1943 года он вдруг заявил, что ничего вокруг себя не видит, ослеп. Все решили, что он, как всегда, симулирует.

Но на следующий вечер зрение потеряли двенадцать из сорока моих бойцов. Это была военная, весенняя, вечерняя болезнь — куриная слепота.

На следующий день произошла катастрофа. Ослепло около одной трети армии. Чтобы восстановить зрение, достаточно было съесть кусок печени вороны, зайца, убитой и разлагающейся лошади.

НАКАНУНЕ НАСТУПЛЕНИЯ

В начале марта было несколько теплых дней, и вдруг десять градусов мороза. До моего южного передового поста надо было по большаку, проложенному приблизительно в километре от переднего края и от берега еще покрытой льдом реки Вазузы, пройти километров двенадцать.

Думал, подъеду на пустой полutorке, стоял, голосовал, а они одна за другой проносились мимо меня и ни одна не останавливалась, и я, в сапогах, чтобы не замерзнуть, то шел, то бежал, а потом попал под минометный обстрел и лег.

Минут пятнадцать мины в шахматном порядке взрывались вокруг меня. Обстрел был не прицельный, а плановый, и я не очень волновался. Потом, часа через три, я доб-

рался до своего поста, убедился, что все нормально, только блиндаж крошечный, на нарах все спят впритирку. А старший сержант Полянский говорит:

— Иди, лейтенант, на армейский узел связи, до них метров пятьсот, расположились они в единственной не сгоревшей огромной избе, места сколько угодно.

Было часов семь вечера.

Армейские телефонистки приветствовали меня. Я сел на скамейку и вдруг увидел на окне томик стихов Александра Блока, и только начал читать, подходит ко мне юная, жутко красивая телефонистка и кладет руку на плечо.

— Что, нравится, — говорит, — мой Блок?

А я тогда почти все стихи Блока наизусть помнил и начал по памяти читать «Возмездие», а потом про свой довоенный кружок и про Осипа, и про Лилию Брик, а она про свой филфак, и я уже не думал, а знал, что это любовь с первого взгляда...

Не помню, как это произошло. Я обнимал ее, она меня. Мне казалось — я знаю ее тысячу лет. Мы целовались, а в углу смотрели на нас и посмеивались два телефониста.

— Здесь неудобно, — сказала она, — надень шинель, выйдем из дома.

Вот и всё, и так просто, думал я. Не разнимая рук, мы шли по двору бывшей хлебопекарни, слева был полузатопленный немецкий блиндаж, а нары были сухие, покрыты еловыми ветками.

— Зайдем? — спросила она шепотом, и губы ее дрожали, а у меня кровь прилила к вискам и ноги не шли, и почему-то я показал пальцем на другой блиндаж напротив, и вдруг увидел свой блиндаж Полянского, оживился и говорю:

— Никуда эти блиндажи от нас не уберут, посмотри на моих солдат.

Полянский вытащил флягу со спиртом, и все мы выпили за нее, за Ольгу, а она говорит:

— Лейтенант! Мне уже пора на дежурство, пошли.

А мой ефрейтор Агафонов говорит:

— Товарищ лейтенант, не беспокойся, я ее провожу. Сердце мое окаменело, и сам я окаменел, а она встала и не посмотрела на меня.

Через десять минут я вышел из блиндажа, пошел на узел связи, но ее там не было. Пришла она через час, на меня не посмотрела и легла на нары.

Утром на мое приветствие она не ответила. Я вышел и не прощаясь, по большаку, не реагируя на минометный обстрел, возвращался в штаб армии. Почему у всех так просто, а у меня трагедия? Довоенная Люба Ларионова, бирская девочка Таня, студентка Ольга, а что впереди?

Впереди было наступление.

Письмо от 14 марта 1943 года

Наконец и на нашем фронте немцы побежали. Приходится догонять их, а догонять очень трудно. Ночью вокруг до горизонта стоит зарево, это горят сжигаемые ими деревни. В районе, где я нахожусь, деревень не осталось, только на бывших границах стоят указатели с их названиями, а все поля перерыты: воронки, окопы, блиндажи...

Письмо от 16 марта 1943 года

Хочу написать о том, что видел своими глазами и что слышал за эти три дня от очевидцев. Калининская область. Полтора года в захваченных городах и селах навели немцы «новый» порядок, в городах вешали людей, в деревнях грабили население, говорили — «высшая раса нуждается в особом питании», говорили — «зимой руки отмерзают, а летом комары кусают, поэтому — никс наступать»... Когда подгорала каша, они взрывали печи, уходя, они начали сжигать живых людей. В деревне Новое Дугино они сожгли живьем шестьдесят человек, а у мальчика, который хотел убежать, перед смертью отрезали нос и уши.

ДЕРЕВНЯ НОВОЕ ДУГИНО

...А утром наши войска как раз напротив бывшего хлебозавода, напротив двух полузатопленных немецких блиндажей и той удивительной Ольги, и моей трагической, но скорее истерически-патологической нерешительности, после внезапной артподготовки и запланированной и бесконечной авиабомбежки прорвали несколько линий немецкой обороны. И началось весеннее наступление.

Я поднял по тревоге свой взвод, прошел по разминированному шоссе километров двадцать. За шоссе напротив верстового столба торчали трубы от сожженной немцами деревни. В деревне обнаружил несколько пустых землянок. Оставил в них своих утомившихся солдат, а сам на попутной, к счастью, остановившейся машине поехал догонять штаб армии.

Километров через сорок остановил полторку, узнал, что штаб армии расположился за деревней Новое Дугино и что туда можно пройти по пересекающей овраг проселочной дороге.

Было уже часа три дня. Я пошел по дороге, начал спускаться в окруженный кустами овраг, и шагов через десять около моего уха просвистела пуля. Я нагнулся и побежал. Новая пуля едва не задела руку. Я стремительно бросился в наполненную грязью придорожную канаву, пули свистели над моей головой, а я полз по-пластунски, через пятьдесят метров дорога повернула и начался подъем. Прополз еще метров десять и встал на ноги.

Я уже не находился в поле зрения стрелявших, поворот дороги и кусты прикрыли меня. Я вынул из кобуры наган и что было сил побежал. Выстрелов больше не было. На обочине дороги лежал мертвый мальчик с отрезанными носом и ушами, а в расположенной метрах в трехстах деревне вокруг трех машин толпились наши генералы и офицеры. Справа от дороги догорал колхозный хлев. Происходящее потрясло меня.

Генералы и офицеры приехали из штаба фронта и составляли протокол о преступлении немецких оккупантов. Отступая, немцы согнали всех стариков, старух, девушек и детей, заперли в хлеву, облили сарай бензином и подожгли. Сгорело все население деревни.

Я стоял на дороге, видел, как солдаты выносили из дымящейся кучи черных бревен и пепла обгорелые трупы детей, девушек, стариков, и в голове вертелась фраза: «Смерть немецким оккупантам!» Как они могли? Это же не люди! Мы победим, обязательно найдем их. Они не должны жить.

А вокруг на всем нашем пути на фоне черных журавлей колодцев маячили белые трубы сожженных сел и городов, и каждый вечер связисты мои и телефонистки обсуждали, как они будут после победы мстить фрицам. И я воспринимал это как должное. Суд, расстрел, виселица — все что угодно, кроме того, что на самом деле произошло в Восточной Пруссии спустя полтора года. Ни в сознании, ни в подсознании тех людей, с которыми я воевал, которых любил в 1943 году, того, что будет в 1945 году, не присутствовало. Так почему и откуда оно возникло?

Я стоял напротив дымящегося пепелища, смотрел на жуткую картину, а на дорогу выходили женщины и девушки, которые смогли убежать и укрыться в окрестных лесах, и вот мысль, которая застряла во мне навсегда: какие они красивые! Мы шли по Минскому шоссе на запад, а по обочинам шли на восток домой освобожденные наши люди, и мое сердце трепетало от радости, от новой мысли — в какой красивой стране я живу, и мой оптимистический, книжный, лозунговый патриотизм органически все более и более становился главным веществом моей жизни.

Я не понимал тогда, что войн без зверств не бывает, забыл о пытках невинных людей в застенках Лубянки и ГУЛАГа.

...Я написал картину — как красиво! / И тюбики от выдавленных красок — / ультрамарина, кадмия, белил и охры / бросил в яму за сараем. / Был год, в котором всё наоборот. / Любовь ушла, июнь сменился маем. / Днем было сухо, ночью дождик лил. / Прошло семь дней, и выросла крапива. /

9 мая 1998 года

Забывтое письмо от 17 декабря 1942 года

Нахожусь недалеко от передовой, пока во взводе у меня тридцать солдат. Из тридцати двадцать девять судились за кражи, мелкое хулиганство, поножовщину. Ребята — огоны!

Недавно заговорил с одним из них:

— Ты, Мусатов, в театре был когда-нибудь?

— А ты, что, был?

— Ну, конечно.

— Так туда же не пускают простых...

— То есть как не пускают, почему?

— Ну там царь, благородные...

— Да ты откуда, — говорю, — с неба, что ли, свалился?

Вспомнил Большой зал консерватории.

Из письма от 2 февраля 1943 года

...Получаю сухой паек: сухари, крупу, сахар, концентраты, мясные консервы, перец и горчицу и офицерский дополнительный паек: масло, консервы, папиросы. Варю на завтрак кашу, на обед суп и на ужин суп. Для лошади — овес, сено, соль.

Из письма от 28 февраля 1943 года

У меня есть валенки, меховая куртка и меховые варежки, ватные брюки, а фрицы мерзнут и голодают в сырых блиндажах. Еще немного — и они побегут!

ВЕСНА 1943 ГОДА

/ «...Два случая, два казуса войны. / Мы были безнадежно влюблены. / Проклятая бомбежка — миг и вечность. / Друскеники, деревня Бодуны. / Ты о Москве? А я о блиндаже. / Ты о работе? — Я о мираже. / Ты плакала? — Спасибо за сердечность! /

Через Сычевку, а потом по проселочным дорогам я должен был вывести свой взвод на Минское шоссе. Было вокруг еще много снега, и где почва глинистая — много грязи, довольно горячее солнце и быстрое таяние снега.

На свою единственную телегу я погрузил радию, телефонные аппараты, на катушках километров сорок кабеля. Шинели скатали, припекало, трижды на просохших холмиках я останавливал взвод на отдых. Ложились на еще прохладную, но оживающую землю, но минут через десять вскакивали, стремительно стягивали с себя гимнастерки, рубашки, кальсоны и начинали давить насекомых. Все мы были завшивлены. Кто-то считал — сто, сто пятьдесят, во всех складках одежды, в волосах были эти гады и масса белых пузырьков — гниды.

Начинало темнеть, прошли около сорока километров, дорога через лес поднималась в гору, внезапно лес кончился, перед нами была стремительная какая-то речка, мост — две доски с перилами, за мостом на холме деревня. Лошадь распрягли, на руках перенесли телегу и груз, осторожно провели по дощечкам лошадь.

Деревня была живая, в каждом доме старухи и дети. Мой ординарец Гришечкин поставил лошадь в сарай, насыпал ей вволю овса, посолил, притащил охапку сена, а я быстро распределил людей по домам, выставил боевое охранение, лег на скамейку, завернулся в шинель и заснул, и все, кроме дежурных, заснули.

В семь часов утра вышел из дома и обомлел.

Речка разлилась, превратилась в море, от мостика ничего не осталось. Мы оказались на острове, со всех сторон почти до горизонта окруженном водой. О продолжении движения не могло быть речи. Приказал всем отдыхать. У меня был томик стихов Алек-

сандра Блока. В избе на полке была Библия. Неграмотная старуха не была хозяйкой этого дома, ее деревню сожгли немцы.

Книга была ничья. Так как осведомителя Чистякова со мной не было, а желание было, решил почитать вслух. И случилось так, одним словом, что я читал своим солдатам про Каина и Авеля, и «Соловьиный сад», и «Песню песней».

Вода ушла на третий день. Речка уже была не морем, а маленьким ручейком. До Минского шоссе еще было километров сорок, а до переправы через Днепр, до места сбора роты, еще километров двенадцать, и все это надо было пройти за один день. Но уже к середине дня начал отставать сержант Щербаков. Он плохо обернул ноги портянками. Водяные пузыри полопались. На ногах образовались раны.

В три часа дня он сел на землю и заплакал.

Это был огромный, излишне полный мужик.

Идти дальше он не мог. Вокруг не было ни одного госпиталя. Я оставил его в пустом деревенском доме и приказал через два дня быть на переправе через Днепр. Не прошло и получаса, как мы вышли на шоссе Москва — Минск. До переправы через Днепр оставалось двенадцать километров.

У восьми моих бойцов были натерты ноги. По шоссе шли порожние грузовики. Я остановил машину, усадил их в кузов и сержанту Демиденко приказал всех посадить на переправе через Днепр и ждать, пока я со взводом не подойду. Через два часа я был на переправе, но ни Демиденко, ни инвалидов там не было. На высоком берегу Днепра было много пустых немецких блиндажей.

Я оставил взвод у переправы, приказал ждать своего возвращения, а сам с ординарцем Гришечкиным перешел по понтонному мосту через Днепр. К середине дня все дороги развезло, мы шли по раскисшей глине, каждый шаг давался с трудом, иногда сапог нельзя было вытащить и приходилось ногу вытаскивать из сапога, потом сапог из глины, но в это время второй сапог уходил так глубоко, что уже из него приходилось вытаскивать ногу. Каждые сто метров ложились, казалось, что довольно легкие рюкзаки за спиной уже весили по два пуда, разожгли костер, просушили портянки, доели сухари — остаток сухого пайка, выданного на неделю, между тем как это был уже девятый день с момента его получения.

Преступление и наказание

Капитан Рожицкий не мог понять, почему и как я потерял половину своего взвода. Мой аргумент, что мне жалко было натерших мозоли на ногах людей, казался ему чудовищным, мое объяснение причины задержки — три дня в деревне, окруженной бурлящими водами — смехотворной.

Кратчайший маршрут движения, который я сам выбрал по карте, возмущал его и расценивался им как злонамеренное самоуправство. Теперь я и сам понимал, что в сумме все мои действия были преступны и что мне не миновать суда военного трибунала, разжалования, штрафной роты. Рожицкий тут же подписал приказ о моем смещении с должности командира взвода, о десятисуточном аресте и передал остатки моего взвода под командование моему другу лейтенанту Олегу Корневу.

Счастье от сознания исполненного долга, любовь и уважение вверенных мне и обученных мною солдат, еще недавно придававшие мне уверенности, улыбающаяся мне фортуна, радость от того, что я вопреки неуклюжести, интеллигентности стал боевым офицером — все летело к чертовой матери.

Дальше я не помню, что было, ходил, как в тумане, выполнял какие-то мелкие поручения, ждал решения своей участи. Совершенно не помню, как я вдруг стал командиром взвода Олега Корнева, а Олег стал командиром остатка бывшего моего взвода и взвода лейтенанта Кайданова, а того куда-то послали. В общем, вопрос с трибуналом замаяли, но что-то уже навсегда поггло. Люди Олега Корнева плохо знали меня, помкомвзвода старшина Курмильцев не выполнял моих приказаний. Между тем, весеннее наступление продолжалось, дороги с каждым днем становились все доступнее.

Деревня Бодуны

Шесть фугасных бомб и я — / вот сюжет моей картины, / островки травы и глины, / небо, дерево, земля, / дым — одна, осколки — две, / дом и детство в голове, / сердце удержать пытаюсь, / землю ем и задыхаюсь, / третья? — Только не бежать — / это смерть, лежц, считая, / третья, пятая, шестая..... / Мимо. Выжил. Можно встать. /

И осколок, / который летел в меня, / угодил в живот / моего коня. / Я достал наган / и спустил курок. / На цветах роса, / а в котле фураж, / три кило овса. / Белорусский фронт. / Сорок третий год.

Когда появились немецкие бомбардировщики, мой друг, командир второго взвода моей роты Олег Корнев лег на дно полузасыпанной пехотной ячейки, а я на землю рядом. Бомбы падали на деревню Бодуны. Одна из бомб упала в ячейку Олега. На дереве висели его рука, рукав и карман с документами. Но в деревне располагался штаб дивизии и приданный к штабу дивизии его взвод. Я начал собирать его людей. Тут появилась вторая волна бомбардировщиков. Горели дома, выбегали штабисты. Перед горящим сараем с вывороченным животом лежала корова и плакала, как человек, и я застрелил ее. После третьей волны бомбардировщиков горели почти все дома. Кто лежал, кто бежал, те, кто бежал к реке, почти все погибли. Генерал приказал мне с моими телефонистами и оставшимися в живых людьми Олега Корнева восстановить связь с корпусом. Под бомбами четвертой волны «хейнкелей» мы соединили разорванные провода.

Потом я получил орден Отечественной войны второй степени и отпуск на десять дней в Москву.

Смотрю на дисплей, неожиданно спустя шестьдесят лет вспоминаю пропущенные мною три года назад подробности.

После весеннего прорыва немецкой обороны Центральный фронт перешел в стремительное наступление. Чуть ли не каждый день я получал приказы о передислокации, о новом расположении своих постов на берегах новых рек и на новых стратегических высотах, едва бойцы мои закапывались в землю и наводили новые линии связи, как, оказываясь в тылу, сворачивали эти линии и получали новые приказы о размещении на новых позициях. Наступление шло вдоль Минского шоссе. Метрах в ста от шоссе на разбомбленных нашей авиацией железнодорожных путях застряли десятки немецких поездов. Сотни платформ с военной техникой, танками, орудиями, обмундированием, чего там только не было в вагонах и на платформах этих поездов, но подходить к ним мы не успевали, не было у нас ни одной свободной минуты, опять начали отставать от передовых частей, а нагонять их нам было все труднее и труднее, во время бомбежек на переправах мы потеряли трех лошадей.

Но не мы одни испытывали трудности. Минометчики тоже теряли лошадей и, задыхаясь, тащили свои минометы на руках, а выбивающиеся из сил пехотинцы побросали в кюветы вдоль шоссе свои тяжелые каски и противогазы, множество их валялось справа и слева от нас вдоль всего переполненного людьми и техникой шоссе. Движение замедлялось ввиду образовавшихся на шоссе глубоких и широких воронок, возникающих от взрывов немецких тяжелых авиационных бомб.

Очередной раз я получил приказание передислоцировать свой взвод на двенадцать километров. Скатали на катушки все линии связи и двинулись по Минскому шоссе. Не доезжая до деревни Бодуны, я увидел в воздухе на высоте двух километров восемь немецких бомбардировщиков «Хейнкель 111». В воздухе появилось множество черных палочек, и чем более они снижались, тем более казалось нам, что они летят на нас, и уже ясно было, что это за палочки.

— Ложись! — скомандовал я. Все мои бойцы мгновенно распластались на земле, кто где был, слева от шоссе. Основная масса бомб упала на окраину деревни, но несколько — недалеко от нас. Самолеты развернулись и исчезли за горизонтом, а в воздухе на

недосягаемой высоте появился жутко маневренный немецкий самолет «Фокке-Вульф» — разведчик и корректировщик огня. Надо было немедленно уходить из зоны бомбардировки, и мы погнались своих лошадей вперед по Минскому шоссе. Но едва проехали несколько сот метров, как я увидел на обочине своего друга лейтенанта Олега Корнева.

Он стоял на пригорке и из-под руки смотрел на запад, где над горизонтом появилась новая партия немецких бомбардировщиков. Олег объяснил мне, что его взводу приказано было связать расположенный в деревне штаб дивизии с находящейся в пяти километрах зенитной бригадой, что штаб дивизии ночью расположился в Бодунах, шло наступление, и о маскировке никто не думал. Десятки штабных машин, танков, самоходок, грузовиков закупорили все улицы деревни, но утром неожиданно в воздухе появился немецкий разведчик и, видимо, понял, что за люди расположились в деревне. Связисты Олега уже установили в кабинете комдива телефонные аппараты и с минуты на минуту должны были вывести линию связи на шоссе. Мы говорили, над нами кружился «Фокке-Вульф», а новых восемь немецких бомбардировщиков стремительно приближались. Олег увидел за собой пехотную ячейку и засмеялся.

— Мне повезло, — сказал он, — я с ординарцем лягу в ячейку, а ты ложись рядом, нам надо договориться о дальнейших действиях.

— Я не могу задерживаться, Олег, мне надо через час разворачивать посты вокруг переправы, кончится бомбежка — и мы поедem дальше. Но самолеты были уже над нами, и уже десятки палочек отделились от них, и я рухнул на траву, и все мои бойцы легли, кто где стоял.

На этот раз основная масса бомб упала на центр деревни, и лишь три летели на нас. Я понял, что одна из бомб летит прямо на меня, сердце судорожно билось. Это конец, решил я, жалко, что так некстати, и в это время раздался взрывы и свист тысяч пролетающих надо мной осколков.

— Слава Богу, мимо пронеслись, — закричал я Олегу. Посмотрел в его сторону, но ничего не увидел, ровное поле, дым. Куда он делся? Все мои солдаты поднялись на ноги, все были живы, и тут до меня дошло, что бомба, предназначавшаяся мне, упала в ячейку Олега, что ни от него, ни от его ординарца ничего не осталось. Кто-то из моих бойцов заметил, что на дереве метрах в десяти от нас на одной из веток висит разорванная гимнастерка, а из рукава ее торчит рука. Ефрейтор Кузьмин залез на дерево и сбросил гимнастерку. В кармане ее лежали документы Олега. Рука, полгимнастерки, военный билет. Больше ничего от него не осталось. Полуобезумевший, подбежал ко мне сержант взвода Олега.

— Аппараты сгорели вместе с избами, катушки с кабелем разорваны на части, линия перебита, бойцы, увлекаемые штабными офицерами, бросились к реке, но туда обрушилась половина бомб, машины на улицах взорваны и только командир дивизии, генерал, не потерял самообладания и требует, чтобы мы немедленно соединили его со штабом армии, но у нас ничего нет, помогите, лейтенант!

И я бросился в горящую деревню, увидел почерневшего генерала и растерянных штабных офицеров и сказал ему, что у нас есть и кабель, и телефонные аппараты, что лейтенант Корнев погиб, но что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выполнить то, чего уже не может сделать он.

— Надо немедленно связать меня со штабами корпуса и армии, а через них и с моими полками, — сказал он, — помогите, лейтенант.

Со мной было человек десять моих связистов. Части из них я приказал разыскивать уцелевших бойцов взвода Олега, другую часть послал на шоссе за кабелем, аппаратами и людьми. Минут через пятнадцать началась наша работа, а через двадцать пять минут над нами появилась новая волна немецких бомбардировщиков. Но деревня горела и сквозь дым трудно было уже определить что к чему и где кто, а под прикрытием дымовой завесы мы уже подсоединили кабель к армейской линии связи. Падали бомбы, разрывали нашу линию. Я, как и все мои солдаты, находил и соединял разрывы. Дым, который разведал глаза, окутывая нас, помогал нам уцелеть. Внезапно заработали телефоны, и генерал доложил в штаб армии о трагической ситуации, посыльный его нашел меня и попросил зайти в штабную избу. Генерал поблагодарил меня и записал мою фамилию. Над деревней появились наши истребители. Немецких самолетов больше не было.

Мы хоронили Олега. Выкопали у кирпичной водокачки яму, поставили столб, прибили доску, написали имя, отчество, фамилию, звание, устроили прощальный салют, выстрелили из всех имеющихся у нас автоматов в воздух, распилили флягу со спиртом. Существует ли еще его могила — гимнастерка, рукав, рука?

/ Поезд из Быково через Москву до Зубцова во рву. / Поезд от Дорогобужа к Москве, / рукав гимнастерки на ветке дерева, рука в рукаве, / пояс. / Под квадратиком неба серого пятна красные на снегу, / перед этим поездом я в долгу. / Пассажиры его и грузы на крутом берегу Вазузы. / Поезд, словно руку отняли, воспоминания о руке, / словно оттели на реке. / На эту отмель, потом на ту, / как бы ни было плохо там, туда — обратно, туда — сюда, / через мою комнату с оглушительным грохотом / проносятся поезда. /

...НАСТУПЛЕНИЕ ПОД ОРШЕЙ 24 ИЮНЯ 1944 ГОДА

«Лейтенанту Рабичеву Леониду Николаевичу.

В приказах Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина личному составу соединений и частей нашей армии, а следовательно, и Вам за отличные боевые действия объявлена благодарность.

1. За прорыв сильной глубоко эшелонированной обороны противника севернее реки Днепр под Оршей (Приказ № 87 от 24 июня 1944 года).

2. За овладение городом Орша — мощным бастионом обороны немцев, прикрывающим минское направление (Приказ 92 от 27 июня 1944 года)».

Девять месяцев продолжалась наша оборона под Оршей. С самого начала немцы заняли выгодные позиции на высотах по всему переднему краю армии, а пехота наша окопалась в болотистых низинах. Зимой еще ничего, а осенью и весной по пояс в воде, и в блиндажах была вода, и в ходах сообщения, а вокруг чахлый березняк и болота. Однако несколько выгодных позиций и господствующих высот находилось и в наших руках.

Шесть месяцев на высоте близ Минского шоссе и деревни Старая Тухиня находился узел связи и наблюдательный пост старшего сержанта Корнилова.

Приезжал я к нему по чувству долга, днем проверял состояние вооружения и аппаратуры, рассказывал о положении на фронтах и в тылу.

По вечерам читал «Ромео и Джульетту» и «Короля Лира», и много было ассоциаций по этому поводу, а вокруг падали мины, разрывались снаряды.

В конце мая получил я приказ перейти на самый гребень высоты, где в пятистах метрах от немецкой линии обороны находился построенный за несколько ночей непробиваемый железобетонный наблюдательный пункт командующего артиллерией армии гвардии генерала-майора Семина.

Кажется, в 1812 году на этой высоте перед одним из сражений сидел на кресле и смотрел в подзорную трубу Наполеон Бонапарт.

Наблюдательный пункт был сооружен для коррекции и непосредственного управления всеми воинскими частями, подготовленными для прорыва глубоко эшелонированной мощной линии обороны немцев на Борисовско-Оршско-Минском направлении, то есть на пути наступления Третьего Белорусского фронта.

В мае все северные Прибалтийские и все южные Украинские фронты наступали. Украинские фронты приближались уже к границам Польши, Венгрии, Румынии. Настроение было восторженное, уверенность в победе полная. По ночам бронетанковые и артиллерийские подразделения продвигались к линии обороны. Все линии связи были полностью загружены. Я в зашифрованном виде передавал приказы номеров первого, второго, и т.п., получал ответы, некогда было даже поесть, а днем, видимо, чтобы немцы ни о чем не догадывались, линии были наполнены лирическими объяснениями, фантазиями и добродушным матом. Мой голос знали все телефонистки армии, и я полусерьезно объяснялся им в любви. То и дело эти разговоры носили общий характер. К ним

подключались все, кто хотел. Вслед за телефонными поцелуями шли телефонные обнимания и телефонные совокупления со всеми деталями и всеобщими комментариями.

19 мая с утра началась артподготовка, снаряды разрывались в окопах и блиндажах немцев и сравнивали их с землей. С воздуха бомбили вражеские укрепления наши бомбардировщики. Шестерками одни за другими пролетали наши штурмовики, печальные Ил-2, но с ними творилось что-то странное: когда они долетали до третьей линии немецкой обороны, выполняли задание и пытались развернуться, ничего из этого не получалось, и один за другим они взрывались и падали. Назад возвращался один из шести. Еще во время артподготовки мы вышли из своей подземной машины, стояли во весь рост на высоте и в недоумении наблюдали за этими проигрышными воздушными атаками.

Через два часа пошла в атаку наша пехота. Две первые линии пробежали, а у третьей залегли и подняться на ноги уже не смогли. Заработали, совсем не с тех позиций, которые бомбила наша авиация, немецкие пушки и пулеметы. Жуткий перекрестный огонь совершенно не пострадавших немецких пулеметных и минометных позиций. Появление немецких бомбардировщиков, гибель тысяч наших пехотинцев, пытавшихся вернуться на исходные позиции, а на линиях связи, на земле, в окопах, в штабных блиндажах и в воздухе с гибнущих наших самолетов отчаянный, путающий все указания мат перемешивался с нервными выкриками штабных телефонистов.

Наступление полностью провалилось. Множество тысяч убитых. Раненые бойцы ползком возвращались на исходные позиции. В контрнаступление немцы не пошли. Перед моими глазами догорали подбитые наши танки и самоходки.

Восемь ночей затем медленно двигались по Минскому шоссе и проселочным дорогам новые наши танковые и моторизованные пехотные дивизии.

29 мая наступление наших войск снова провалилось. Дальше третьей линии немецких укреплений не прошли и понесли огромные потери.

А через день перед строем читали нам адресованное командующему Третьим Белорусским фронтом генералу Черняховскому страшное письмо ставки Верховного командования о том, что Третий Белорусский фронт не оправдал доверия партии и народа и обязан кровью искупить свою вину перед Родиной.

Я не военный теоретик, я сидел на наблюдательном пункте и видел своими глазами, какими смелыми и, видимо, умелыми были наши офицеры и солдаты, какой беззаветно храброй была пехота, как, невзирая на гибель своих друзей, вновь и вновь летели на штурм немецких объектов и безнадежно погибали наши штурмовики, и мне ясна была подлость формулировок Верховной ставки, мне ясно было, что разведка наша оказалась полностью несостоятельна, что авиация наша, погибая, уничтожала цели-обманки, что и количественно и качественно немецкая армия на этом направлении во много раз превосходила нас, что при всем этом и первый и второй приказы о наступлении были преступны и что преступна была попытка ставки Сталина свалить неудачи генералитета и разведки на замечательных наших пехотинцев, артиллеристов, танкистов, связистов, на мертвых и выживших героев.

Всё это наверняка понимали и Сталин, и Жуков, и Черняховский, угробили несколько десятков тысяч людей, но при общем наступлении 1944 года наш оставшийся на важнейшем направлении фронт должен, обязан был переходить в наступление, ошибка должна была быть исправлена не смертью и кровью ослабленных подразделений, а стратегией и тактикой штаба Главнокомандующего.

И вот началось. Каждую ночь по Минскому шоссе и по всем параллельным большим и малым трактам и проселочным дорогам из резерва Главного командования двигались свежие новые корпуса, дивизии и бригады, тысячи танков и самоходок. На доджах и студебеккерах, полученных по лендлизу, десятки тысяч вооруженных автоматами, пулеметами и минометами частей, колонны катюш, бесконечные колонны машин с боеприпасами и продовольствием, хлебом, крупами, комбижиром и американской тушенкой. Непрерывный ночной гул днем замирал и сколько я ни смотрел, ничего вокруг не было видно.

24 июня началось новое наступление. Я сидел в закопанной в землю машине перед топографическими картами от Смоленска до Кенигсберга.

Принимая и передавая лаконичные непонятные мне телефонограммы, я на этот раз чувствовал, что повторения того, что было, не будет, что впереди Берлин, Кенигсберг. Всё было грандиозно. Немецкие армии были окружены, а мы пошли вперед, вошли в Восточную Пруссию. Мы шли вперед, а несколько десятков тысяч окруженных нами и сдавшихся немецких солдат и офицеров прошли по Москве, по Садовому кольцу.

«Лейт-ту Рабичеву Леониду Николаев...

В приказах Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина личному составу соединений и частей нашей армии, а следовательно, и Вам за отличные боевые действия объявлена благодарность...

4. За овладение столицей Советской Белоруссии городом Минск (Приказ № 99 от 3 июля 1944 года.)

5. За овладение городом Лида — важным опорным пунктом немцев на Гродненском направлении (Приказ № 115 от 16 июля 1944 года).

6. За форсирование реки Неман (Приказ № 140 от 31 июля 1944 года).

7. За прорыв долговременной глубоко эшелонированной обороны немцев в Восточной Пруссии, вторжение в пределы Восточной Пруссии (Приказ № 205 от 30 октября 1944 года).

Поздравляю Вас с получением благодарностей...

Командующий артиллерией гв. генерал-майор Семин

/ Деревня Старая Тухня, / печные трубы и воронки. / Начальник пишет похоронки, / и танков, вроде стай ворон, / скелеты. Тут Наполеон / стоял, как мы с тобою ныне. / Зеленый холм, сгоревший дом, / улыбка в зеркале кривом. / Я с коммутатором в машине, / а ты при штабе полковом. / Квадрат «2-10» (На Петровке!), / «3-45» (На Земляном?) / Ты с Верхней Масловки, а я / с Покровки — значит, рядом жили...

.....
/ Озера, звезды и поля. / Телефонисточка моя, / так мы и не договорили./

На семь месяцев вперед, а потом на пять назад. Пишу на больничной койке в госпитале № 3 и спешу зафиксировать, чтобы не забыть, внезапно возникающие из подсознания события шестидесятилетней давности.

Хронология потом. А нужна ли она?

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА

Февраль 1945 года. Восточная Пруссия. Именно тогда возникло странное явление, сведений о котором ни в художественной, ни в мемуарной литературе я не встречал. В результате кровавых, бескомпромиссных и непрерывных боев как наши так и немецкие подразделения потеряли более половины личного состава, и от крайней ни с чем не сравнимой усталости начали терять боеспособность.

Черняховский приказывал наступать, генералы — командующие армиями, корпусами и дивизиями — приказывали, Ставка сходила с ума, все полки, отдельные бригады, батальоны и роты топтались на месте. И вот, дабы заставить измученные боями части двигаться вперед, штаб фронта приблизился к передовой на небывало близкое расстояние, а штабы армий располагались почти рядом со штабами корпусов, а штабы дивизий приблизились вплотную к полкам. Генералы старались поднять батальоны и роты, но ничего из этого не получалось, и вот наступили дни, когда как наших, так и немецких солдат охватила непреодолимая депрессия. Немцы километра на три отошли, а мы остановились.

Стояли солнечные весенние дни, никто не стрелял, и впечатление было, что война окончилась, а командование словно обезумело. Видимо, стараясь выслужиться, мой командир Тарасов приказал мне с частью взвода, с новой американской радиостанцией СЦР..., а номер забыл, с радиусом действия до ста километров (два бойца крутили

ручки динамомашин), передислоцироваться ближе к переднему краю. Сборная мачта обеспечивала отличную работу. На этой стадии наступления никто не пользовался ни шифрами, ни морзянкой. Все приказы шли открытым текстом, и эфир наполнен был многоярусным хриплым матом небывалого напряжения, а солдаты спали, и разбудить их было невозможно. Просыпались, болтали о своих довоенных похождениях, о не успевших эвакуироваться немках.

Котлов удивлялся. Заходишь в дом, и ни слова еще не сказал, а немка спускает штаны, задирает юбку, ложится на кровать и раздвигает ноги. И опять радист приносит приказ о наступлении. Надо обеспечить связью зенитно-артиллеристскую бригаду. Шесть километров. Траутенау.

Уже вечер. Подъезжаем к крайнему дому. Там наши артиллеристы, но совсем не из нашей бригады и даже не из нашей Тридцать первой армии. Селение — домов двадцать. Сержант артиллерист говорит, что расположиться можно либо в первом слева доме, либо напротив, в остальных фрицы, какая-то немецкая часть.

Пересекаем улицу. Дом одноэтажный, но несколько жилых и служебных пристроек, а у входа тачанка, трофейная немецкая двуколка, колеса автомобильные на подшипниках. Лошадь смотрит на нас печальными глазами, а на сиденье лежит мертвый совсем юный красноармеец, а между ног черный кожаный мешок на застежках.

Я открываю мешок. Битком набит письмами из всех уголков страны, а адрес один и тот же — воинская часть п/я № 36781. Итак, убитый мальчик — почтальон, в мешке дивизионная полевая почта.

Снимаем с повозки мертвого солдата, вынимаем из кармана его военный билет, бирку. Его надо похоронить. Но сначала заходим в дом. Три больших комнаты, две мертвые женщины и три мертвые девочки, юбки у всех задраны, а между ног доньшками наружу торчат пустые винные бутылки. Я иду вдоль стены дома, вторая дверь, коридор, дверь и еще две смежные комнаты, на каждой из кроватей, а их три, лежат мертвые женщины с раздвинутыми ногами и бутылками.

Ну предположим, всех изнасиловали и застрелили. Подушки залиты кровью. Но откуда это садистское желание — воткнуть бутылки? Наша пехота, наши танкисты, деревенские и городские ребята, у всех на Родине семьи, матери, сестры.

Я понимаю — убил в бою, если ты не убьешь, тебя убьют. После первого убийства шок, у одного озноб, у другого рвота. Но здесь какая-то ужасная садистская игра, что-то вроде соревнования: кто больше бутылок воткнет, и ведь это в каждом доме. Нет, не мы, не армейские связисты. Это пехотинцы, танкисты, минометчики. Они первые входили в дома.

Приказываю пять трупов перенести из первых комнат в дальние, кладем их на пол друг на друга. Располагаемся в первых, и тут сержант Лебедев предлагает вытащить из сумки, на счастье, по одному письму — кому что достанется. Я вытаскиваю свой «треугольник». Читаю, понимаю, что мне, кажется, повезло.

Из города Куйбышева восемнадцатилетняя девочка Саша пишет незнакомому Ивану Грешкову, двоюродному брату подруги, что хочет с ним познакомиться и начать переписку.

Сажусь за стол и пишу письмо (тоже треугольник) Саше. Про двуколку, убитого почтальона, как вытащили по одному письму — кому что достанется, и как раз ее письмо досталось мне — не Ивану, а Леониду, рассказываю о превратностях войны, о трупах в доме, о себе.

Утром сержант Лебедев залезает по приставной лестнице на чердак и как ужаленный скатывается вниз.

— Лейтенант, — говорит он мне почему-то шепотом, — на дворе фрицы. Я на чердаке, подхожу к окну, на дворе соседнего дома прямо подо мной человек сорок немцев в трусах загорают на солнце. Рядом с каждым обмундирование, автомат, кто-то сидит курит, кто-то играет на губной гармошке, кто-то читает книжку.

— А что, если их всех закидать гранатами? — спрашивает меня Лебедев.

Считаю: нас девять, артиллеристов пять. А сколько немцев в соседних домах, что за часть, что у них на вооружении? По рации сообщаю об обстановке, жду указаний, но

никаких указаний не поступает. Немцы нас уже заметили, но ни стрелять, ни одеваться не собираются. Солнце, и какая-то жуткая лень. А мы сидим в своем доме с автоматами и гранатами и ждем указаний.

**...ЛЮБОВЬ НАКАНУНЕ ПОБЕДЫ. ПОЛГОДА НАЗАД.
ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ НЕМАН — ДРУСКЕНИКИ 30 ИЮЛЯ 1944 ГОДА.
ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ, ФЕВРАЛЬ 1945 ГОДА.
ОКРУЖЕНИЕ И ВЫХОД ИЗ ОКРУЖЕНИЯ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ**

ЛЮБОВЬ НАКАНУНЕ ПОБЕДЫ

Переписка с девочкой из Казани Сашей совпала с последними жесточайшими боями в Восточной Пруссии, переброской 31-й армии на Первый Украинский фронт, на Данцигское направление в Силезию и с первыми неделями мира. Может быть, драматичность событий и подсознательное ощущение возможности внезапного обрыва жизни привели к мысли, что это последняя любовь, и Саша это почувствовала, так вот переписка наша, наша, как теперь бы сказали, виртуальная любовь, продолжалась около двух месяцев, и конец ее так же, как и внезапный конец, а вернее, обрыв возникшего между нами чувства, желания встретиться после войны, наступил внезапно и немотивированно через полмесяца после окончания войны. Мы обменялись фотографиями, договорились, что после демобилизации я приеду в Казань. Писали друг другу два раза в неделю, мечтали и строили планы будущей жизни и вдруг в ответ на последнее мое письмо я получил грубое, наполненное угрозами и фрагментами невоспроизводимой лексики письмо от нового знакомого Саша. Я подумал, что это если не шутка, то ошибка, написал второе письмо и через неделю получил новое письмо. Это была уже угроза в случае моего приезда лишить меня жизни. А Саша молчала.

Война закончилась через двадцать дней. После демобилизации я написал последнее письмо, но оно вернулось в Москву с отметкой, что адресата в Казани больше нет.

А теперь назад. Об окончании войны я узнал на перевале через Карпаты. Потом пятнадцатидней пребывал в состоянии полупьяной эйфории в чешском городе Яблонце.

С утра до вечера окружали нас счастливые, благодарные нам горожане и спустившиеся из горных деревень мужчины, женщины, дети с едой, вином, объятиями и поцелуями.

Через пятнадцать дней получил я по радиции приказ возвращаться обратно через Карпаты в исходный силезский город Левенберг, куда уже вернулся штаб армии, между тем как отдельные подразделения 31-й армии продолжали за Прагой сражаться с окруженной полуторамиллионной последней группировкой немецких войск.

В полной уверенности, что война моя закончена, подаю рапорт о демобилизации. Однако тот самый майор Андрианов предлагает мне стать командиром роты, пишет рапорт о присвоении мне звания старшего лейтенанта. Я категорически отказываюсь. Двадцать пятого мая начальство идет мне навстречу, но уже на следующий день приходит приказ маршала Конева — демобилизацию приостановить, немедленно приступить к боевым занятиям. Два часа телефонии, два — изучение уставов и шесть часов в день строевой подготовки. С восьми утра до шести вечера строевая подготовка, тактика, уставы боевой и караульной службы, исправление неисправностей в телефонных аппаратах, прокладка учебных линий связи... Однако какие уставы на войне?

Четыре года никто не ходил в ногу. Мне — двадцать три, кому-то больше, кому-то меньше, а абсолютное большинство в моем да и в собственном представлении старики, им от тридцати до пятидесяти лет, соскучились, дома ждут жены, дети, семьи нуждаются в помощи. Смеемся, плачем — штыковой бой, а штыков нет, да и винтовок штук семь, у остальных автоматы. А как же — «К ноге!»? Каждые пятнадцать минут из строя — «Лейтенант, давай перекур!» Я — «Два наряда вне очереди! Напра-во!» А он — налево. Но ведь именно с ним вдвоем два месяца назад переправлялся я через Неман! И именно он спас меня. О, эта переправа!

Два месяца назад — Друсkenики, переправа через Неман

«Лейтенанту Рабичеву Леониду Николаевичу.

В приказах Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина личному составу соединений и частей нашей армии, а следовательно и Вам за отличные действия объявлена благодарность... 7. За форсирование реки Неман и прорыв сильно укрепленной обороны противника на западном берегу Немана (Приказ № 140 от 31 июля 1944 г.).

Командующий артиллерии гв. генерал-майор Семин

Друсkenики, 30 июля 1944 года

Мы на своих повозках опять отстали от штаба армии. Связь — только рация. Сорок километров кабеля в катушках, на повозках. Начальство давно впереди.

— «Волга, Волга» — я «Нева», как слышите меня? — Прием. А в ответ многоаружный мат, почему медленно двигаемся, плохо работаем.

Великолепные асфальтовые дороги, на перекрестках на пьедесталах деревянные крашенные Мадонны. Бесконечные лесные уголья. Смотрю на компас, на немецкую двухкилометровку. Впереди мост через Неман, настроение отличное, немцы бегут.

По мере продвижения наше настроение меняется. Мост взорван, а все дороги на подступах к переправе забиты техникой.

Кружим, кружим, каким-то образом приближаемся к цели, но по мере приближения возрастает грохот от разрывающихся авиационных бомб. Кажется, нам везет, мы сбоку прорываемся к переправе. И сразу оказываемся в дымном кровавом месиве, в эпицентре жуткой бомбежки.

«Ложись!» Лошади дрожат, мы не успели их стреножить, одна из них разрывает постромки и бежит и тут же падает, сраженная несколькими осколками.

Лежать, только лежать.

Разные характеры. Одни лежат на животе, зарываются головой в песок, в траву, в грязь и дрожат. Другие — их меньше — лежат на спине и смотрят на небо. Мне хочется отвернуться, но нельзя, лежу на спине и смотрю на небо. На этот раз над переправой «Хейнкели». От фюзеляжа каждого отделяется несколько черных палочек. Это бомбы, с каждой минутой они увеличиваются в размерах. Те, что лежат на животе и дрожат, их не видят. Я вижу, и сердце у меня бьется, как сумасшедшее, пока они на высоте, кажется, что каждая из них летит именно на меня, но заставляю себя смотреть вокруг, в каком состоянии мой взвод, не те, которые лежат лицом вниз, а те, которые, как и я, смотрят на небо, как и мне, им кажется, что каждая из бомб летит именно на них, и вот тут происходит фокус саморазоблачения.

Самые интеллигентные или скромные, не очень самоуверенные, дрожат, но лежат, а самые хвастливые, циничные, наглые, хваткие и, казалось бы, смелые не выдерживают, вскакивают и бегут, и не могут остановиться, потому что действительно кажется, что бомбы летят именно на них, и они пытаются убежать в сторону. Смотрят вверх и понимают, что бегут как раз под бомбы, и, задыхаясь, бегут назад.

Кричу: «Агафонов, ложись!» А он смотрит на небо — бомбы над головой — и бежать уже не может, и лечь тоже. Вскрываю на ноги, бросаюсь на него, валюсь вместе с ним в кровавую грязь. И это последние секунды, уже ясно, что бомба разорвется в двух десятках метров от нас. Вжимаемся в землю, свист пролетающих над нами осколков. Еще несколько минут — и шесть вражеских самолетов, отбомбься, уходят на запад. Но ведь еще через несколько минут появятся новые. Переправа разрушена. Никаких шансов у нас оказаться на другом берегу нет. Оставаться и ждать очередной бомбежки бессмысленно.

Поднимаю своих оглушенных, полуконтуженных людей. Всё. Стремительно освобождаем мелкой дрожью дрожащих, с белой пеной на губах лошадей, вскакиваем на повозки.

На шоссе танки, самоходки, артиллерия, моторизированная пехота, а в воздухе теперь «мессершмидты» и пикирующие «юнкерсы». Вся земля горит, горят машины,

горит десятый раз восстанавливавшийся понтонный мост, наполняются водой, загораются и тонут понтоны, падают в воду и погибают саперы. Какой-то генерал пытается на «виллисе» подъехать к переправе, но офицеры-танкисты не дают, а с неба падают бомбы, и почему-то нет нашей авиации и молчат наши зенитчики.

Ефрейтор Агафонов ранен. Кровь, огонь.

Между тем лейтенант саперного подразделения объясняет мне, что шесть километров правее недавно еще функционировал паром, немцы его потопили, однако над водой остался стальной канат.

— Попробуйте, — говорит он, — соорудить плот и, держась за этот канат, перебраться на другой берег Немана.

Несколько сот метров вдоль берега, крутой подъем и лес, и как можно скорее, дальше от переправы. Какое счастье, все живы, отошли, а студебеккеры и танки и самоходки — они не могут выбраться из этого крошечного ада. Назад, налево, направо — все дороги закрыты. Экипажи покинули машины, залегли в кюветы, пользуясь передышками, наскоро сооружают окопчики и ждут нового налета.

Канат

Не помню, по каким дорогам, но точно, с картой и компасом, уже к вечеру подъезжаем мы к берегу Немана. Действительно, от одного берега к другому протянут чуть выше метра над водой канат. Метров сто пятьдесят ширины Неман. Шесть повозок. Канат.

О, великий разум бывалого солдата. В снаряжении нашем всегда топоры, ломы, а на берегу двухэтажный деревянный дом. Дача? Отель?

Нельзя терять ни минуты. Сорок человек набрасываются на эту то ли виллу, то ли усадьбу, разбирают, разрушают ее. В нашем распоряжении несколько десятков великолепных бревен и несколько километров телефонного кабеля. Привязываем бревно к бревну, и вот работа закончена. Шесть на четыре метра — великолепный плот.

Вчетвером мы решаем проделать первый контрольный рейс. Ящик с патронами и гранатами, автоматы, несколько вещевых мешков, катушек кабеля. Перегружать нельзя, впереди неизвестность. Отталкиваемся от берега веслами и шестами, держимся за канат. Без особого труда преодолеваем течение. Река спокойная, и мы уже на середине ее. Но тут начинается то, что мы по неопытности не могли предвидеть: стремнина это называется, что ли, плот наталкивается на стремительное течение воды. Ни шесты, ни весла не помогают. Стараемся удержать плот ногами, а канат вырывается из рук. Руки разодраны, силы на исходе. Если отпустить канат, то через полчаса наш плот вместе с нами протаранит понтонный мост. Нет, руки разжимать нельзя, надо перебирать их. Сбрасываем в воду все грузы.

/ На грани потери жизни / возникает чувство ее объемности, / космоса. / Большой важности простых вещей. / Ощущение драгоценности речек, / каждого отдельного мгновения, / дождей то печальных, то желанных. / Ход сообщения. / Лошадь устала. / Корова мычит. / Ощущение объемности жизни. /

Я сбрасываю свой вещмешок, навсегда прощаюсь с письмами и дневниками. Сбрасываем патроны, гранаты и кабель. И вот в тот момент, когда последние силы покидают нас, мы вырываемся из этого стремительного течения, плот, спокойно покачиваясь, возвращается в исходное положение и становится управляемым. Спокойно доплываем до противоположного берега, но сколько потерь!

Теперь мы знаем, с чем нам придется при переправе столкнуться, но ведь надо возвращаться обратно. Там мой взвод. Переправляться можно, но на канат надо надеть две петли, накрепко закрепить их, за канат, вероятно, должны держаться не четыре, а восемь человек и совершенно необходимо соорудить упор для ног. Ну, а как нам вернуться назад? Мы устали, едва ли второй раз выдержим борьбу с адским течением.

И тут мой бывший ординарец Кузьмин заявляет, что вода не такая холодная, что сумеет переплыть на другой берег, что человека три переплывут с ним обратно, а ввосмером с канатом мы запросто вернемся.

Еще не наступило утро, когда после пяти рейсов, туда-назад, перевезли мы и лошадей, и все имущество. Чтобы не попасть под новые бомбежки, надо было срочно отъезжать от реки, и мы поехали через деревню по первой же перпендикулярной Неману дороге, и ехали, пока не рассвело, часа два. Распрягли лошадей и заснули.

Проснулись в семь утра от разрывов авиабомб. Я вскочил на ноги и понял, что куда мы не уехали от вчерашней переправы, что ночная наша дорога образовала петлю и дорога, перпендикулярная канатной переправе, привела нас к переправе понтонной.

Я проклинал себя, что с вечера не посмотрел на карту и доверился интуиции. К счастью, нам опять повезло, никто не пострадал и мы благополучно выбрались из зоны бомбежки.

Так вот, во время занятий по строевой подготовке после окончания войны в силезском городе Левенберге «налево», вместо «направо» повернулся бывший мой ординарец и спаситель, переплывший через реку Неман, ефрейтор Кузьмин.

НАЗАД В ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ, ФЕВРАЛЬ 1945 ГОДА

Да, это было пять месяцев назад, когда войска наши в Восточной Пруссии достигли эвакуирующееся из Гольдапа, Инстербурга и других оставляемых немецкой армией городов гражданское население. На повозках и машинах, пешком старики, женщины, дети, большие патриархальные семьи медленно по всем дорогам и магистралям страны уходили на запад.

Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали их, чтобы освободить путь, посбрасывали в кюветы на обочинах шоссе их повозки с мебелью, саквояжами, чемоданами, лошадьми, оттеснили в сторону стариков и детей и, забыв о долге и чести и об отступающих без боя немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек.

Женщины, матери и их дочери, лежат справа и слева вдоль шоссе, и перед каждой стоит гогочущая армада мужиков со спущенными штанами.

Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают. Гогот, рычание, смех, крики и стоны. А их командиры, их майоры и полковники стоят на шоссе, кто посмеивается, а кто и дирижирует — нет, скорее, регулирует. Это чтобы все их солдаты без исключения поучаствовали. Нет, не круговая порука, и вовсе не месть проклятым оккупантам — этот адский смертельный групповой секс.

Вседозволенность, безнаказанность, обезличенность и жестокая логика обезумевшей толпы. Потрясенный, я сидел в кабине полторки, шофер мой Демидов стоял в очереди, а мне мерещился Карфаген Флобера, и я понимал, что война далеко не все спишет. А полковник, тот, что только что дирижировал, не выдерживает и сам занимает очередь, а майор отстреливает свидетелей, бьющихся в истерике детей и стариков.

— Кончай! По машинам!

А зади уже следующее подразделение. И опять остановка, и я не могу удержать своих связистов, которые тоже уже становятся в новые очереди, а телефонисточки мои давятся от хохота, а у меня тошнота подступает к горлу. До горизонта между гор тряпья, перевернутых повозок трупы женщин, стариков, детей.

Шоссе освобождается для движения. Темнеет. Слева и справа немецкие фольварки. Получаю команду расположиться на ночлег. Это часть штаба нашей армии: командующий артиллерией, ПВО, политотдел. Мне и моему взводу управления достается фольварк в двух километрах от шоссе. Во всех комнатах трупы детей, стариков и изнасилованных и застреленных женщин. Мы так устали, что, не обращая на них внимания, ложимся на пол между ними и засыпаем.

7 МАЯ 2002 ГОДА, СПУСТЯ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ЛЕТ

— Я не желаю слушать это, я хочу, чтобы вы, Леонид Николаевич, этот текст уничтожили, его печатать нельзя! — говорит мне срывающимся голосом мой друг, поэт, прозаик, журналист Ольга Ильницкая. Происходит это в третьем госпитале для ветеранов войны в Медведково. Десятый день лежу в палате для четверых. Пишу до и после завтрака, пишу под капельницей, днем, вечером, иногда ночью.

Спешу зафиксировать внезапно вырывающиеся из подсознания кадры забытой жизни. Ольга навестила меня, думала, что я прочитаю ей свои новые стихи. На лице ее гримаса отвращения, и я озадачен.

Совсем не думал о реакции будущего слушателя или читателя, думал о том, как важно не упустить детали, пятьдесят лет назад это было бы куда как проще, но не возникло тогда этой непреодолимой потребности, да и я ли пишу это? Что это? Какие шутки продельвает со мной судьба. Самое занятное, что я не ощущаю разницы между этой своей прозой и своими рисунками с натуры и спонтанно возникающими стихами. Зачем пишу? Какова будет реакция у наших генералов, а у наших немецких друзей из ФРГ, а у наших врагов из ФРГ?

Озарение приходит внезапно. Это не игра и не самоутверждение, это совсем из других измерений, это **покаяние**. Как заноза, сидит это внутри не только меня, а всего моего поколения, но, вероятно, и всего человечества. Это частный случай, фрагмент преступного века, и с этим, как с раскулачиванием тридцатых годов, как с ГУЛАГом, как с гибелью десятков миллионов безвинных людей, как с оккупацией в 1939 году Польши — нельзя достойно жить, без этого **покаяния** нельзя достойно уйти из жизни. Я был командиром взвода, меня тошнило, смотрел как бы со стороны, но мои солдаты стояли в этих жутких преступных очередях, смеялись, когда надо было сгорать от стыда, и по существу совершали преступления против человечества.

Полковник-регулировщик? Достаточно было одной команды? Но ведь по этому же шоссе проезжал на своем виллисе и командующий Третьим Белорусским фронтом генерал армии Черняховский. Видел, видел он все это, заходил в дома, где на постелях лежали женщины с бутылками? Достаточно было одной команды? Так на ком же было больше вины: на солдате из шеренги, на майоре-регулировщике, на смеющихся полковниках и генералах, на наблюдающем мне, на всех тех, кто говорил, что «война все спишет»?

В апреле месяце моя 31-я армия была переброшена на Первый Украинский фронт в Силезию, на Данцигское направление. На второй день по приказу маршала Конева было перед строем расстреляно сорок советских солдат и офицеров, и ни одного случая изнасилования и убийства мирного населения больше в Силезии не было. Почему этого же не сделал генерал армии Черняховский в Восточной Пруссии?

Сумасшедшая мысль мучает меня — Сталин вызывает Черняховского и шепотом говорит ему: — А не уничтожить ли нам всех этих восточнопруссских империалистов на корню, территория эта по международным договорам будет нашей, советской? И Черняховский — Сталину: — Будет сделано, товарищ генеральный секретарь! Это моя фантазия, но уж очень похожа она на правду. Нет, не надо мне ничего скрывать, правильно, что пишу о том, что видел своими глазами. Не должен, «не могу молчать!». Прости меня, Ольга Ильницкая.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

И произошло это всего через две недели. Шли ожесточенные бои на подступах к Ландсбергу и Бартенштайну. Расположение дивизий и полков медленно, но менялось. Как я уже писал, второй месяц я был командиром взвода управления своей отдельной армейской роты и отдавал распоряжения командирам трех взводов роты о передислокациях и прокладывании новых линий связи между аэродромами, зенитными бригадами и дивизионами, штабами корпусов и дивизий, а также по армейской рации передавал данные о передислокациях в штаб фронта и таким образом находился в состоянии

крайнего перенапряжения. И вдруг заходит ко мне мой друг радист младший лейтенант Саша Котлов и говорит:

— Найди себе на два часа замену, на фольварке, всего туда минут двадцать, собралось около ста немков. Моя команда только что вернулась оттуда. Они испуганы, но, если попросишь, дают, лишь бы живыми оставили. Там и совсем молодые есть, а ты дурак, сам себя обрек на воздержание, я же знаю, что у тебя полгода уже не было подружки, мужик ты в конце концов или нет? Возьми ординарца и кого-нибудь из твоих солдат и иди. И я сдался.

«НИХТ ЦВАЙ!»

Мы шли по стерне, и сердце у меня билось, и ничего уже я не понимал. Зашли в дом. Много комнат, но женщины сгрудились в одной огромной гостиной. На диванах, на креслах и на ковре на полу сидят, прижавшись друг к другу, закутанные в платки. А нас было шестеро, и Осипов — боец из моего взвода — спрашивает: «Какую тебе?»

Смотрю, из одежды торчат одни носы, из-под платков глаза, а одна, сидящая на полу, платком глаза закрыла. А мне стыдно вдвойне. Стыдно за то, что делать собираюсь, и перед своими солдатами стыдно, то ли трус, скажут, то ли импотент, и я как в омут бросился и показываю Осипову на ту, что лицо платком закрыла.

— Ты что, лейтенант, совсем с ума, б..., сошел, может, она старуха?» Но я не меняю своего решения, и Осипов подходит к моей избраннице. Она встает, и направляется ко мне, и говорит: «Гер лейтенант — айн! Нихт цвай! Айн!» И берет меня за руку, и ведет в пустую соседнюю комнату, и говорит тоскливо и требовательно: «Айн, айн». А в дверях стоит мой новый ординарец Урмин и говорит: «Давай быстрее, лейтенант, я после тебя», и она каким-то образом понимает то, что он говорит, и делает резкий шаг вперед, прижимается ко мне, и взволнованно: «Нихт цвай», и сбрасывает с головы платок.

Боже мой, Господи, — юная, как облако света, чистая, благородная, и такой жест — «Благовещение» Лоринцетти — Мадонна!

Закрой дверь и выйди, — приказываю я Урмину. Он выходит, и лицо ее преобразается, она улыбается и быстро сбрасывает с себя пальто, костюм, под костюмом несколько пар невероятных каких-то бус и золотых цепочек, а на руках золотые браслеты, сбрасывает в одну кучу еще шесть одежд, и вот она уже раздета, и зовет меня, и вся охвачена страстью. Ее внезапное потрясение передается мне. Я бросаю в сторону португеею, наган, пояс, гимнастерку — все, все! И вот уже мы оба задыхаемся. А я оглушен.

Откуда мне счастье такое привалило, чистая, нежная, безумная, дорогая! Самая дорогая на свете! Я это произношу вслух. Наверно, она меня понимает. Какие-то необыкновенно ласковые слова. Я в ней, это бесконечно, мы уже одни на всем свете, медленно нарастают волны блаженства. Она целует мои руки, плечи, перехватывает дыхание. Боже! Какие у нее руки, какие груди, какой живот. Что это? Мы лежим, прижавшись друг к другу. Она смеется, я целую ее всю от ногтей до ногтей. Нет, она не девочка, вероятно, на фронте погиб ее жених, друг, и все, что предназначала ему и бергла три долгих года войны, обрушивается на меня.

Урмин открывает дверь: «Ты сошел с ума, лейтенант! Почему ты голый? Темнеет, оставаться опасно, одевайся».

Но я не могу оторваться от нее. Завтра напишу Степанцову рапорт, я не имею права не жениться на ней, такое не повторяется.

Я одеваюсь, а она все еще не может прийти в себя, смотрит призывно и чего-то не понимает.

Я резко захлопываю дверь.

— Лейтенант, — тоскливо говорит Урмин, — ну что тебе эта немка. Разреши, я за пять минут кончу.

— Родной мой, я не могу, я дал ей слово, завтра я напишу Степанцову рапорт и женюсь на ней!

— И прямо в СМЕРШ?

— Да куда угодно, три дня, день, а потом хоть под расстрел. Она моя. Я жизнь за нее отдам.

Урмин молчит, смотрит на меня, как на дурака: «Ты б....., мудака, ты не от мира сего». В темноте возвращаемся.

В шесть утра я просыпаюсь, никому ничего не говорю, найду ее и приведу, нахожу дом. Двери настежь. Никого нет. Все ушли, и не известно куда.

Когда я демобилизовался и первые месяцы метался по Москве, я искал девушку, похожую на нее, и мне повезло. Я нашел Леночку Кривицкую, что-то во взгляде ее было. И, когда мы в подъезде напротив старого МХАТа целовались, казалось мне, что я целую ее. А когда я потерял ее, все-таки у меня навсегда осталась та восточнопрусская, имени которой я не узнал. Бог весть. Может быть, и стихи мои оттуда...

/ Трясущиеся губы, сердце бьется, / заноют зубы. Что такое страх? / Мне выразить его не удастся. / Какой-то неожиданный размах? / Бежит сержант Баранов, бомба рвется, / И нет его. На дереве — карман. / Я говорил: — Лежи! А он был пьян. / А я уставы нарушать боялся. / Боялся женщин. Страх меня терзал. / Сержант был пьян, а я не рассказывал. / Боялся юнкеров пикирующих, мин. / Начальник от приказа отказался. / Любимая! Прости меня, прости! / Не мог, не мог, не мог я подвести / любого из доверившихся мне / с походкой неуклюжей, с грубым слогом. / Я понимал, что это ложь вдвойне, / и это чувство долга перед Богом, / и страх меня терзал, и я терзался. / Медаль. Потом начальник на коне / меня позвал, и я не отказался. / Не то коньяк, не то одеколон. /

ВОПРОСЫ

2004 год. Написал о том, что помнил, что видел своими глазами шестьдесят лет назад на войне. Осудил факты нечистоплотности, безнравственные поступки, нечеловеческие ситуации, все то, в чем и я был невольным, а то и сознательным участником.

Прочитал написанное и преисполнился недоумения. Налицо парадокс.

Мои связисты? Я сам? В 1943 году под Дорогобужем я безусловно сочувствовал им и во имя высшего — победы над фашистской Германией и построением коммунистического общества — закрывал глаза на повседневное игнорирование самой сущности этических представлений.

В 1943 году помыслы мои были чисты и дорога в будущее светла. В 2003 году и на прошлую наивность и на будущее смотрю с испугом и сердце мое обливается кровью.

... / Весна сорок пятого, март, двадцать три, / Осколки и дым. — Говори, говори! / Пилотка, значок, фотография, карта, / Немецкие фольварки и города (Мы даже с тобой не простились тогда) / Шинель, гимнастерка и мысли некстати / О школьнице Кате, о женщине Кате, / Как мы в блиндаже целовались, шутя, // Горящая улица, школьная парта... Мне страшно сидеть двадцать третьего марта / Над картой семь лет и полвека спустя. /...

... / Я был выхлестнут тишиной, / Шел по пяткам за мной / Мой дом, казавшийся мне тюрьмой — / Семьдесят лет в длину. / Мне ничего не сказал он, / Но, как сказал Честертон: / «Человек стреляет в луку, / Чтобы вернуться домой». / Я бы тоже стрелял туда, / Но, как всегда мне — «Нет!» — ответил мой пистолет, / Оставшийся на войне. /...

... / Можно все, что практически сложно / и физически вряд ли возможно / заключить, словно воздух в меха, / в две короткие строчки стиха / или в серию автопортретов. / Это Бог, это Левиафан. / Простота не имеет секретов. /...

Ревекка Фрумкина

Рефлектирующий абориген

Рефлектирующий абориген — это *contradictio in adjecto*. Уж что-нибудь одно: либо ты способен размышлять о своей культуре — и какой из тебя тогда абориген? Либо ты растворен в этой культуре и не замечаешь ее специфики, как не замечаешь воздуха, которым дышишь. Именно здесь я нахожу завязку сюжета применительно к себе и к своему поколению.

В самом деле. Родилась я в 1931 году в Москве, была, как и все мои ровесники, пионеркой, потом комсомолкой. До «дела врачей» я не ощущала себя чужой в малых группах — что в школе, что в университете. Именно поэтому в моей памяти почти фотографически отпечатались отдельные эпизоды отчуждения — например, когда в 1949 году в разгар кампании против космополитов у нас в школе отменили обсуждение нового романа Эренбурга «Буря» (подробно об этом рассказано в мемуарных очерках «О нас — наискосок», включенных в мою книгу «Внутри истории» (М., 2002).

Вы можете мне верить или не верить, но за четыре года, что я носила пионерский галстук, я ни разу не задумалась о том, что именно он символизирует и почему он красный. Я и сегодня не могу сказать, что испытывала чувство *искренного* подъема при звуках «Интернационала», поскольку это подразумевает, что где-то рядом были люди, которые могли бы, допустим, этот подъем изображать или даже пародировать. Более того, пародии на этот гимн мне и сейчас неприятны. Видимо, я не принадлежу к числу тех, кто может расставаться со своим прошлым, смеясь.

Итак, я была советским человеком, то есть аборигеном той, советской культуры. Потом я перестала им быть — но это происходило весьма постепенно. В результате в моей памяти сохранились довольно отчетливые представления не только о фактуре советского быта (впрочем, ограниченные опытом городской жизни, притом в столице), но и об эволюции этого быта. Недавно в разговоре с молодой женщиной 1980 года рождения я упомянула, что еще в начале шестидесятых годов в Москве посуду мыли мылом и питьевой содой. Ответом мне было недоверчивое удивление: «А разве «Фэйри» тогда не было?» Не было — но не только жидкостей для мытья посуды, но и горячей воды — в большинстве коммунальных кухонь. По-моему, мне не поверили...

* * *

Впервые я почувствовала себя «аборигеном», читая лет десять назад уж не помню чьи культурно-антропологические соображения о «главной» советской поваренной книге. В СССР «Книга о вкусной и здоровой пище» долгие годы была единственной книгой по кулинарии. К тому же, хоть она и выходила двенадцатью изданиями, ее еще надо было *достать*. (Для молодых читателей поясню, что книги В.В. Похлебкина появились по меньшей мере двадцатью годами позже).

В середине 50-х, когда сама я еще была «молодой хозяйкой», в Москве мука и сливочное масло уже *продавались*, а не *выдавались*. Тем самым рецепты гречневых блинов и грибного супа были очень кстати, так что «Книга» вполне оправдывала свое бесхитрое название. Этот увесистый том в твердом коричневом переплете стоит у меня в шкафчике на кухне, где соседствует с десятком поваренных книг из разных стран. При

этом я и сегодня не вижу в этой книге особого воплощения «советскости». Для меня это просто книга из прошлого.

Тем временем современный антрополог, вооружившись надлежащими ссылками на Бодрийяра и Бенямина, рассказывает мне о многослойности идеологических смыслов, отраженных не только в текстах упомянутой книги, но даже в оформлении форзаца и нахзаца. Как и положено, значимыми в аспекте «советскости» для антрополога оказываются все жанры, в этой книге представленные, — от собственно рецептов и информации о том, что такое *тимьян* или *шемаля*, до советов, касающихся культуры городского быта, слегка, впрочем, завуалированных, дабы не обидеть тех граждан, которые к этой культуре не так давно приобщились.

Замечу в этой связи, что в знаменитой американской поваренной книге «Joy of cooking», без которой не обходились многие поколения американских домохозяек, такая информация тоже присутствует, притом в изобилии и без всяких вуалей.

Вообще же, вторые, третьи и пятые смыслы, усматриваемые многими современными авторами не только в «Книге о...», но и вообще в советских текстах о тогдашнем быте, да и в нем самом, мне сегодня нередко кажутся *привнесенными*. В качестве бывшего советского аборигена я готова предьявить ученым, изучающим нас и наше время, упреки в гиперсемиотизации, то есть усмотрении скрытых смыслов там, где для моих современников их не было.

Вместе с тем, для антропологических описаний советской эпохи нередко характерна нечувствительность к переливам контекстов и мерцаниям смыслов: все либо сакральное, либо профанное, либо «сырое», либо «вареное». Но даже яйцо можно сварить всмятку и «в мешочек», «выпустить» в кипяток (это называется «пашот») и на сковороду с кипящим маслом (получится яичница-глазунья). Замечу, что именно чуткость к нюансам, к множественности смыслов делает уникальными книги такого ученого как американка Шейла Фицпатрик — ей удается писать о «нашем» как о «своем».

«Истоптанный» культурологами форзац «Книги о вкусной и здоровой пище» — это цветное фото (скверного, замечу, качества). На фото — стол, уставленный бутылками с грузинскими винами, хрустальными бокалами рубинового цвета, блюдами с осетриной и прочими яствами. Ну да, в «тучные» годы особо праздничный стол в Москве, Питере, Киеве или Черновцах примерно так и выглядел. В начале пятидесятых для наших скромных студенческих вечеринок я покупала в винном магазине в Столешниковом переулке бутылки именно с такими этикетками, добавляя к ним одну бутылку «Столичной» специально для Вити Алексева, который пришел на филфак МГУ с флота — его и отряжали мне в помощь, чтобы я не тащила тяжелые авоськи в общежитие на Стромынку.

А рубиновые бокалы я видела во многих московских семьях — по-моему, такое двухслойное стекло изготовлялось на заводах в Гусь-Хрустальном. Чудовищных размеров ваза из этого материала была подарена моей маме на юбилей ее сотрудниками. Мы тут же отправили вазу на дачу, где через год ее благополучно украли.

Другое дело, что хорошие вина завозились только в крупные города. Впрочем, это как раз известно. Менее известно то, что в начале шестидесятых в Москве были перебои с таким, казалось бы, элементарным добром, как кефир, а в 1963 году — даже с белым хлебом.

Итак, с одной стороны — гиперсемиотизация: там, где я вижу просто безвкусные бокалы, антрополог видит символы советского благополучия, да еще и переключку с рубиновыми звездами Кремля. С другой стороны — пренебрежение различиями, в том числе — существенными, не говоря уже об оттенках (примеры см. ниже).

Укажу три наиболее явные причины, по которым эта ситуация мне кажется достоянием анализа.

Первая лучше всего иллюстрируется рассказом Андрея Зорина о его студенте, который удивился, узнав, что до «перестройки» Бродского не изучали в университетах. И то сказать: родившись в конце 70-х, не так просто понять, что подростком ты застал не смену одного генсека другим, а революцию. То есть слом не только государственной машины, но целого общества со своей культурой (точнее, культурами).

Вторая причина — следствие первой: слом культуры не означает, что она уходит под воду целиком, как мифическая Атлантида. Многое живо, пока духовно функционируют люди, в ней и ею жившие. И неважно, принимали они ее или отвергали — *они были ее частью*. Это они помнят, что здание, где прошло детство Юрия Трифонова, называлось «Дом правительства», а «Домом на набережной» назвал его сам Трифонов, потому что роман «Время и место», где этот дом описан, именно *роман*, а не документальная проза. Они же удостоверят, что вплоть до начала войны, то есть до 22 июня 1941 года, открытие каждой новой станции метро в Москве воспринималось как праздник: детей лет с четырех туда возили так же непременно, как в зоопарк. Едва ли кто из моего поколения в молодости задумывался о *стоимости* мраморных подземных дворцов или о колоссальных затратах на перелеты «через полкос в Америку».

Третья причина — следствие второй. То сплетение явлений материальной и духовной культуры, которое культурологи и издатели упаковывают в рубрику «История повседневности», устроено особым образом. Молекулы и структуры этого мира «существуют» в разных модусах, а часы показывают вовсе не астрономическое время. Один и тот же физический объект — например, старая родительская дача, — для одних несет огромную символическую нагрузку, а для других имеет чисто функциональную ценность, в силу чего в близкой перспективе не будет иметь и вовсе никакой, потому что развалится.

С объектами, имеющими только символическую, а не материальную ценность, тоже не все просто. Мои ровесники удивляются массовому забвению русской классики: наши внуки ее не читают. Но пора признаться себе в том, что очень многие из нас (именно из нас, горожан из относительно образованных семей), кто в отрочестве читал «Войну и мир», а в ранней юности — «Асю» Тургенева, на деле выбирали вовсе не между Тургеневым и Буниным или Толстым и Набоковым. Бунин стал доступен только после 1956 года, когда вышло пятитомное собрание сочинений (тиражом 250 тысяч, но без «Жизни Арсеньева» (!). Набоков же к большинству из нас и вовсе пришел лишь с началом перестройки.

А как хотелось читать «про любовь»! Про дружбу и предательство. Про войну. Про балы и охоту. Но когда «про любовь» (равно как и про многое другое) оказалось возможным читать что-то иное, нежели классиков, когда появились герои, с которыми более естественно отождествить свои чувства и мысли, мы — то есть не мы сами, а уже наши дети и внуки — перестали читать Тургенева, равно как и Толстого, Гончарова и т.д. (Теперь, кажется, не читают и Бунина — интересно, почему.)

Конечно, как и положено аборигену, я склонна видеть в уходящей (ушедшей?) культуре такие смыслы, которые, быть может, являются составляющей сознания всего лишь *моей* малой социальной группы, да и то за короткий временной промежуток — например, с 1956 по 1985-й. Или с 1986 по 2000-й. Но в самих этих ощущениях я, как оказалось, не одинока. Вот свидетельство Льва Рубинштейна, высказанное в связи с обсуждением книги об андеграунде — то есть о людях другой, заведомо не моей социальной группы.

«Просто пока это явление — то есть андеграунд — существует не только в виде корпуса текстов, но и физически. Оно еще не затвердело. Многие из нас еще живут не то чтобы этими прежними представлениями, но этими чувствованиями. О себе я это могу точно сказать. На многие культурные вещи я реагирую как человек андеграундной культуры, я не перестал им быть, хотя моя жизнь, культурные и жизненные обстоятельства здорово изменились. Это не хорошо и не плохо. Это так. Поэтому я не готов чувствовать себя той бабочкой, которую рассматривают под микроскопом. Я не могу все это воспринимать как науку. Я могу это считать частью той же самой культуры, к которой мы все принадлежали и продолжаем принадлежать» («Критическая масса», 2004, № 1).

Мораль, как мне кажется, очевидна: беспристрастных свидетельств не бывает. Впрочем, это уже задача профессионалов — разбираться в фактах, документах, пристрастиях и мифологизациях.

...Хорошо было классикам! Малиновский описывал жителей Тробрианских островов, Бурдые — кабилы, то есть сравнительно «холодные» общества. Мы же были — я

думаю, что и остаемся — не просто горячим, а «пылающим» обществом. И изучать нас нелегко. Вот, например, что пишет Екатерина Деготь: «Все еще ново звучит точка зрения, согласно которой секс не просто не отсутствовал в жизни граждан СССР, но всегда занимал в ней одно из центральных, а весьма часто и непомерно гипертрофированных мест. Как и интимность отношения с вещами, эта часть советской цивилизации еще будет когда-нибудь исследована» (курсив мой. — Р. Ф.) («Логос», 2000, № 5—6).

О сексе пусть пишут антропологи: в конце концов, сексуальные отношения в обществе — это их традиционная проблематика. Об отношениях с вещами тоже писали — но тут и «аборигену» есть что сказать.

* * *

Жизнь в коммунальной квартире и невозможность купить обувь по ноге не воспринимается как катастрофический опыт, если так живут все вокруг. Тем больший интерес вызывает анализ той *интимности отношений с вещами*, окружавшими советского человека, к изучению которой призывает Е. Деготь в цитированной выше статье.

Образцовым научным сочинением на эту тему мне представляется известная книга Ильи Утехина «Очерки коммунального быта» (2004). А образцовым художественным свидетельством — роман А.П. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени».

Весьма поучительны и материалы, опубликованные в журнале «Неприкосновенный запас» №№ 33 и 34 за 2004 год. Их авторы по преимуществу родились в середине семидесятых годов и потому о советской материальной культуре они пишут с той же отстраненностью, с которой для меня естественно цитировать воспоминания С.Н. Дурьлина о московском купеческом быте («Мне некогда, или Осторожные советы молодой женщине». М., 2004). Популярная рубрика журнала «Наука и жизнь», которая называлась «Маленькие хитрости», не с ними «вошла в поговорку». Видимо, это облегчает задачу Г. Орловой, посвятившей культурно-антропологическому анализу этой рубрики обстоятельную и талантливую статью («Неприкосновенный запас», 2003, № 34). Не менее любопытна статья «Общество ремонта» Е. Герасимовой и С. Чуйкиной («Неприкосновенный запас», 2003, № 34). Эти петербургские социологи опирались на два массива данных. С одной стороны — интервью с жителями Петербурга, а с другой — впечатляющее количество книг англоязычных авторов, анализирующих нашу повседневность. Удачно то, что отношение людей к материальной стороне жизни и повседневному обиходу в данном случае выявилось как побочный продукт интервью, проведенных авторами с иными целями. Это позволяет считать полученные ответы весьма надежными.

Отдельные номера журнала «Наука и жизнь» за 1960—1970-е годы с рубрикой «Домашнему мастеру» и с «Маленькими хитростями» еще и сегодня лежат у меня на даче. Для Г. Орловой эти рубрики — источник знаний о советском человеке и его быте. В совокупности они предлагают, по ее выражению, «стратегию выживания в мире шероховатых вещей и услуг». Это не только удачно сказано — но в точности соответствует советской реальности. Меня, однако, всякий раз занимало то, почему в нашей семье советы из этих рубрик никому не пригодились. Думаю, причина в том, что «хитрости», якобы адресованные всем, на деле могли быть эффективно использованы только мужчиной с «хорошими руками» и немалым свободным временем. Это человек, у которого в хозяйстве уже есть и сверла, и отвертки с жалами побольше и поменьше, и проволочки разных сечений, и изолента, и все доступные виды лейкопластырей (скотч еще не был у нас известен), а также всякие шайбочки, гаечки, винты и шурупчики. Ему после работы не надо проверять тетради, забирать детей из детсада, ехать в дальнюю аптеку за лекарствами для стариков-родителей, звонить в «свое» отделение дежурному врачу, чтобы узнать, все ли там в порядке, и т.п.

Изобилие советов наподобие изготовления различных отверток из гвоздя предполагает у читателя не только немалый опыт, но еще и обширный набор инструментов: надо уж быть и вовсе не от мира сего, чтобы не понимать, что гвоздь — штука очень прочная, а расплющить его до жала отвертки можно, имея лишь хоть маленькие, но тис-

ки. Или мощные пассатижи. Так реконструируется и адресат всех этих советов — это умелец, быть может — из числа радио- и фотолюбителей, чаще — квалифицированный рабочий или инженер с производства. И, конечно, мужчина. Если же «хитрости» адресованы женщине, то она, скорее всего, пенсионерка. А мы с мужем были научными работниками с ненормированным рабочим днем и пожилыми и больными родителями...

Любопытно, кстати, что в те времена даже в нашей среде «хорошие руки» у мужчины были важным фактором в семейной жизни. У меня был друг, доктор математики, жена которого, будучи ревнивой просто по натуре, тем не менее ревновала его не ко мне, а к его готовности вешать у нас полки и чинить мой магнитофон, потому что аналогичные дела его всегда ждали и дома.

В целом «хитрости», анализируемые Г. Орловой, как правило, возмещают отсутствие нужных вещей прежде всего за счет безразмерного ресурса времени у советского человека. Стоит еще раз обратить внимание на то, что в советском обществе время вообще не рассматривалось как ценный ресурс, тем более — как деньги. Поэтому в самом глупом положении оказывались те, у кого не было времени, хотя деньги — были, пусть и самые скромные.

Когда я еще жила с родителями в коммунальной квартире на улице Горького, моя мама, имевшая почетное звание «Заслуженный врач республики», откровенно завидовала нашей соседке Ксении Ивановне, в прошлом уборщице, а нынче пенсионерке. Ксения Ивановна постоянно готовила морковные и тыквенные оладьи, картофельные котлеты, начиненные жареным луком, драники, лапшевники, творожники, блины и блинчики всех видов — то есть дешевые, но трудоемкие блюда. Маме, чей рабочий день имел начало, но не имел конца, проще было сварить курицу — что, конечно, было недешево.

И все-таки даже мама постоянно штопала и ставила заплатки — все это она делала виртуозно. Всю жизнь штопала и я. Но, поклявшись раз и навсегда не ставить заплат, я научилась это делать в конце восьмидесятых, когда из магазинов исчезло буквально все. И тут оказалось, что целые десятилетия я инстинктивно вела себя как истинный обитатель «общества ремонта», описанного Е. Герасимовой и С. Чуйкиной.

Начиная с середины 1970-х, когда меня наконец стали выпускать в частные поездки за границу, мы с мужем гостили у моих и его учеников и коллег в Болгарии, Польше, Венгрии и Чехии. Там всякий раз, пренебрегая недоумением друзей, я покупала качественную цветную изоленту, клеи разного назначения, уплотнители для оконных рам, корсажную резину, бумажные носовые платки, удобные крючки и даже проволочные полочки, которые можно прицепить к чему угодно.

Пригодилось почти все, разве что один тюбик клея успел высохнуть. Но белая изолента и клей ПВА — правда, привезенный уже из Швеции в 1990-м, продолжают выручать меня и сегодня. И все еще вполне оправдывает себя и вовсе особый скотч, подаренный мне в 1973 году (!) американской стажеркой. Я использую его уже тридцать лет и при этом экономлю. «Зачем? — спросите вы, — ведь все у нас давно продается».

Это правда: в продаже есть почти все. Но, во-первых, далеко не все, а во-вторых, цена всех этих мелочей нередко абсурдно велика. А «общество ремонта» у нас вообще исчезло: в социуме, где 30% населения живет ниже прожиточного минимума, это было бы самоубийственно. Исчезло другое — ремонтные мастерские: их услуги для большинства населения стали слишком дороги. Дороги вовсе не потому, что не нужны. Напротив, они многим необходимы.

Авторы статьи «Общество ремонта» правы, упоминая, что на Западе ремонт, как правило, невыгоден. Отметим, однако, что в Европе, не говоря уже о США, покупка стандартного, но вполне надежного будильника или заурядной настольной лампы не может нанести особого урона даже бюджету человека, живущего на пособие. У нас же цена обычного электроудлиителя с фильтром составляет 1/10 месячной зарплаты бюджетника со стажем.

Слабое место любого такого удлинителя — вовсе не фильтр, защищающий от перепадов напряжения, что было бы естественно, а примитивный выключатель, точнее — его красная полупрозрачная крышечка: она почему-то плавится. Конечно, такой пустяк в ремонт никто не возьмет, так что я была счастлива, когда приятель починил мне удли-

нитель за пятнадцать минут. И если у вас отвалились три-четыре плитки в ванной, отклеилась проножка стула, треснуло кашпо для цветов, не утешайте себя мыслью, что за углом вам это починят. Научитесь делать это сами, благо клей продается.

Да, мы больше не стираем пластиковые пакеты. И определенная (в численном отношении — очень малая) часть нашего общества действительно приближается к стилю жизни общества одноразового потребления. Но пачка бумажных носовых платков, обычные бумажные полотенца и салфетки, стандартные пальчиковые батарейки и тому подобные «одноразовые» товары в нормальном социуме не должны вызывать размышлений, «купить носовые платки или пачку геркулеса?» — ни у пенсионера, ни у бюджетника. Я покупаю то и другое, зато продолжаю штопать носки.

* * *

Специфическое отношение к вещи в аспекте ее прагматической ценности действительно было свойственно советским людям. Но подлинно интересным мне кажется вовсе не то, что в обществе товарного дефицита вещь использовалась, пока не истлевала. Что бы ни писали по этому поводу антропологи, это всего лишь *логично*. Более любопытно, что с исчезновением дефицита в *постсоветском* — а на самом деле все еще *глубоко советском* — обществе оказалось утерянным уважение к труду, вложенному в вещь.

С точки зрения «протестантской», то есть подлинно *трудовой* этики, в любой рукотворной ли, природной ли вещи воплощено усилие Творца. Разумеется, в обыденной жизни люди не обсуждают такие высокие материи — они просто ведут себя в соответствии с тем, что им привито с детства родной культурой.

На мой взгляд, мало кому из современных авторов удалось рассказать об этом с такой пронзительной точностью, как это сделал А.П. Чудаков в уже упомянутом романе. Подробное описание быта Саввиных-Стремоуховых в военные и послевоенные годы — это одновременно увлекательное и ужасающее описание *робинзонады* семьи, которая сумела жить в материальном и духовном отношении, как если бы она действительно оказалась на необитаемом острове. Не знаю, где еще в мире, кроме России, во второй половине XX века условием выживания было не виртуозное владение какой-нибудь одной специальностью, а умение делать все, что нужно для жизнеобеспечения, — от ухода за скотом и способности вести безотходное хозяйство на своем клочке земли до умения изготовить амальгаму для зеркала и получать в домашних условиях сахар из свеклы.

«*Манья наилучшего предметоустройства мира*», в полной мере свойственная деду автора, попovichу, чьи предки были священниками чуть ли не со времен Петра Первого, а по образованию — агроному, физически сильному и в девяносто лет, — это феномен духовный. Это уважительное отношение к плоти жизни и ее подробностям, свойственное людям ушедшей, *досоветской* культуры.

Хозяйственность как скромная бережливость, умелость и распорядительность отнюдь не тождественна устремленности к накоплению как к самоцели. Перманентная революция и коллективизация привели к исчезновению потомственных «умельцев» *во всех сословиях* — будь то крестьяне, заслуживавшие это имя, т.е. реально хозяйствовавшие, а не батрачившие; купцы и мастеровые из старообрядцев, дорожившие именем и знавшие толк в качестве того, что изготовляли и чем торговали; насельники монастырей, разводившие в теплицах диковинные фрукты; а также и дворяне, в имениях которых было к началу революции образцовое хозяйство на английский манер.

Исчезновение этого человеческого типа — важнейший нюанс, о котором антропологи как-то мало пишут. А ведь именно вместе с его уходом в России исчезло уважительное отношение и к труду людскому, воплощенному в рукотворной вещи, и к божьему замыслу, воплощенному во всем сущем. Но такое отношение не может быть взрощено человеком индивидуально — оно *передается по традиции*.

Собственно, по традиции передается всякая культура. Как некогда заметил наш блистательный индолог В.С. Семенов, при нормальном воспроизводстве культуры не должна возникать проблема «отцов и детей». Традиция не *забывает* думать своим умом, но она противостоит податливости к спущенной «сверху» индоктринации.

Разумеется, никакая традиция не может быть хороша как таковая, если только ты не убежденный пассеист, для которого любое прошлое хорошо уже тем, что оно было и притом давно. Но на самом деле даже для пассеиста — в России ли, или в Британии, на деле хорошо не любое прошлое, а такое, в котором нет рабочих домов и родов прямо у жнивья. Пассеист «вынимает» это прекрасное прошлое из секретера в стиле королевы Анны или из павловского буфета, а туда ведь попадает лишь *отобранное*. Именно о символической значимости любовно сохраненных вещей написал И. Утехин в очерке «Любимые вещи» («Неприкосновенный запас», 2003, № 33).

В силу уважения к воплощенному труду воспитание в духе «протестантской» этики требует отнести в церковь или в любую благотворительную организацию вещи, из которых выросли ваши дети, а также книги, игрушки, посуду и все, чем вы больше не пользуетесь. Так называемый *garage sale* — распродажа ненужных вещей, особенно широко практикуемая в «одноэтажных» поселениях Америки и Австралии, отнюдь не имеет целью принести доход хозяевам.

Ресайклинг — вторичная промышленная переработка всего, что можно переработать — продукт все той же ментальности. В Швеции мне пришлось специально спросить у соседей, для чего именно предназначен каждый из четырех мусорных ящиков, расположенных во дворе дома, где я жила — я не знала шведского языка настолько, чтобы понять, что бутылки из темного стекла следовало бросать отдельно от бутылок и банок из стекла обычного.

У меня было несколько поучительных разговоров на близкие темы с хозяйкой квартиры в Эдинбурге, где я поселилась на время участия в международной конференции. Лизе было за сорок, она работала в университете и жила одна в просторной квартире в доме в георгианской части города. Дом этот был внесен в реестр памятников архитектуры, и Лиза была (в нашей терминологии) «общественницей», ответственной за его состояние. К этим своим обязанностям она относилась ревностно, и именно благодаря общему интересу к архитектуре мы подружились.

Каждый день по разным поводам я слышала от Лизы фразу «It is such a waste!» («Какая непροстойтельная расточительность!»). При этом Лиза не была ни бедна, ни скупа, а ее квартира хоть и была обставлена скорее в духе минимализма, но сервировочный столик изобилдовал бутылками и хрустальными стаканами, а в кухне присутствовали все современные аксессуары и облегчающие труд хозяйки *gadgets*. По утрам Лиза кормила меня традиционным английским завтраком и, снимая яичницу со специальной сковороды специальной же лопаткой, сопровождала это комментариями: «Все-таки у нас всего слишком много»:

Как-то мы были вместе в итальянском ресторанчике, где Лизе положили на блюдо такую гору спагетти, что доедала она их не без труда, заметив: «Дома меня слишком ревностно учили не оставлять ничего в тарелке».

Лиза посоветовала мне посмотреть одно из красивейших зданий Эдинбурга — кажется, оно называлось «Ассамблея». И архитектурно, и функционально большой зал в этом здании напоминал сильно уменьшенный Колонный зал Дома союзов, то есть зал Дворянского собрания. Но более, чем сам зал, меня поразило проходившее в нем действо. Это был традиционный рождественский благотворительный базар. За столами с эмблемами разных благотворительных организаций и фондов (Фонд борьбы с раком, «За здоровое детство», экологи, «Замки и парки» и т.д.) стояли люди всех возрастов — от мускулистых юношей в футболках с логотипами соответствующей организации до вполне диккенсовских старушек с седыми буколками. За символическую цену они радушно предлагали купить всякие нужные и симпатичные вещи.

Подчеркну, что разложенное и расставленное на столах никак не напоминало ассортимент английского или датского блошиного рынка. Кое-что шагнуло сюда прямо из некогда читанных мной английских романов — например, домашние джемы в баночках, аккуратно завязанных бумагой в красную и зеленую клетку, домашние же крендельки, упакованные в нарядные коробки. Кроме того, задешево продавались разрозненные тарелки и фаянсовые миски, недорогие, но явно неновые сувенирные вещицы и пожертвованные производителями текстиль, иногда с малозаметным браком. Меж

столами оживленно сновали покупатели, отнюдь не принадлежавшие к обездоленным слоям общества. Я тоже ушла не без добычи: за мизерные деньги я купила набор мисок из жаропрочного стекла для микроволновки, которую мы недавно приобрели (в Москве такой посуды еще не было).

Но самым впечатляющим оказался процесс покупки сувенирной глиняной кружечки, в миниатюре копирующей пивную. Я хотела привезти ее в подарок мужу в качестве рюмки для яйца, но уж очень она была мала. «Так давайте проверим это, мэм!» — воскликнули две пожилые дамы, к которым я обратилась со своими сомнениями. С какого-то из соседних столов было тут же принесено сувенирное яйцо из камня, напомилавшего малахит, и водворено в кружку. «В самый раз, мэм!» — с удовольствием заключили дамы. Вещица стоила такие пустяки, что дело было явно не в деньгах. Важно было, что вещь нашла хозяйина.

* * *

В заключение приведу мнение пронизательного писателя Михаила Айзенберга — в прошлом человека андеграундной культуры.

«Особенность этого прошедшего времени, загадочная особенность, состоит в том, что оно не проходит. Оно не отделяется в сознании, не изживается, не отходит в исторический план. Не становится историей. История — это то, что было до тебя. И когда наше прошлое рассматривается как исторический и культурный феномен, это производит довольно диковатое впечатление. Это время в нашем сознании целехонькое. Это шкура неубитого медведя. И для ее выделки нужны какие-то особые способы, при которых не подменялась бы природа объекта. Неостывшее время нельзя рассматривать формально, потому что оно еще не стало формой. Не стало предметом».

Видимо, рефлексия аборигена и есть попытка неформального рассмотрения «неостывшего времени».

P.S. В том, что время это действительно «неостывшее», можно убедиться, заглянув на сайт <http://www.goodidea.ru/user/frame?idrub=9&dzn=2>. Там вы найдете все тот же совет сделать грядку для огурцов из бочки, который обсуждает Г. Орлова. Вам также напомнят, что «банка из-под селедки пригодится весной», посоветуют, как быть, «если у секатора испортилась пружина», и помогут сделать инструменты из старых лопат и продлить жизнь садовому шлангу.

Просто кладезь для антрополога...

Валерий Шубинский

Как мыши кота хоронили, или Свидетельство защиты

1

Это статья о двух книгах двух (трех) петербургских критиков. Трех — потому что критик Рейн Карасты, под именем которого появились в журнале «Звезда» статьи, вошедшие в недавно изданную «Новым литературным обозрением» книгу «Человек за шторой», — персонаж, подобный Козьме Пруткову: по слухам, человек, носивший это эстонское имя, был хозяином дачи «где-то под Нарвой», почти не знал русского языка и давно умер. Премию, присужденную несколько лет назад Рейну Карасты, вышли получать критик Борис Рогинский и поэт Игорь Булатовский. Их имена значатся на обложке книги, а сноска под оглавлением позволяет определить степень участия каждого из них в общей работе.

Никита Елисеев, автор книги «Предостережение пишущим» (увидевшей свет два года назад в петербургском издательстве «Лимбус пресс»), принципиально не надевает никаких масок, не выстраивает дистанций между «физическим лицом» и «лицом литературным», даже не пользуется (или почти не пользуется) псевдонимами: все, от случайной газетной заметки до концептуальной статьи, от историко-литературного исследования до научно-фантастического романа (а жанровый диапазон именно таков) — под собственным именем. «Иже писах, писах». (Правда, маска выстраивается сама по себе: фотография Елисеева на обложке до смешного не похожа на его привычный житейский облик.)

Эта статья — об одном общем сюжете, проходящем (сознательно или нет) через обе книги и связывающем их.

Елисеев пишет о многом: с одной стороны — о текущей литературе, как полагается «цеховому» критику, эксперту и члену жюри различных премий, знатоку литературного процесса; с другой — о Генри Джеймсе и Оскаре Уайльде, о Гоголе, Моцарте и Сальери... Лучшее, может быть, его эссе — об одном эпизоде «Одиссеи», который современный критик сумел описать (и убедительнейше описать!) как эпизод из психологического романа XIX столетия. Чей дух витал над ним в это время? Хорхе Луиса Борхеса, коллег-библиографа (Елисеев служит в Российской национальной библиотеке)? Или автора «Книг отражений» — знатока Гомера, переводчика Еврипида и любителя Достоевского?

Дух Анненского витал и над «Рейном Карасты»: дух критического импрессионизма. Но импрессионизм этот очень своеобразен. Рогинский и Булатовский сами задали себе трудные (опять-таки — борхесовские) условия игры: писать не прямо о художественных текстах, а о текстах аналитических, написанных по поводу художественных текстов; реагировать на уже сказанное, снимать пенки с чужого варенья. Критика критической критики, одним словом. Сверхрефлексия. Но в глазах самих... самого Рейна

Об авторе | Валерий Шубинский (р. 1965) — поэт, критик, прозаик, автор книги «Николай Гумилев: жизнь поэта» (2004), трех книг стихов и многочисленных литературно-критических и культурологических статей. Живет в Санкт-Петербурге.

Караста, так удобнее! — это не сверхрефлексия, а полное отсутствие рефлексии. Это позиция читателя, а не критика, а — «читатель, говоря о любимых книгах, считает себя ниже писателя и слепо ему доверяет. Он отказывается видеть в литературе двойное дно». На самом деле противоречия никакого нет: субъект рассуждений — читатель русского толстого журнала, простосердечно читающий подряд «беллетристику» и критику. Но говорить ему хочется только о том, что он уже успел полюбить — или отозваться на чужие слова о том, что он успел полюбить. Та художественная литература, что пишется ныне (хоть бы упомянутые в предисловии Владимир Сорокин и Александр Пятигорский) его сердечных струн не задевает. Его любовь — в прошлом. В советском прошлом: из тринадцати статей десять посвящены, в конечном итоге, художественным или интеллектуальным артефактам советской эпохи. Два из трех исключений явно подтверждают правило: разговор о Толкине сразу же переходит на фильм «Белорусский вокзал»; роман Владимова «Генерал и его армия» и фильм Германа «Хрусталева, машину!» сближает прежде всего отраженный в обоих опыт сталинского тоталитаризма... Единственное настоящее исключение — Шекспир, точнее, антишекспировская, антистрафордская книжка И. Гилилова. Но и в связи с Шекспиром разговор, в конечном итоге, идет о наболевшем, о родном... О русско-советском.

Книга Елисеева, в конечном счете, во многом о том же самом. Не потому, что и он пишет не только о Генри Джеймсе и «Одиссее», но и о Платонове и Олеше — и опять-таки о владимовском «Генерале». Хоть бы и не писал! Характеризуя двух петербургских поэтов, Елисеев характеризует и себя: «В стихах у Елены Шварц в коммуналке живет волшебник из Древнего Китая, а Стратановский в Древнем Израиле и в Древнем Риме обнаруживает все те же коммуналки, бараки, ударные стройки и прямую уголовщину...» Елисеев любит и Елену Шварц, и Сергея Стратановского, но понятно, кто ему ближе. Есть опыт, о котором он не забывает, даже говоря на темы, по видимости, бесконечно от него далекие.

Никита Елисеев родился в 1959 году, он на десять-пятнадцать лет моложе Шварц и Стратановского и на шесть лет старше меня. И ровно на столько же моложе меня Рогинский (род. 1972) и Булатовский (род. 1971). Причем разница между 1965 и 1971 годами рождения несравнимо важнее разницы между 1959 и 1965-м. Мы с Елисеевым закончили школу при Брежневе. Мы были членами ВЛКСМ. Мы испортили зрение, читая Бродского и Мандельштама в слепой машинописи, «Лолиту» и «Чевенгур» в уменьшенных, с крохотными буквами фотокопиях. Наши одноклассники воевали в Афганистане... Мы жили в той стране. Нам есть что о ней сказать. Но что, казалось бы, могут сказать об этой Атлантиде те, чьим первым сознательным впечатлением должны были стать ежедневные митинги, пир гласности и очереди за водкой?

2

Но о них — потом. Сначала о нас.

«Один из парадоксов нашего духовного развития в том и состоит: то, что было выходом из идеологии, ныне кажется плотью от плоти старого, прежнего; ныне кажется свидетельством защиты, а не обвинения. Самой верной дочкой Короля Лира оказывается Корделия, та, с которой он (мягко говоря) больше всего ругался. Советское общество умирает на руках советских либералов. Настоящие антисоветчики смакуют Лени Риффеншталь с «Кубанскими казаками» и перечитывают «Тлю» с «Кавалером Золотой Звезды»...»

Это — Елисеев, но это не из книги «Предостережение пишущим». Статья «Между Орвеллом и Диккенсом» написана позже и в сборник не вошла. Непосредственным поводом к процитированному выше размышлению стал (как указывает автор) разговор с эссеистом Кириллом Кобриним. Кобрин, человек нашего же поколения (р. 1964), поморщился при упоминании Юрия Трифонова и с иронической похвалой отозвался о стилистике Семена Бабаевского.

Елисеев, собственно, и не спорит... Он — самоопределяется. Он честно говорит: вы — антисоветчики, у вас есть право рассуждать так, для вас естественно рассуждать

так... А я — советский либерал. Страна, переставшая существовать в 1991-м, была моей страной, ее культура была моей культурой, как бы я ни возмущался, как бы ни негодовал... (Этот «советский либерализм» объединяет Елисеева и с Борисом Слуцким, и с его сверстницей Еленой Ржевской, которой посвящена статья «Между Орвеллом и Дикенсом». И даже — с мужем Ржевской, погибшим на фронте Павлом Коганом, чьей бесстыдно-романтической «Бригантине» посвятил одно из своих эссе Борис Рогинский.)

Но что ответить на это полемическое самоопределение его предполагаемому адресату — в том числе, скажем, автору этих заметок? Одному из тех, кто с юности до мозга костей ненавидел советского человека (в том числе советского человека в себе), советскую этику и эстетику, советский воздух и советскую власть тоже — не в последнюю, но и далеко не в первую очередь... В этом слове — «совок» — для нас собиралось очень многое: провинциальная тупость и убожество, идеологическая зацикленность, но главное — запрограммированность человеческой личности, ее стопроцентная детерминированность социальными факторами. Всякая литература, обращенная исключительно к социальному опыту, игнорирующая метафизический уровень бытия, была для нас «советской», вне зависимости от политических интенций автора. «Антисоветчина» была почти синонимом «советчины»: снизойти до борьбы с этим государством было унижением; стремиться к его улучшению — сверхунижением и к тому же глупостью.

Орвелла мы читали, но он не был *нашим* писателем, не только из-за своей эстетической старомодности. Кого, в конце концов, волновали обиды бывшего троцкиста на сталинский режим — и разве они были актуальнее, чем, скажем, жалобы какого-нибудь старого штурмовика, сподвижника Эриха Рема, на подлого Адольфа Ромула? Мало кто из нас хотел быть гражданином Смитом; нас скорее привлекал образ Цинцинната Ц., врущего раскрашенные шоры и выходящего к «существам, подобным ему».

А Диккенс... Этот викторианский джентльмен, при всем своем таланте и обаянии, и сам-то втайне не так уж добр: чего стоят его «хорошие финалы», где отрицательные герои попросту вышвыриваются по ту сторону рождественских декораций, и благовоспитанным детям разрешается поглядеть в щелочку, как злодеи роятся в мусорных бачках и вьют канаты в Ньюгетской тюрьме. А уж «диккенсовский» аспект советской жизни кажется особенно страшным: вновь разрешенная елка — в самый канун 1937 года. «Стоят рождественские елочки, скрывая снежную тюрьму...» В той же, процитированной выше статье Елисеев использует, между прочим, вот какую метафору: «Представьте себе монолитное идеократическое общество, этакую гранитную скалу — в ней неизбежно окажутся *пещеры человечности*. Через сто лет выясняется, что монолит если и существовал, то не вопреки, а благодаря этим *пещерам человечности*, — и печальнее как раз по ним, а не по монолиту...» Хочется ответить метафорой рискованной: эти пещеры наливались кровью, Никита, пещеристое тело затвердело, и нас им имели...

Нет уж, пусть тоталитарный колосс, которому можно холодно поддвигаться — ужаснуться... Пусть разлагающаяся глыба, мимо которой можно пройти, брезгливо зажав нос... Но без «пещер человечности», без симоновской любовной лирики, без евшушковской совестливости! И даже без Трифонова... Не смейте требовать, чтобы я здесь что-то любил!

Так я рассуждал двадцать, да еще и десять лет назад. А теперь спрашиваю себя: а где было все, что ты любил, как не там?

Какие там десять — всего семь лет назад я прочитал статью Елисеева про Бориса Слуцкого, напечатанную в одном журнале с моей статьей о Набокове. Это был первый попавший мне в руки текст Елисеева, и я искренне поразился: как может умный человек 1959 года рождения писать о «совке» Слуцком, и не иронически, не отстраненно, не как об археологическом артефакте, а как о живом человеке, о поэте, о равноправном собеседнике? В то время Набоков казался ближе и понятней, чем Слуцкий: очередной парадоксальный загиб русского времени (такое уже было: «Повесть наших отцов, словно повесть из века Стюартов, отдаленней, чем Пушкин, и видится точно во сне...»). А уже через год я сам писал о Слуцком и не чувствовал ни высокомерия, ни отчужденности.

Елисеев оказался прозорливей своих сверстников. Именно потому, что он признал свою «советскость» и никогда от нее не отрекался, не видел в ней позорную болезнь, не

сделал ее объектом «самоненависти» (объект самоненависти у него другой) — он смог и в брежневском болоте различать предсмертное дыхание революционной утопии, и через эту утопию осознать связь «совка» и с русским модернизмом, и с мировой историей XX века. В свое время многим (и мне в том числе) казалось, что историческое время идет лишь за границами СССР, что внутри этих границ — вечное безвременье, междувременье, «карман», загробное царство. Для Елисеева это всегда было не так.

Не случайно в замечательной статье о Стратановском Елисеев вдруг вспоминает реальный эпизод, как будто придуманный озорным фантастом-пересмешником: Леонид Ильич Брежнев в 1970-е годы наизусть читает своему советнику стихи Мережковского. Не случайно ему так важно, что вероятный прототип Андрея Бабичева в «Зависти» — акмеист Владимир Нарбут, не случайно его так занимает Иван Аксенов — переводчик елизаветинцев, футурист, и в то же время черносотенный царский офицер, ставший после 1917 года чином ЧК. Сложные изгибы исторических судеб обозначают для него парадоксальное единство истории. История для него всегда означает «проблему», как и для Михаила Гефтера, в котором он, похоже, склонен видеть одного из своих учителей.

И вот — главная проблема... В фантастическом романе, написанном Елисеевым, гибель дракона, поработившего планету, означает гибель планеты. По крайней мере — потенциальную. Теперь понятно, кого хоронят мыши на знаменитой старообрядческой лубочной картинке? И почему именно мыши, тетки муз, должны проводить в могилу кота — и весь свой мир, который без рыжего хищника немислим?

Нет, не Корделия и Лир — кот и мыши. Вот верная метафора.

Чувств возвышенных сиянье,
Выражений красота
В «Андромахе» — подражанье
«Погребению кота».

3

Елисеев — историк по образованию. Рогинский и Булатовский — тоже. Но их подход к реальности — принципиально иной.

«Наша действительность, на каждом шагу лишая нас возможности внешнего выбора, дает возможность реализовать стоическую свободу, когда мы ничего не можем изменить, зато можем достойно принять. Но ужас в том, что стоит найти в себе силы для такого мироотношения, как жизнь выхватывает из безнадежной ситуации и требует: решай срочно, действуй, не то погибнешь, или вернешься в прежнее положение, только теперь по своей воле — побежденный».

«...Каждый сам решает вопрос о свободе — что же такое судьба: нитки марионеточного театра или самолет под зенитным огнем, послушный малейшему движению руки на штурвале, но готовый в любой момент ринуться к земле в пламенном облаке, и лишь от тебя зависит: будет во всем этом какой-нибудь смысл или нет?»

Между двумя этими цитатами — разговор о прекрасном прозаике-шестидесятнике Риде Грачеве и о кумире наших шестидесятников, французском графе-экзистенциалисте. Мне кажется, ответ на вопрос, как это связано с советским опытом, уже готов. «Летчик такой» — поясняет, прервав пение, томная Доронина, Маленький Принц просит нарисовать барашка, и подбитый самолет медленно погружается в забрызганные маслянистым закатом волны Атлантического океана... Как удивился молодой поляк в 2000 году, когда я рассказал ему, что недавно открытый им Сент-Экзюпери был популярен в СССР в годы юности моих родителей! Популярен — не то слово...

Авторов «Человека за шторой» интересует только то, что выводит человека из истории — его свободная воля, его индивидуальный выбор. Высмеивая (более чем заслуженно) шарлатанскую книгу Гилилова о Шекспире, они видят в квазинаучных изысканиях «ретлендианцев» прежде всего посягательство на чудо индивидуального творчества: для Гилилова и его единомышленников «гениальность происходит не от человека с его воображением и даром проникновения в суть жизни, а от обстоятельств и вещей...».

Но едва разговор снова заходит о современности — историческая укорененность соавторов (или по крайней мере одного из них — статья «Человек за шторой», давшая название книге, написана только Б. Рогинским) становится очевидной.

Рогинский спорит со статьей Александра Вяльцева, напечатанной в журнале «Октябрь» (1999, № 1). Вяльцев ностальгирует по советскому времени, когда «нам надо было так немного в нашем искусственном «раю» — пластинку «Битлз», новый переводной роман... И мы были счастливы...». А теперь эти любимые некогда записи «крутятся на каждом углу... замыганные контекстом, захватанные грязными лапами дилеров, для которых что «Битлз», что Алла Пугачева». Тут Рогинский остроумно замечает, что если для Вяльцева «“Битлз” можно опознать соседством с Аллой Пугачевой... — это говорит о весьма своеобразном отношении к культуре» — как к «дефицитному товару». Мне самому трудно судить об этих вещах: для меня, человека равнодушного к поп-музыке, принципиальная, вне культурно-политического контекста разница между Пугачевой и... не «Битлз», конечно, но Элвисом Пресли или там Фрэнком Синатрой — просто непонятна. Точно так же, как художник Норман Роквэлл (любимец американского народа и, по утверждению Набокова, *не украденный цыганами близнец Сальватора Дали*) практически не отличим для меня от Лактионова («Письмо с фронта») или Решетникова («Опять двойка»)¹. Не знаю. Может быть, я сноб... Но это к слову... Дальше Вяльцев, вспоминая одухотворенную интеллигентскую жизнь андроповской эпохи, противопоставляет ей некий «американский стандарт».

«Запад демонстрирует сейчас порыв к нравственности, желание гармонизировать мир, помочь несчастным, разбросанным по всему земному шару. Но не секрет, что нет более озабоченных своим комфортом и покоем людей, чем западные люди. Их жертвенность легко сменяется черствостью и бесчувствием, когда жизненные хлопоты превышают положительные эмоции».

А вот как отвечает на это Рогинский:

«А кто со смертельным риском для собственных семей укрывал евреев от фашистов? А врачи в Африке и Чечне, которым ежеминутно грозит унижительная судьба заложников, а то и смерть от шальной пули? А итальянский корреспондент — единственный западный человек, оставшийся в Приштине после начала бомбардировок и резни... передававший в первые дни войны отчаянные репортажи о массовых убийствах?»

По существу Рогинский, конечно же, прав: не существует единого и нерасчленимого «Запада», всюду есть всякие люди, в том числе и способные на жертвенность. Да, конечно, он тысячу раз прав, споря не с Вяльцевым уже, а с теми, кто провозгласил «искусство и правду товарами не хуже других», с Борисом Парамоновым, с Курицыным и его единомышленниками, с новоявленными «западниками» из бывших комсомольских работников, объявившими простодушный цинизм и мелкобуржуазное потребительство — главными ценностями современной евро-американской цивилизации.

Но аргументация... Что ни пример — то предательский. Чего стоит упоминание о «спасении евреев» (во-первых, когда это было, во-вторых, на всей контролируемой рейхом территории — от Франции до Украины, за исключением разве что Дании и отчасти Болгарии — людей, спасавших евреев, было в десятки раз меньше, чем соучастников Холокоста, и в тысячи раз меньше, чем равнодушных свидетелей). Или — корреспондент в Приштине («единственный (!) западный человек», решившийся остаться в городе во время *гуманитарных бомбардировок*... Вообще, если на то пошло, невозможно придумать более неудачного прозападного аргумента, чем косовская кампания). Или — врачи (при сколько-нибудь ощутимой опасности Красный Крест эвакуирует свой персонал: в той же Чечне это происходило неоднократно). Главное же — ни одного приме-

1 Моя любимая картина Роквэлла — «Новые соседи» (1963): из фургона выходят черные детишки, мальчик и девочка, с кошечкой. Их встречают белые детишки, мальчик и девочка, с собачкой. Ни Лактионова, ни сам его учитель Исаак Израилевич Бродский не отзывались оперативнее и душевнее на решения партии и правительства (в данном случае — на закон о десегрегации).

ра из личного общения, ни одного рассказа со ссылкой на очевидца. Все — из книг или из передач «Свободы». Создается впечатление, что первый (в порядке следования имен на обложке) автор «Человека за шторой» не хочет знать реального Запада, потому что боится: а вдруг славянофил Вяльцев и западник Курицын окажутся правы? Он держится за тот образ, который возник в его сознании в детстве. Как лягва-мокроступ из сказки Клайва Льюиса коварной Белой Колдунье, говорит он своим оппонентам: «Предположим, что эта темная дыра, ваше королевство — и есть единственный мир... Согласен, мы детишки, играющие в игру. Но посмотрите: четверо детей, играя, сотворили мир, куда лучший вашего. Вот почему я за мир воображаемый. Я на стороне Эслана, даже если Эслана не существует. Я собираюсь жить так, как живут в Нарнии, даже если Нарнии не существует».

Но я хочу вернуться к тому, о чем уже говорил выше, к году рождения: мне это кажется важным. Три года назад добровольно ушел из жизни 27-летний екатеринбургский поэт Борис Рыжий. Он успел испытать более или менее бурный успех. Кажется, я был единственным критиком, холодно и жестко отозвавшимся о его стихах. Я и не стал относиться к ним лучше в собственно литературном отношении: они, по большей части, вялы и подражательны, на мой, разумеется, взгляд. Но в ретроспективе я вижу в стихах Рыжего одну поражающую меня черту. При обилии бытовых реалий — ни одной, явно относящейся к перестроечной или постперестроечной эпохе. Как будто ничего не изменилось в городе Екатеринбурге с 1974 года, когда Рыжий появился на свет. И я понимаю, что это — осмысленный и продуманный выбор, так же как стилистика «хорошей советской поэзии» в интервале между Чухонцевым и Рейном, в которой Борис Рыжий работал... Это — неприятие молодым поэтом, сыном советского «секретного ученого», своего времени и самоотожествление с миром родителей.

Так же, похоже, готов самоотжествиться с миром своих родителей тезка и почти сверстник Бориса Рыжего — Борис Рогинский. Только мир этот в его случае совсем иной — это непростое бытие участников диссидентского движения, среди которых он вырос. Этот круг и слой он противопоставляет основной массе интеллигентов, от лица которой говорит Вяльцев. «Были люди, которые из-за Чехословакии или Афганистана не могли смотреть друг другу в глаза. Одни пытались бороться, не обязательно с властью — сложью общества. Другие от этого рабского спокойствия, от необходимости раздваиваться спивались, кончали с собой, сходили с ума, бежали за границу. Но многих это вполне устраивало...»

Конечно, не только диссиденту, антисоветчику — любому мыслящему и чувствующему человеку жить в брежневской стране было трудно. Но все же... не могли смотреть друг другу в глаза? Почему — друг другу? Ведь Чехословакия, Афганистан — это все сделали ОНИ, Брежнев, марзаматики из Политбюро, кагэбэшники и пр., к которым Мы ни малейшего отношения не имеем. Но мог ли нечто подобное сказать, допустим, в начале 1995 года человек «либерально-демократических» взглядов, выступающий против войны в Чечне? Мог ли он отгородиться от начавшего войну Ельцина, если сам же четырем годами раньше голосовал за Первого Президента Новой России, сам поддерживал его, может быть, даже в момент расстрела Верховного Совета... В советское время было трудно — в постсоветское в каком-то отношении стало еще труднее. Нет возможности снять с себя ответственность, и нет четко локализованного врага.

Или я чего-то не понимаю? Или диссиденты не отделяли себя от «совка» так, как это делали мы, юные эстеты, находившиеся в неполитической оппозиции? Я вспоминаю дивную сцену из «Острова Крым»: только что выпущенный из лагеря в эмиграцию правозащитник объясняет иностранным журналистам: «Ведь нам ни в чем верить нельзя...». Но если так, можно ли так резко противопоставлять активно-оппозиционное (анти)советское меньшинство — молчаливому большинству? И даже, в иных случаях, правящему меньшинству?

Рогинский пишет про музыку шестидесятых — будь то «Битлз» или песни Окуджавы. «Для людей моего поколения песни Окуджавы были колыбельными» — и эта «колыбельная», видимо, дороже ему всех на свете Гребенщиковых, не говоря уж о Шнуровых. Но ведь «колыбельная» эта принадлежит далеко не только диссидентам. Окуджава дис-

сидентом не был: он был членом КПСС. Мой отец тоже был членом КПСС, да еще и офицером. И притом мои родители любили песни Окуджавы. И слушали «Свободу» (предпочитая, правда, ВВС). Впрочем, что мои родители... Помнит ли Борис Рогинский, что именно песня из фильма «Белорусский вокзал» про десятый десантный батальон, песня, которую он с такой ностальгией цитирует — была любимой песней Леонида Ильича, что без нее не обходился ни один парадный кремлевский концерт?

Да, это, как сказал бы Никита Елисеев, — «проблема»...

4

А вот другая проблема, возникающая при чтении одной из статей самого Елисева. Статья «Критик с пушкой» — поясним сразу — написана очень давно, в 1995 году, и отражает настроения того времени. Настроения могли измениться, но проблема не «снята историей». Напротив, стала, в некоторых отношениях, острее.

Критик и литературовед Павел Басинский, воспоминаниям которого посвящена статья Елисева — self-made-man из глубинки, человек, пробившийся в среду столичной элиты. Он не горд: готов сменить тему научной работы — Горький вместо Фета! — потому что так *перспективнее*. Он не брезглив: искренне хвалит своего — казалось бы! — эстетического антипода Курицына, написавшего хвалебную рецензию на бездарную книгу президентского пресс-секретаря и тем самым «выручившего газету», которая, видимо, нуждалась в госдотации. (Эстетические разногласия меркнут перед социальным, антропологическим родством). Он ненавидит потомственных интеллигентов, которым все далось даром. Таким выглядит Басинский в елисеевском «экстракте», конечно же, субъективном и полемическом.

Причем Елисеев такого, так воспринятого Басинского вполне готов понять.

«Всю жизнь мечтал сыграть Молчалина... Я бы постарался сыграть Молчалина так, чтобы стало ясно: его корезит ненависть к Чацкому именно потому, что он лучше московского барчука знает цену той среде, куда ему надо, необходимо вписаться, — в противном случае: “Не быть тебе в Москве! Не жить тебе с людьми!”»

Молчалина злит, что Чацкий плоть от плоти, кость от кости той среды, которую так пламенно бичует...

Что можно ответить на эту ненависть? Что барин Герцен хочет, чтобы в России «не было ни мужиков, ни бар»? Что аристократ Чацкий хочет, «чтобы жизнь в российской провинции ничем не отличалась от московской столичной жизни»?

Хочет ли?

Басинский, между прочим, апеллирует к некоему своему земляку «дяде Коле», которому приписывает следующий монолог:

«Я хочу ездить трамваем на три копейки и автобусом на пятак. Я хочу играть с соседом в домино и чтобы по телевизору была скучная программа — ну хоть “Сельский час”. Чтобы в моем родном ерике не плавали банки от “Пепси” и тампоны с презервативами. Я хочу иметь достоинство с моей пенсией в шестьдесят рэ...»

Понимаешь, если бы они честно сказали: “Мы хотим сладко жрать и спать, мотаться в свои Америки. А ты, родной дядя Коля, подыхай пораньше и не мешай нам жить” — так я бы этих парней очень даже понял... Но они же еще и благодарности от меня хотят!»

И вот что отвечает на это Елисеев:

«Мне ведь тоже немногого надо.

Пусть дядя Коля забывает “козла” и дремлет за “Сельским часом” — я ему не мешаю, мне бы книжечку почитать.

И чтобы за книжечку меня не тягали контрразведчики: кто, мол, вам эту гадость передал?..»

...Я такую чепуху хочу, чтобы любую минуту выйти на стогны родного города и купить бутылочку 0,5 пива “Балтика”...

...И чтобы не бояться за сына, которому стукнет восемнадцать и придется ему идти служить... А я не хочу, чтобы его крыли матом и заставляли драить унитазы...»

Стоп. Можно было бы сказать: «не хочу, чтобы мой сын чистил зубной щеткой “дедушкины” сапоги». Или — «не хочу, чтобы моего сына били»... Это — специфические непорядки российской армии. Но без командирского мата ни одной армии мира нет. А «унитазы»... Положим, солдаты будут избавлены от их мытья. Кому-то же их мыть придется?

Оговорюсь: я-то как раз всецело согласен с тем, что внук актера Льва Елисеева и сын писателя Никиты Елисеева драить унитазы не должен. Его дед и его отец заслужили это право. Но вывод может быть только один: драить унитазы — участь детей и внуков дяди Коли. Допустим, я, растленный реакционер, и с этим согласен, но как соотносится эта идея с демократическими убеждениями автора «Предостережения пишущим» и его социалистическим бэкграундом? Его, вне всякого сомнения, вдохновляет мечта о прекрасном грядущем мире, в котором *всякий* человек избавлен не только от физического насилия и вербальных унижений, но и от унижительного, грязного труда. Но пока что избавиться от него можно лишь некоторую часть населения. Тем более — в небогатой стране.

На фоне этой (вполне, конечно, осознаваемой Елисеевым) проблемы кажутся второстепенными все прочие разумные возражения Басинскому: какой, скажем, трамвай за три копейки? — дядя Коля все годы реформ проезжал в трамвае бесплатно, как ветеран войны и труда!

Чего же хочет Чацкий (не грибоедовский, почвенник и националист, а идеальный, абстрактный)? Чтобы в Кинешме жили как в Москве — или чтобы в Москве и Петербурге жили как в Париже и Лондоне? Чего мы хотим в первую голову — указа о вольности дворянства или отмены крепостного права? Или сначала первого, а потом, может быть, и второго? Но в реальной русской истории между двумя помянутыми событиями прошло 99 лет.

Но главная Проблема — даже не в этом. Дело в том, что Молчалин тоже хочет жить, как в Париже. Может быть, гораздо сильнее, чем Чацкий. Особенность же позднесоветской цивилизации в том, что Молчалин (по роду службы и по обстоятельствам) был еще и гораздо лучше о Западе осведомлен. Как представляет себе советский (антисоветский, постсоветский...) Чацкий «нормальную жизнь»?

«В городе Лейдене (Голландия) на стенах некоторых домов масляной краской написаны стихи великих поэтов — Цветаевой, Рильке, Басе, Верлена.

Голландия, стало быть, великая страна».

Происхождение этого сообщения — следующее. В городе Лейдене (Голландия) был в середине девяностых годов международный поэтический конгресс, в котором участвовали и несколько русских поэтов, в связи с чем стены украсили стихами поэтов-классиков стран-участниц. Некоторые русские гости решили, что в Лейдене на стенах *всегда* написаны стихи Цветаевой и Рильке. И рассказали об этом знакомым.

Как смеется, слыша про эту барскую мечту (стишки на стенах) Алексей Степанович Молчалин! Его Запад другой, причем гораздо более осязательный. У него, говорят, два особняка на Кипре, три в Барселоне и четыре в Праге. Впрочем, он уже понемногу переводит деньги из оффшоров обратно в Россию. Пора поднимать страну (она же перспективный рынок)! А что, скажете, в XIX веке Россию Чацкие или Рудины модернизировали и европеизировали? Нет — Молчалины. И переделавшиеся в почти-французов Смердяковы, привезшие из Скотопригоньевска... гм... начальный капитал. И Лужины (не набоковские — достоевские Лужины)...

Елисеев понимает это не хуже меня. «Я очень надеюсь, что воспоминания Басинского со вниманием прочтет Борис Парамонов. Лирический герой Басинского — это как раз тот герой, тот человеческий тип, приход которого приветствует Парамонов. Деловой, ироничный, циничный, знающий правила игры — и не нарушающий этих правил».

Интеллигентам, разочаровавшимся в господствующей идеологии и свято поверившим в другую, казалось, что они-то — единственные в стране не совки, готовые гражданам свободного мира. А когда пришло иное время, оказалось, что оно принадлежит совсем иным господам — в меру (а иногда и сверх меры) циничным, идеологически

пластичным и по-провинциальному напористым. Государственный муж из младших офицеров КГБ, нефте- или никелепромышленник из районного комсомольского актива, банкир из внешнеторговских клерков... Ну, и, конечно, пробивные, ушлые, успешные литературные люди, которые и в советское время были бы успешными литераторами (в отличие от Елисеева, Рогинского, Булатовского или меня). Они, в общем, не скрывают своих целей и ни от кого не ждут благодарности; если кто-то из них и ждет — то по личному тщеславию, а не по идейной заикленности. Они и есть — буржуазные люди России, прихода которых так жаждали экс-большевики, ныне либералы.

Впрочем, с советскими интеллигентами, экс-большевиками, ныне либералами, обошлись в итоге по-божески. Вместо прежних кормушек (НИИ, переводы с языков народов СССР) постепенно возникают новые, читать «Лолиту» никто не мешает, пиво «Балтика» наливают, позволено пользоваться уникальной, не имеющей аналогов в мире системой отмазок от мытья галюнов (придуманной начальством, собственно говоря, для своих сыновей), и даже можно, когда хочешь, поехать туда, где все сплошь доблестные журналисты и самоотверженные врачи, а стены исписаны исключительно стихами Цветаевой. Только надо ли? Не лучше ли оставаться со своей мечтой?

5

Ну вот. Наверняка создается впечатление, что я хочу поспорить с книгами Елисеева, Рогинского и Булатовского. Или даже, неровен час, поиздеваться над ними. Тогда как в действительности таких интеллектуально острых, многослойных и в то же время стилистически тонких критико-публицистических книг давно не появлялось. Именно потому о них и можно говорить так — напряженно и пристрастно. Пожелай я написать просто сдвоенную хвалебную рецензию — не было бы ничего проще: сравнить прекрасный текст Елисеева о Гомере с отличным текстом Рогинского—Булатовского о Шекспире, добавить несколько общих слов... Но я хочу в данном случае другого. Я хотел бы писать о них так, как они могли бы — друг о друге.

Точка, в которой два пространства сходятся и становится очевидно их родство и их различие, — «Генерал и его армия» Владимова. Причем и Рейн Карасты, и Елисеев отзываются в данном случае не только на сам роман, но и на резкую статью Владимира Богомолова, которую вызвало его появление. Трагедия генерала, его противостояние со Ставкой и НКВД, коллизии, связанные с власовским движением и пр., — все это, конечно же, волнует и Елисеева, и авторов «Человека за шторой». Но волнует — по-разному, в разных аспектах.

Елисеев сравнивает поведение Ленина в 1917 году и генерала Власова во время Второй мировой войны.

«Вы говорите, изменник? А Ленин тогда кто? Или вступать в союз с военным врагом твоей страны во имя твоих политических целей предпочтительнее, когда в стране демократическое правительство, а не жесточайшая диктатура?»

Вы говорите, герой? Но почему тогда Ленин — изменник? Или быть союзником германского генштаба в 17—18-м годах, оговорив условия союза, — то же самое, что быть союзником Гитлера, никаких условий не оговаривая?»

Елисеев сравнивает «Август четырнадцатого» Солженицына с «Августом сорок четвертого» Богомолова, и обе книги — с романом Владимова. Его, человека, очень понимающего, что такое роман, что такое проза, подчеркнуто не интересуют в данном случае художественные принципы каждого из трех писателей, способы, которыми они выстраивают реальность, моделируют личность героя. Его интересует бьющий сквозь кожу художественности живой кровяной ток русской истории.

«Не мытьем, так катаньем. Не профессионально, так дилетантски разобьем противника. Победа будет за нами! “Так не воюют!” — в сердцах восклицает Георгий Вортынец, главный герой солженицынского романа, на заседании Ставки. “Именно так и воюют”, — угромо думает Кобрисов на военном совете».

Бросать вызов Истории бесполезно, но ее можно «обмануть», потому что вся она — парадокс, она постоянно обманывает себя...

А для Рогинского и Булатовского важнее другое.

«Кобрисов... — не просто человек, он единственная мера человечности в мире, состоящем из животного хаоса и сволочного особистского аполлонизма. Да, его мужества, ответственности, доброты досталось на долю и Шестерикова, и Власова, и Гудериана, и многих еще героических персонажей. Но они, в конце концов, отвечают только каждый за свое. А что делать, если твоя армия — вся Россия?»

«Владимов совершил небывалое: соединил жизненную мощь и величие с бескомпромиссной совестью, витальную субстанцию с нравственной, и этим обрек своего героя на страдание, такое же нечеловеческое, как данная ему сила. Здесь ясно слышен спор с другими “казацкими” произведениями — “Тарасом Бульбой” и особенно “Тихим Доном”».

Ладно — «Тихий Дон», но «Тарас Бульба»? Хочет ли критик (хотят ли критики) сказать, что у гоголевского героя «жизненная мощь» сочетается с бессовестностью? Вот здесь и проявляется известная ограниченность внеисторического, экзистенциального, абстрактно-этического взгляда: он слеп к тому, что мотивировано в человеке временем и местом. Тарас Бульба, с точки зрения своего века и своей культуры, сверхсовестлив: он сына убивает из совестливости, он не спасает другого сына из совестливости — потому что, видите ли, не может спокойно слышать хулы на православную веру! «Внеисторическому моралисту» трудно понять, что запорожскому казаку XVI века совесть говорила иное, предъявляла иные претензии, чем благородному интеллигенту рубежа XX–XXI веков. Образы зарезанных жидовских и ляшских женщин и детей никогда, вероятно, не преследовали Тараса, но, причастись он раз в жизни в католической церкви, — совесть не дала бы ему спать до конца дней.

Но Гоголь — писатель уже нового времени, и он-то сам смотрит на своих монументальных средневековых героев отстраненно, со смесью восторга и затаенного ужаса, почти как Бабель (писатель времени новейшего) на буденновцев. А Рейну Карasti хочется противопоставить «хаосу XX века» «черты шекспировских героев — ...бешеное чувство достоинства древних государей и воинов, отравленных, но не сломленных ничтожеством распадающегося на куски современного мира, способных своим существованием, подвигом, смертью собрать этот мир воедино...»

Не обмануть историю, а зачеркнуть, или, наоборот, создать ее — своим персональным существованием придав смысл миру... Но — случайно или нет — под пером Рейна Карasti возникает образ того из шекспировских героев, который меньше всего ассоциируется с победой — короля Лира. Отца Корделии.

Пафос не уверен в себе и требует (для устойчивости) антитезы. Если Елисейев все время сам с собой спорит, то в случае пары Рогинский—Булатовский спор задан самой авторской двойственностью. (Ну, представим себе, что Иннокентий Федорович Анненский написал «Книгу отражений»... хотя бы в соавторстве с братом, Николаем Федоровичем, социологом, экономистом, либеральным общественным деятелем. Хороша парочка? А между тем — очень дружные братья и в чем-то единомышленники).

В самом деле, во второй части статьи «Два генерала» видна рука совсем иная. Впрочем, и о произведении речь идет совсем ином: о знаменитом фильме Германа «Хрусталев, машину!».

«В фильме нет ни одного столкновения характеров, все заканчивается фарсовыми — смеховыми или болевыми — корчами... Этот диссонанс между текстом и видеорядом только подчеркивает бессилие зрителя, вынужденного смеяться инстинктивно, в некоторых местах — кошунственно, и отдавать себе в этом отчет.

...«Хрусталев», наполненный телесными муками, сознательно лишен трагического пафоса (а зритель — катарсиса): герой, претерпев все, не остается самим собой... не отступает к последним рубежам достоинства, как, например, Эдип, но оставляет эти рубежи, плюет на них...»

Это — искусство конца XX века: анти-Шекспир. Бессилие зрителя, бессилие героя и всеилие автора, чей «бесчеловечный», лишенный катарсиса и при том захватывающий сознание мир и ужасает, и восхищает критика. Одна ипостась двуглавого Рейна Карasti верит в возможность старинного монументального героизма внутри тотали-

тарного мира; другая знает: только таким, дегероизированным и дегуманизированным, и может быть эпос тоталитарного массового общества... И общества, пришедшего ему на смену?

6

Вот очень важное слово — «бессилие»... Тайная симпатия к слабости, бессилию, безволию, несовершенству — вот что, помимо прочего, объединяет Елисеева с Рогинским и Булатовским. Но и эта симпатия у них окрашена по-разному.

Елисеев упрекает Михаила Веллера, автора «Самовара»: «Сила слабых» для Веллера просто белиберда, нелепость. «Слабый» в чем-то другом непременно должен быть силен. Мощен. Ничего, что руки-ноги отчекржили, зато голова и член работают будь здоров».

(Удивительным образом Елисеев, не зная, почти слово в слово повторяет в последней фразе характеристику, данную К. Кузьминским на страницах «Голубой лагуны» ленинградскому режиссеру Борису Понизовскому — ныне покойному, тогда здравствовавшему. Конечно, Понизовский был шокирован хамской похвалой Кузьминского. Но — я могу это засвидетельствовать — он, лишившийся в юности обеих ног, был в самом деле редким умницей, талантливейшим, на грани гениальности, человеком и неотразимым мужчиной, в шестьдесят с лишним лет пленявшим воображение юных красавиц).

«Сила слабых» по Елисееву — это не компенсация ущербности в одной области блеском в другой, а та трагическая свобода, которую дают тотальная ущербность и полное поражение. Орудие слабых — самоненависть, отвращение к себе и своему бэкграунду.

Это любимая тема Елисеева². В «Предостережении пишущим» ей посвящена статья «Отто Вейнингер и Василий Розанов». Они противоположны во всем. «Человек, превыше всего ставящий личное мужество, и человек, пропевший вдохновенный гимн трусости. Самоубийца, подписывающий сам себе приговор («Я убиваю себя, чтобы не убивать других»), и умирающий от холода и голода человек, проклинающий свою страну, свою литературу, свою культуру.... Сын модного художника, богатый юноша, чья среда — ассимилированное образованное еврейство Европы, и вырвавшийся из глущи и хамства российской провинциальной жизни... разночинец».

Первое звено в каждой паре, конечно, — Вейнингер, второе — Розанов. Думаете, Елисееву ближе первый? Конечно, второй. Ему мила не всякая самоненависть, а лишь самоненависть слабых, свободная от героического пафоса. Не случайно ему, человеку, казалось бы, неколебимо леволиберальных взглядов, так милы эти махровые реакционеры — Розанов и Селин.

Аристократическая, героическая этика исходит из того, что добр, благороден, человекен, щедр — сильный, а проигравший, слабый, обиженный — напротив, завистлив и обозлен. Елисеев же считает, что именно тотальный неудачник и пораженец, «нищий духом», слабак, трус, плетей может понять других обойденных судьбою, что именно поражение дает знание о мире. Главный предмет его этнокультурной самоненависти — «торжествующая», победительная Россия, парадный мейнстрим российской жизни, Россия «Полтавы» и вступления к «Медному всаднику». С такой Россией он не желает иметь ничего общего. Его писатель — не Набоков, а Платонов; и если он все же любит Набокова, то лишь потому, что и в нем находит тайную слабость, уязвимость, ущербность. И, кажется, тот же Борис Стужий, один из самых «мачистых» русских поэтов, не был бы Елисееву так близок, если бы не прозаическая «корявость» его стихов и не «некрасивые», уязвимые эпизоды его биографии (вроде достопамятного выступления на собрании Союза писателей в 1958 году).

Советский Союз для Елисеева — прежде всего государство, созданное в результате бунта русских «черненьких» против русских «беленьких». И это одно посмертно оправ-

² Термин заимствован из книги Теодора Лессинга «Der Juedische Selbsthass» — «Еврейская самоненависть» (1929).

дывает это государство и общество, несмотря на «грех державности», который оно унаследовало от прошлого и который Елисей ему никогда не готов простить. Такова, как мне кажется, система взглядов автора «Предостережения пишущим», на поверхности — страстного либерала и западника, а втайне — русского гностика.

Для авторов «Человека за шторой» бессилие — это не просто слабость. Это та «стоическая свобода, когда мы ничего не можем изменить, зато можем достойно принять». Это мужество отчаяния: в диапазоне между крохотным Фродо, идущим к Ородруину через охваченное войной Сердиземье к горе Ородруин, и похмельным Веничкой Ерофеевым. Свободу и мудрость дает не поражение как таковое, не ущербность как таковая, а личный выбор, который можно совершить, однако, лишь в состоянии тотального поражения.

Казалось бы, на какой-то момент зачарованные личностной мощью «шекспировского короля», генерала Кобрисова, и художественной мощью «бесчеловечного» Германа, критики-соавторы чуть ли не на следующей странице отвергают «требования творческой мощи и совершенства» применительно к искусству. «Похоже, эта (наступающая. — В.Ш.) эпоха и в критике, и в политике будет сочетать черты пресловутого постмодернизма и “большого стиля”: любовь к цитате и безразличие к лирике, барочное изобилие и вымученное остроумие, невинное хладнокровие и велеречивую уверенность». Это писано в 2000 году; наступающая эпоха казалась «эпохой победителей», и уж этим одним она вызывала раздражение «Рейна Караста». Предсказания не сбылись: ничего похожего на «велеречивую уверенность» нет в судорожных действиях политиков, в поэзии же, кажется, опять вошли в моду (по ту сторону постмодернистской масочности) надрывный есенинский лиризм и малоприятная евшушенковская исповедабельность.

Победители не милы Рогинскому и Булатовскому; но это не значит, что им милы побежденные. В этом смысле характерна статья «Три поездки на трамвае», посвященная мемуарам Эммы Герштейн и дневникам Лидии Чуковской. И первая, и вторая (при всей своей несомненной гражданской доблести) принадлежали к людям обычного, дюжинного масштаба, и гении, с которыми им пришлось общаться, были им часто не по мерке; капризы и невроты великих поэтов раздражали (см. дневниковые записи Чуковской об Ахматовой), их, временами, диковатый юмор оставался непонятым (уже прославленный эпизод с поркой, которой Мандельштам якобы собирался подвергнуть бедную Эмму Григорьевну). Нужды нет. Авторы статьи интересуют в данном случае не гении (заведомые победители даже в поражении), а обычные люди, сумевшие прожить в страшное время достойную и осмысленную жизнь, многолетним мучительным напряжением воли сохранившие себя. Они — тайные победители среди миллионов побежденных. Зачем-то ведь пересказывается в статье история некоего знакомого Герштейн, востоковеда, который в 1937 году выдержал пытки, ничего не подписав, а после расстрела Ежова был освобожден. А потом: «В середине пятидесятых разошелся с женой. Они перегородили комнату. Он любил есть в ресторанах, особенно — жареного гуся. Слушал по радио романсы. Умер в одночасье. Всю ночь после его смерти жена разбирала перегородку, боясь, чтобы к ней не подсадили нового жильца. Сыну дали на работе выходной, чтобы похоронить отца, а он не понимал, удивлялся, что по этому поводу даже отпускают с работы». В сущности, это и есть самое страшное: человек, проявив героическое мужество, отстоял свою жизнь, чтобы еще четверть века, никому не интересным, никем не любимым, никого не любящим — есть жареного гуся... Есть знаменитый ответ политика Сийеса на вопрос о том, что он делал в дни якобинского террора: «Оставался жив». Подлинное мужество требуется, чтобы в иные времена *жить*, а не просто оставаться в живых.

Когда времена меняются, меняются и правила игры. В позднесоветскую эпоху можно было сопротивляться не только смерти — своим полноценным существованием, но и лжи — своим открытым поведением. Это было по-прежнему сопротивление без надежды на конечную победу: «*Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles*». Но вот и позднесоветская эпоха кончилась. И...

«Не говорите, что если где-то далеко убивают, насилуют, пытаются, то это мы убиваем, насилуем, пытаем, и это нас убивают, насилуют, пытаются. Не говорите, что урезонить

власть — то же самое, что урезонить локомотив на крутом спуске». («Отечественный шкаф»). Как девальвируется экзистенциалистский пафос (в шестидесятнической аранжировке), сводясь к противостоянию заведомо правых «нас» аксиоматически неправой «власти»! Противостоянию опасному морально (вводящему в соблазн), а физически совершенно безопасному (поскольку власть, которую можно «урезонить», — заведомо добрая или слабая; Сталина и даже Брежнева урезонить никому не удавалось). Но уже следующая фраза опровергает предыдущую: «Не говорите, что в кабине никого нет».

Вот то-то и оно. Кабина локомотива, который нужно остановить, пуста. Силы порабощения, разрушения, энтропии больше не поддаются однозначной персонификации. Враг нигде и везде, и прежде всего в нас самих, он может нацепить любую идеологическую одежду, выступить на стороне любого из спорящих лагерей. Мы можем ностальгировать по простоте и цельности, забывая, чего эта простота требовала от человека, но простоты больше не будет, а требуется сегодня от нас не меньше.

Александр Кабаков

ИГРА И ИСПОВЕДЬ

Опыт издания журнала в журнале, предпринятый «Знаменем» под рубрикой «Малая сцена» (2004, № 11), произвел на меня двойственное впечатление.

С одной стороны — непосредственные ощущения от прозы и стихов этого маленького раздела: ну, проза, ну, стихи, «Знамя» как «Знамя», уровень выдержан. Отличаются, как мне кажется, от любых других знаменских же публикаций не более, чем положено вообще отличаться одному тексту от другого. Немного выше среднего процент демонстративной автобиографичности у одного интересного автора, немного больше, чем следовало бы, простодушного удивления собственной смелостью у другого, одни стихи тяготеют к известным советско-классическим образцам, другие — к классике постсоветской... Словом, все нормально. На мой взгляд, вполне можно было бы публиковать и на «большой сцене», в конце концов, надо и на ней вводить в спектакль новых исполнителей.

Что же касается теоретических публикаций, обрамляющих экспериментальный раздел, то они, при совершенном несхождении между позициями молодого критика Галины Юзефович и самого главного редактора «Знамени» Сергея Чуприна, вызвали почти одинаковое несогласие, вернее, желание уточнить. Рассуждения о мейнстриме и маргинальности, об ориентации на массового читателя и на так называемого подготовленного сами по себе вполне бесспорны и интересны, но, по-моему, во-первых, не имеют непосредственного отношения к другим публикациям «Малой сцены» и, во-вторых, несколько «смещают прицел». Относительно последнего объяснюсь.

Я думаю, что наиболее существенные различия между типами авторов и сочинений сейчас лучше определять не по количеству читателей на писательскую душу, а по соотношению в произведениях этой самой, условно говоря, «души» и «мастерства». Налицо тенденция вымывания из литературы эмоциональной составляющей и все более старательного наполнения текстов чистыми литературно-техническими достоинствами. Ледяной градус чувств и ювелирная профессиональная работа сейчас в равной степени свойственны и лучшим образцам массовой литературной продукции, и практически всей «высокой» литературе. Если раньше откровенная сконструированность приличествовала только чистому жанру, прежде всего детективу, то теперь она, напротив, тем очевидней, чем изысканней и «серьезней» единица изящной словесности. Стихи все больше становятся интеллигентным подобием ребусов, романы превращаются в паззлы высшей сложности или описания продвинутых компьютерных игр, рассказы выстраиваются вокруг анекдотической схемы. При этом уже нет смысла вести разговор о массовом и элитарном — между автором и его созданием теперь принято выдерживать одинаково большую дистанцию, идет ли речь о многотиражном чтении для офисно-клубной молодежи или об очередном предмете бурного интереса внутрицеховой критики. Обливаться слезами над вымыслом стало неприлично и для самого творца вымыслов, и, соответственно, для потребителя. Одни стремятся достигнуть занятости, оригинальности, изящества, наконец, другие готовы это оценить, но слезы... Слезы — это просто смешно. В жанре слез работают некоторые безнадеж-

но вышедшие в тираж (в идиоматическом, а не в буквальном смысле) старики, но кому ж они интересны...

Упаси Боже кого-нибудь подумать, что вышесказанное есть негативная оценка — нет, только наблюдение. Более того, я предполагаю, что движение литературы от «приключений души» к «приключениям ума» совершенно естественно и должно происходить параллельно установлению абсолютной власти информации над жизнью. Цивилизация планомерно и неотвратно ведет наступление на иррациональность в человеке, она поощряет художественную игру, но не душевную исповедь и уж тем более не нравоучение. Таков, как говорится, расклад, он не плох и не хорош, как не плоха и не хороша вообще история.

Андрей Василевский

НЕФОРМАТЫ

Неформат — слово относительно новое, в своем роде удачное, *необходимое*. Но знаменская подборка огороженного красными флажками (будто бы) «неформата» меня озадачила: все это, напечатанное обычным порядком, никаких бы вопросов и не вызвало (мол, «Знамя» — журнал живой, вот сегодня — так, а завтра — эдак...). Да и не меня одного. «Давно и, надеюсь, внимательно следя за нашими журналами, я не вижу ни у одного из них какого-нибудь особенного «формата», — оперативно откликнулся Андрей Немзер («Время новостей», 2004, № 214, 23 ноября). — То есть предпочтения (идеологические, эстетические, авторские), конечно, есть и у «Октября», и у «Нового мира», и у «Знамени», но это тенденции, а не константы». И далее: «Плюралистичны (в определенных рамках) все издания — не случайно одни и те же авторы запросто печатаются то в «Звезде», то в «Дружбе народов», то в «Новом мире». «Знамя» же этот самый плюрализм (равно и тягу к экстравагантным новациям) сделало едва ли не своим фирменным знаком. При таком раскладе трудно понять, что же все-таки должно считать «неформатным». Еще менее понятно, зачем и без того толерантному изданию заниматься самоотрицанием, то есть выискивая текст, который якобы «не годится», нести его к читателю, пусть и в отдельной упаковке». Вот и я думаю — зачем?

У нас в «Новом мире» сегодня неформат один — «технический». Роман в тридцать листов — неформат, нам с таким объемом нечего делать, через журнальные книжки не протолкнем. Принесет поэт одно стихотворение — неформат, мы печатаем авторские поэтические подборки (на три-пять журнальных полос), коллективных — не печатаем. Что нам делать с одним стихотворением? Хотя смотря какое... Принесет критик одну короткую рецензию — что с ней делать? Традиционные большие новомирские рецензии тяготеют скорее к небольшой статье, а «коротышки» мы печатаем сплотками в виде авторских — и намеренно субъективных — «Книжных полок (такого-то)». Ну и так далее. Понятно: этот формат/неформат определяется сложившейся *структурой* нашего журнала.

Другое дело: есть вещи, для «Нового мира» по разным причинам *неприемлемые* — типа, скажем, шириановских «Пилотажей» (пример условный, ничего личного), к тому же публикация таких текстов резко *снизила* бы тираж. (Хотя пишем мы в рецензиях и обзорах «обо всем»). А в остальном: мы сегодня открыты для всего интересного и актуального, что происходит в современной словесности (словесности — в самом широком смысле слова). *Конспирологическо-футурологический киносценарий* Дмитрия Галковского «Друг Утят», рассказ *фантаста* Михаила Харитонов «Зимы не будет», *документальная пьеса* Елены Исаевой «Первый мужчина» (об инцесте, между прочим), *амелинские переводы* Пиндара (с *древнегреческого*) или... (ну подставьте на свое усмотрение) — это что? Пока не напечатали — был «неформат», а напечатали — и стал формат.

Ирина Роднянская

К ВОПРОСУ О ПРИЯТИИ СИТУАЦИИ*От перемены мест слагаемых...**Математическая истина*

Журнал «Знамя» провел эксперимент, по результатам своим не слишком согласующийся с тезисами Сергея Чупринина, который в специальной статье этот эксперимент подытожил. Критик и редактор, приветствующий — звоном счита — нынешнюю литературно-читательскую реальность, пишет: «... уже не хватит на наш век того комфортного устройства культуры, когда наша с вами литература — качественная, серьезная, высокая — служила стопроцентным синонимом понятию художественной словесности»; она «утрачивает <...> центральную, системообразующую роль в мультикультурном пространстве <...> вдвигаясь в неудобную и непривычную позицию «литературы для немногих»». Одновременно с этим признанием журнал открывает у себя «малую сцену», на проверку населенную сочинениями, адресованными все тем же «немногим» (не исключая фэнтези Александра Зорича — текста, способного разочаровать любителя подобного чтения, как, впрочем, и всех остальных).

Если я правильно поняла цель предприятия, оно связано с попыткой учесть описанную главным редактором «некомфортную» ситуацию и расширить круг подписчиков, привлекая читателей не «толстожурнальной» литературы, — но ничего, мне кажется, не получилось. Толстый журнал в своем качестве особого книжного жанра не сумел, даже силясь, загубить собственную суть, и я радуюсь провалу эксперимента как доводу от обратного в пользу того, что суть эта существует и ни в зуб ногой.

В самом деле, не только я уже заметила, что ни одна из публикаций «малой сцены», среди которых есть отличные, хорошие и не очень, ничем не отличается от публикаций знаменской (и новомирской, и дружбинской...) «больших сцен». Прекрасную очерковую повесть Марины Кулаковой, не затей журнал этой второй сцены, он непременно напечатал бы, скажем, в рубрике «Между жанрами» (а в «Новом мире» испанские письма Михайлова-младшего о наркореконструкции печатались даже в «корпусном» разделе полноценной прозы, — я и дальше привлеку новомирские аналогии, не из лояльности фирме, а просто потому, что они под рукой). Ничего «феминистского», кстати — вопреки вводимому редакционному слову — в этой повести нет: она полна социального (и экзистенциального) ужаса перед насилием и равнодушием, перед бездной зачеловеческого, а кончается сценой внезапной гибели человека (несущественно, что мужчины). Трогательный рассказ Майи Кучерской, сопровождающийся не менее трогательными теологическими оправданиями автора, вряд ли способен шокировать тех, кто удосужился прочитать *шоковый* (по первоначальному определению самого сочинителя) роман Николая Кононова «Нежный театр» или беспримерный гиньоль Владимира Маканина «Коса — пока роса» — фундаментальные новомирские публикации конца прошлого года (не говоря уже о текстах иного класса — например, о романе Пискунова, как помнится, появившемся в «Дружбе народов» два или три года назад).

Почему «Знамя», всегда отличавшееся изобильным разнообразием (и разноуровневостью!) своего отдела поэзии, уделило «Малой сцене» именно те стихи, которые там представлены (у Игоря Алексея — нормально неплохие, но чем уж так отличающиеся от стихов Ивана Макарова, удостоившихся «большой сцены», зато куда более мелкого кегля?), — для меня это остается загадкой. Ну а Александр Неклесса — всегда Неклесса, сразу узнаваемый, ничуть не «инаковый» ни в «Москве», ни в «Новом мире», ни в «Знамени»; правда, туманного красноречия чуть поболее, избавление от этого, отнюдь не дифференцирующего, признака улучшило бы статью, рассчитанную так или иначе на специфический интерес, на какой сцене ее ни ставь. Да и сам наболевший крутой вопрос о «праве на Россию» и «мире без России» — он не для «Малой сцены».

Короче, мне остается согласиться с юмористическим выводом, которым кончает свое доброжелательное обозрение знаменского «журнала в журнале» мой коллега Па-

вел Крючков: «Ежели бы вы путеводитель по подземным рынкам качественного марокканского канабиса нам предложили или рассказали о ценах на пластид и где его брать подешевле... В общем на тираж эта акция не повлияет» («Периодика» — «Новый мир», 2005, № 2).

Вообще говоря, как Олег Табаков исключил из имени МХТ слово и понятие «академический» — и репертуарно-постановочную политику проводит, судя по отзывам, соответствующую, — так и все без исключения толстые журналы, откликнувшись на несомненное смещение нравов, вкусов и оценок, перестали проводить академическую границу между вчерашним маргинальным и вчерашним *square* (добропорядочным) — но при этом умудрились остаться самими собой. То есть изданиями, рассчитанными на углубленное все-таки чтение: не в последнюю очередь потому, что это чтение контекстуальное — каждая публикация окружена переключками с других, в том числе небеллетристических, страниц, куда не может хотя бы не заглянуть опытный держатель очередной журнальной книжки.

Умудрились остаться собой — и, значит, обречены, как в очередной раз констатировал в известинской статье «Они есть, но их нет» Николай Александров (2004, № 220, 25 ноября). Что ж, мы братья преград не обещали (в виде малой, актуальной или увеселительной сцены), мы будем гибнуть откровенно.

Но в итоге не погибнем.

Здесь самое место для разговора о составных частях мультилитературного, как формулирует Сергей Чупринин, пространства. Галина Юзефович во вступительной статье к малосценическому анклаву совершенно точно описывает положение на книжном рынке, где удобочитаемой «качественной» литературы отечественного производства (Чупринин называет этот же тип продукции «миддл-литературой», а «качественной» — совсем другую, о чем чуть ниже) — такой продукции до крайности мало. (Так ли ее мало в объективном соотношении с переводной — иной вопрос: ведь нашему отечеству здесь противостоит весь остальной книжный мир от Японии до Латинской Америки, включая Африку и Австралию; наберется, однако. К тому же, тяга к чужому не есть вынужденное следствие неудовлетворенного спроса на свое, это проблема социопсихологическая.) Вот эта миддл-литература — беллетристика высокого уровня, не коробящая вкус достаточно образованного читателя, — и является пререкаемой проблемой для литературной экспертизы. Та часто не хочет понять, что по крайней мере полтора века миддл-литература — собственно литература и есть (я говорю о прозе). Достаточно оглянуться назад, в XIX век, чтобы обнаружить: повести Гоголя и повести Николая Павлова, «Обыкновенная история» Гончарова и «Тарантас» Соллогуба, рассказы Чехова и рассказы Потапенко, «Петербург» Андрея Белого и «Санин» Арцыбашева — все это произведения, равно принадлежащие к своим беллетристическим рядам. Общее у них то, что их было *интересно* читать образованным современникам — не «немногим» (тем *wenige*, кого имел в виду Василий Андреевич Жуковский), но и не всем, кто только овладел грамотой и наивно пристрастился к книгочейству. И только литературно-критическая экспертиза высокой марки (а вслед за нею — неподкупное время) качественно возвышала одного из членов этих «пар» над другим.

Иными словами, никакого оттеснения на обочину стоящей литературы не произошло. Массовое же производство чтива для неквалифицированного читателя — явление, уже давно неновое и естественное, не отражающееся на потребностях и спросе читательской *общественности* (зато вопиющее к социологическому контент-анализу, которым почему-то никто почти не занимается). Миддл-литература — это, как была, так и есть, центральная, центровая литература. Она должна доставлять не совсем примитивное *удовольствие* от процесса чтения, а достигает ли, в исключительных случаях, это удовольствие степени потрясения и/или катарсиса, — другое дело. Характерно, что Чупринин без труда составил список («субъективный», конечно) русской современной миддл-литературы. А вот в графе «качественная» он, проявив благоразумную осторожность, не назвал ни одного имени. И вправду, не станет же он доказывать, что «Рубашка» Гришковца — это «миддл», а «Качество жизни» Слаповского, финалиста последнего Букера, — это, простите за каламбур, «качество». Себе дорожке выйдет.

Беда в том, что и наша критика, и наши жюри, и редакционная экспертиза, как правило, путают «высокую» литературу с «трудной» (что и говорить, высокая литература бывает трудна, но «трудная» литература слишком часто не бывает высока — по мне, наглядные примеры В. Шаров или, еще теплее, «Swedenborg» Иванченко). К слову, Чупринин цитирует мою старую статью о «плохой хорошей литературе» «Гамбургский ежик в тумане» как подтверждающую существование класса «миддл» — но я писала не о том, что читать приятно, а о том, что «читать модно» (как суетно назвалась одна книжная серия), модно, хотя подчас и тоскливо.

Оценочная шкала должна быть сориентирована на интересную беллетристику как на явление, достойное квалифицированных читателей совсем не такого уж узкого круга, которому небезразличны будут и доказательно обозначаемые экспертами градации качества. Ну а «высокое» — это неожиданные и редкие творческие вспышки, сюрпризы, которые невозможно предугадать и спровоцировать, но желательно не пропустить и распознать. Однако — никак не *mainstream* (такой иллюзорный *stream* — поток — бывает лишь в школьных учебниках литературы: Пушкин — Лермонтов — Гоголь — Толстой — Достоевский — Чехов...).

Толстым журналам (вернемся к ним), говорят, не под силу — при их медлительности и безденежье — тягаться с книжными издательствами, подхватывающими наш «миддл» во мгновение ока. Все верно, но есть и страх перед (мнимой) безвкусицей. Когда-то Пелевина-романиста (очень значительного, на мой упрямый взгляд, писателя) открыло «Знамя» — поступило ли бы оно так теперь, представься, на счастье, аналогичный случай? Робость, с какой вещи среднежурнальной кондиции отправлены в экзотический сераль «Малой сцены», подсказывает скорее отрицательный ответ.

Но даже если толстые журналы окажутся обделены сколько-нибудь читабельной прозой большого формата, они, повторю, не погибнут. Сложив нынешние скудные тиражи «толстяков», только двустолбичных, воедино, получим не широкий, но в общем балансе культуры серьезный слой — 20 — 25 тысяч семей (ибо тут семейное или библиотечно-семейное чтение), ищущих на этих страницах... чего? Да тех самых неожиданных открытий, непредвиденных вспышек, о коих вряд ли оповестят глянцевики-обозреватели и коими могут оказаться и рассказ, и *short story*, и эссе, и стихотворение, и памфлет.

Для меня таким именно открытием (первой, по Чупринину, категории) стала повесть Марины Кулаковой «Живая». И мне совершенно безразлично, в каком разделе номера она появилась. Но то, что это типично «толстожурнальная» вещь и там ее естественное место, — несомненно.

Александр Агеев

ПОКОЙ И ВОЛЯ

Жизнь, господа, довольно скучная штука: один день от другого дня отличается разве что погодой, непрерывно воспроизводятся всякого рода и смысла ритуалы: умыться, зубы почистить, позавтракать, газету свежую лениво открыть, раскурить первую сигарету. Живя в системе ритуалов, собственно, спишь. Как поэт однажды счастливо выразился: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Покоя на нашем свете сколько угодно: впасть в состояние смирения в России легче всего. Как сядешь, к примеру, в Нижнем Новгороде на травку откоса, спускающегося к Оке (чуть дальше она с Волгой сливается), и думаешь: а на фиг вообще всё? Вот так лежать, всякие там облака в небе видеть, текущую воду внизу, покуривать, думать о смысле жизни и никаким душевным движениям, требующим воли, воли не давать. Здесь слово «воля» в двух смежных значениях употреблено, если вы заметили. Есть еще одно замечательное слово, к российскому образу жизни имеющее прямое отношение: «млеть». «Млеть» — это, собственно, и значит испытывать чувство покоя, самоудовлетворения, кратковременной гармонии с безмерным российским пространством, устройством жизни, состоянием культуры и прочими данностями.

Но надоедает же! Или вспомним любимую фразу героя нашей статьи: «И это пройдет». А кто бы сомневался?

Ну, словом, главный редактор журнала «Знамя» Сергей Иванович Чупринин волю проявил: хочу вот такие-то и такие-то тексты, которые не нравятся редколлегии, опубликовать. Сделаю своего рода резервацию в подведомственном журнале, назову ее «Малая сцена» (так ведь игра же, и отчего бы не использовать театральные язык?), авось что-то новенькое в русской словесности появится.

Тут у меня у самого проблема: никак не могу развести в собственном сознании «новое» и «новенькое». То есть о качестве речь: «новое» перетряхивает тебя от пяток до макушки, а «новенькое» щекошет где-то подмышками: весело, но недолго. Но это не предложение забракловать «новенькое». А черт его знает, может, там что-то прорежется, что-то замешается, возникнет новый язык, новые смыслы, новые возможности, новые жанры.

Да и другое в голову приходит, когда читаешь «Малую сцену»: неосторожные поступки всегда эстетичнее (и симпатичнее), чем регулярное следование канону. На опасном пути надо, конечно, под ноги глядеть, чтоб не споткнуться, зато какое счастье, когда в пути дерьма вдруг находишь жемчужину или уж вовсе изумруд.

Редко такое бывает, и вот ведь в чем незадача: когда год от года роешься в навальной куче и ничего не находишь, теряешь веру в то, что это вообще возможно. «Малая сцена» — это манифестация веры в неисчерпаемую потенцию русской словесности, в то, что время от времени она становится «другой» (термин Чупринина), и это требует реакции со стороны «ответственных» товарищей (критиков, например).

Я остерегусь судить «по существу» и «по содержанию». Как-то вот не очень интересно такими каноническими процедурами заниматься. Куда важнее проявленная воля и заполнение пустовавшей клеточки в системе культурных функций. Их, этих пустующих клеточек, еще в нашей культуре много, и, увы, пустые клеточки размножаются быстрее, чем растет воля образованного сообщества к их освоению и заполнению.

А вообще говоря, — счастье: написать фразу, потом отщелкнуть абзац и выдать отдельным абзацем типичный «чупринизм»:

«То-то же»

Это я уже про завершающую «журнал в журнале» статью С.И. Чупринина с названием из Блока «Звоном щита». Там же и словарь всяких-разных понятий, проросших в последние лет десять из недр самостановящейся культуры: «миддл-литература», например. Я всю сознательную жизнь занимался всякого рода текстологией, библиографией, классификацией и думал при том: может, все эти занятия есть некий способ заклясть смерть, остановить время, поспорить с энтропией?

Да если бы! («чупринизм»)

Мы остаемся там, где себя поставили, вокруг нас нарастает год от года некая материальная и человеческая среда, иногда она становится слишком густой, и совершенно необходимо взорвать хоть некоторые башни наших персональных кремлей, чтоб подышать свежим воздухом, а потом...

А потом вернуться за стену, ибо кто же мы такие вон? В поле ветер?

Дмитрий БАК

МАЛАЯ СЦЕНА?? ЗАНАВЕС!..

(апологетические заметки о стойких оловянных «толстяках»...)

...Можно сколько угодно спорить, могли быть напечатаны тексты Г. Юзефович, А. Неклессы или М. Кучерской на «большой сцене» журнала, нет ли... Постановка подобного вопроса ничего не проясняет. Любое проведение границы внутри текста выстраивает его собственную внутреннюю альтернативу, любой ограничивающий жест меняет содержание всего высказывания. Скажем, написал художник черный квадратик на белом холсте, обвел рамочкой и — главным его сообщением зрителю стал не квадрат как таковой (его изобразить всякий же может), но сам по себе жест: «смотрите, и

это тоже искусство!». Да, отделить часть текстов номера для публикации в одной отдельно взятой «выгородке» — всякий «толстяк» может, однако именно «Знамя» осознанно выстраивает в одиннадцатом номере свою внутреннюю альтернативу, ищет «свое иное», как сказал бы (простите, господа!) старик Гегель.

Что сейчас в литературе происходит? Пересечение границ между *различными типами литературности*. Я убежден, что в этом сильном и рискованном жесте зафиксировано явление повсеместное, характерное не только для «Знамени». Участвует же главный редактор «Нового мира» Андрей Василевский (и аз многогрешный тож) в жюри странной и задорной премии «Живая вода», учрежденной для лучшего поэта интернет-ресурса «Живой журнал»!

В перестроечные времена, когда литературная жизнь была в основном сосредоточена в толстых журналах, границы отделяли друг от друга представителей отдельных «направлений» — поэтому литературные «консерваторы», «почвенники», «либералы», «радикалы» без труда узнавали друг друга. К середине девяностых центр литературных событий ощутимо сместился на «территорию» книгоиздания и газетной критики. Возник иной принцип разграничения и размежевания: литераторы-«профессионалы» жестко дистанцировались от молодых да ранних «газетчиков», занятых поточным рецензированием, и от плодовитых авторов бульварной прозы — серийных убийц литературного вкуса. Не случайно же именно в эти годы была создана «Академия русской современной словесности», в которую вошли критики порою диаметрально противоположных убеждений. Разногласия отошли на второй план, главное было не в разделении по «направлениям», но в объединении вокруг традиционного литературного профессионализма.

Но вот несколько лет назад ситуация изменилась еще раз. И не только потому, что среди нежурнальных литературных проектов появился автор-герой Григория Чхартишвили. К настоящему времени речь может (и, по моему убеждению, должна!) идти уже не о границе между различными литературными направлениями и платформами, а также не о непреодолимом водоразделе между «высокими профессионалами» и «литературной самодеятельностью» доморощенных литературных коммерсантов. На наших глазах произошла кардинальная смена вех — наглядно проявилось и закрепилось в сознании читателей несовпадение *разных типов литературного профессионализма*.

Именно на «Малой сцене» «Знамени» сделан один из первых шагов к пониманию структуры литературного «сегодня», совершено усилие, направленное на пересечение границ между различными версиями литературного развития, разными пониманиями самого понятия «литература». Возьмем обзор Галины Юзефович. В нем отсутствуют малейшие признаки традиционной литературной критики: нет рассуждений о «идейной и стилистической» преемственности между авторами разных эпох, нет апелляции к темам и идеологемам русской классики, не идет речь о метафизической подоплеке художественного слова, нет разговора о воплощенных в художественном слове этических ценностях, об «общественной значительности» тех или иных произведений и писателей. Зато в статье Юзефович ощутимо присутствуют признаки какого-то иного профессионализма: «контент-анализ» жанрового диапазона современной прозы, динамики тиражей и читательского спроса, алгоритмов формирования литературных репутаций... Г. Юзефович рассуждает, опираясь на опыт существования внутри совершенно невозможной лет пятнадцать тому назад литературной реальности — и эти рассуждения вески и компетентны, при всех отличиях от привычной журнальной критики.

Участь толстых литературных журналов в последние годы весьма нелегка — ну, не парадокс ли, что самый легкий способ доступа к их заветным страницам — интернет-браузер «Журнального зала»? В этой ситуации чрезмерный изоляционизм может оказаться для «толстяков» губительным. Нет, никто не призывает редакции «поступить по принципам», капитулировать, предоставить свои страницы той словесности, которая не укладывается в рамки их убеждений. Однако нельзя не прислушаться к тому, что сегодня происходит на нашем литературном дворе, — иначе недолго и пропустить наступление настоящего, некалендарного нового тысячелетия.

Увидеть различные литературные реальности, признать правомочность разных типов литературного профессионализма — все это ведет вовсе не к измене исконному *profession de foi*, а к его дополнительному усилению. Чтобы прояснить собственные позиции, следует более определенным образом размежеваться с оппонентами. А для этого непременно надо пересечь нейтральную полосу, зайти на чужую территорию. Достаточен ли шаг, сделанный в этом направлении на «Малой сцене» журнала «Знамя»? Нет, говорю я, недостаточен. И чтобы перейти от призывов и заклинаний к делу, попробую хотя бы в общих чертах наметить подходы к описанию разнообразных «отдельных» реальностей в современной отечественной словесности.

Таких реальностей, по всей вероятности, сейчас существует ровно три, и это ни для кого не новость. Уже не *центральную*, но, по крайней мере, *срединную* позицию по-прежнему занимают толстые журналы, которые подвергаются атакам как с правого, так и с левого фланга современного литературного фронта. «Справа» толстяки атакуются литературными прагматиками, идущими на поводу у читательских вкусов и запросов. В их глазах толстые журналы остаются *литературными диссидентами*, поскольку печатают литературу заведомо усложненную, простому человеку недоступную. «Других читателей у нас нет», — говорят «менеджеры-по-продажам» и гордо удаляются в широкошумные пиарные дубровы раскручивать очередную заезжую или аборигенную знаменитость.

Совсем иначе выглядят атаки «слева». Литераторы из круга «Вавилона», НЛЮ (обозрения не только нового, но, кстати, и весьма толстого) упрекают традиционные журналы в старорежимных притязаниях на литературную власть. Дескать, «толстяки» наследуют монополии советских времен, когда невозможно было прорваться к широкому читателю, минуя подцензурные кордоны «Знамени», «Нового мира», «Октября» и иже с ними. Только нонконформный там- и самиздат был в советское время литературой, все же опубликованное в открытой печати было лишь уступкой тоталитарной литературной власти. Дальнейшая логика понятна: толстые журналы потеряли малейшую связь с «актуальным литпроцессом», печатают новоявленных генералов от литературы и т.д. Их тексты намеренно упрощены, не учитывают всей «цветущей сложности» нынешней словесности и т.д. и т.д.

Постойте, постойте, господа! Что же получается? С разных флангов журналы обвиняют в совершенно противоположных грехах! Что печатают «толстяки»: заведомо диссидентскую усложненную литературу, далекую от жизни и от читателя? Или литературу заведомо упрощенную, обслуживающую «дискурс власти»? Что-то тут не так, isn't it? И не логичнее ли нынешнее литературное «трехполье» представить в иной конфигурации? Современный постдиссидентский авангард («левые») наследует комплексам диссидентов *ex officio* советской эпохи, его (авангарда) позиции и практики ясны, как простая гамма, и предсказуемы вперед на километры и годы: под аккомпанемент вечного нытья о притеснениях — прямое стремление к (якобы ненавистой) литвласти.

Современный книгоиздательский прагматизм («правые») наследует, наоборот, не диссидентству, а советскому официозу, претендующему на роль этакого нового соцреализма, мейнстрима (вот и Г. Юзефович, многократно это словцо упоминает). Дальше все то же понятно даже не на годы, а на десятилетия: раскрутка все новых бестселлеров-однодневок (либо, в лучшем случае, «одногодок») с использованием всех возможных медиа. А что же «толстяки»? Как сказано, они, странным образом, по-прежнему остаются если не в центре, то в сердцевине литературной жизни. Без них картина неизбежно была бы неполной. Штука в том, что, в отличие от времен советских, постофициоз и постандеграунд в упор не видят и не ощущают друг друга, тот и другой соперничают не друг с другом, а с... толстыми журналами. Значит, только с учетом присутствия «толстяков» можно описать современный расклад литературных сил, начертить правдоподобную карту русской словесности. На этой карте не может и не должно быть «белых пятен», каждый из трех игроков на нынешнем литературном поле прав своею правой — я это именно хотел сказать, а не заниматься разоблачением врагов и вредителей. Малая сцена? Поднимите скорее занавес! Чтобы выйти за пределы любого из трех литературных гетто, нужно всего лишь пересекать границы, смелее пересекать границы...

Сергей Костырко

В КАЧЕСТВЕ РЕПЛИКИ

Вступительное слово к «Малой сцене» прояснило для меня только внутривредакционную логику, заставившую опубликовать предложенные тексты отдельным блоком. Но отнюдь — не эстетическую. Прочитав тексты «Малой сцены» (особо понравились Марина Кулакова, Майя Кучерская и Валех Салехоглы), я не обнаружил того, на чем настаивает редакция: «Они — иные». Да, разумеется, каждый из этих текстов по-своему «иной». Но сама по себе «инакость» (оригинальность, неожиданность, яркость, непохожесть на уже освоенное нами и т.д.) — это, как я понимаю, в редакционной практике обязательный критерий при оценке любой рукописи.

Единственное, что для меня организует — от противного — предложенный блок текстов в единый проект, это наличие в нем статей Галины Юзефович и Сергея Чуприна с их попытками определить подходы к современной литературной ситуации.

Юзефович рассматривает сегодняшнюю литературу с точки зрения «функциональной» — что востребовано читателем, что — нет, и почему. Чуприн же больше сориентирован на эстетическую проблематику — он рассматривает типы современной литературы (качественная, актуальная, массовая, миддл-литература). При этом пафос у обоих критиков един — это пафос висящего над их размышлениями вопроса: что есть настоящее в сегодняшней литературе. И обе статьи, как мне кажется, содержат некий концептуальный сбой, дублирующий саму идею и исполнение «Малой сцены». В статье Чуприна, которая мне ближе и милее, сбой этот в исходной установке — в попытке искать ответ на вопрос про настоящее и ненастоящее в литературе с помощью предложенного автором разделения литературы на типы. Оговорившись в самом начале («качество произведений зависит не от их принадлежности к тому или иному «укладу», но исключительно от объема писательских дарований»), автор тем не менее вынужден следовать выбранной логике. А по этой логике — нигде не денешься — само причисление того или иного произведения к одному из описанных типов литературы уже будет нести в себе оценку его художественной достаточности.

Здесь слишком серьезное отношение к понятиям типов литературы, чистоты жанра и т.д. оборачивается ловушкой. Слишком много мы имеем примеров тому, что наличие в художественном тексте атрибутов той же, например, качественной литературы отнюдь не свидетельствует о его высоком качестве. В конечном счете все решает присутствие (или отсутствие) того главного, сердцевинного, над определением которого безуспешно бьются философы и литературные критики уже которое столетие (назовем его условно «тайной художественного образа» /П. Палиевский/); того, что не поддается расщеплению в принципе. И слава богу. Тем и жива литература. Ситуацию, когда критики наконец-то выведут абсолютную формулу литературного творчества, овладев которой, писатель сможет наконец создавать шедевры, я, например, могу представить себе только в страшном сне.

В преамбуле к своей статье Чуприн оговаривает принципиальную ограниченность возможностей предложенного им инструментария; предмет его рассмотрения — не столько сама литература, сколько язык, на котором мы говорим о литературе. Тем не менее, эстетическая идеология проекта «Малая сцена» продолжает те неизбежные логические ходы, на которые провоцирует выбранная Чуприным точка обзора и от которых сам автор пытался дистанцироваться, — именно «нечистота» жанровых признаков, «нежелание» этих текстов представлять от того или иного типа литературы, судя по всему, и определили для авторов проекта «Малая сцена» представленные там тексты как «иные».

В отличие от Чуприна Юзефович особенно не рефлексует. Тон ее решителен, почти категоричен. Выбрав в качестве критерия настоящей литературы востребованность ее у читателя, критик легко находит главный порок современного русского писателя: излишнюю настороженность к «открытому пространству», к массовой аудитории, неизжитую привычку к полуподпольному существованию. То есть неспособность его, писателя, адаптироваться к социокультурной и исторической ситуации. Критик, похо-

же, всерьез считает, что художественные достижения могут зависеть от воли писателя. Не знаю. Не уверен. Писатель сколь угодно отчетливо может осознавать сегодняшнюю литературную, социокультурную, историческую и прочие реальности, но к художественной состоятельности его произведений это обстоятельство может не иметь вообще никакого отношения, потому как художником от этой реальности он может стать только при условии, что сам является ее органической частью. Что делать, такая профессия: пойдти туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Это — буквально.

P.S.

Итак, многие давние друзья «Знамени» не поддержали ни спектакль, разыгранный нами в ноябре на «Малой сцене», ни даже его замысел.

Это досадно.

Но ожидадно, ибо на то и риск, чтобы сталкивать в споре тех, кто раньше понимал друг друга с полуслова, и вялую, обескровленную статику единомыслия (и единовкусия) торпедировать энергией несогласия, сомнения в правильности самых азбучных истин. Или хоть бы даже энергией заблуждения.

Будем поэтому заблуждаться. Будем искать — и вместе, и порознь.

Не твердя, как иные из нас, что от добра, мол, добра не ищут. И не исключая до опыта, до проверки экспериментом ни одной из возможных журнальных стратегий.

Все теснее круг читателей толстых литературных журналов. Но уносить зажженные светы в пещеру, пускай и самую комфортную, нам, я уверен, пока еще рано. Зато самое время — искать, ошибаться. И снова искать.

Сергей Чупринин

Александр Загрибельный

По гамбургерскому счету

о хлебе насущном на казахстанской литературной кухне

ПОВАРА И ДЕГУСТАТОРЫ

Людей, добровольно занимающихся приготовлением стихов и прозы и желающих, чтобы их блюд отведал еще кто-нибудь, наша земля во все времена плодила в изобилии.

Даже в 90-е годы, в самый разгар жесточайших экономических и политических передрыг, на редакционных столах республиканского журнала «Простор», как тарелки на кухне холостяка, скапливались целые утесы рукописей.

«Что слава? — Яркая заплатка», — устами классика увещевал былой издатель. Нынешний же казахстанский хранил молчание крепче пареной рыбы. Сам факт публикации чего-либо у нас всегда был (и, боюсь, долго останется) гораздо важнее благ материальных. Иначе зачем колдовать-кашеварить и тащить свою стряпню в редакцию, заведомо зная, что «злата» — то бишь гонорара, тебе не видать.

Но вот конфуз, и «заплата-слава» — критические и читательские отклики, вроде книги жалоб и предложений в древнем общепите, обратная связь, без которой не может полноценно служить ни один художественный кулинар, тоже оказывалась неяркой. Журнал опубликовал, книжка вышла — и молчок, все как в рот воды набрали. Читатели (родственники и знакомые) пожевали, проглотили, поковырялись в зубах, и никто толком не распробовал, съедобно ли кушанье.

Соль в том, что провинциальная литературная кухня, в каковую она после распада Союза превратилась в Казахстане, тем и отличается от цивилизованного хорошо организованного ресторанного обслуживания, что имеет не только скудное меню, но и страдает отсутствием некоторого количества добровольно рефлектирующих умов-гурманов, свободно плавающих в текущем литбульоне и находящихся в этом определенное удовольствие. Сразу скажем, удовольствие весьма проблематичное, если учесть, что питательного для души навару в жиденьком и порой мутном вареве бывает маловато.

Писатели-то пишут, а вот критики и литературоведы из наших краев давно разбежались-разлетелись как ошпаренные. Оскудели гуманитарные кафедры множества новоиспеченных университетов. Обглоданы программы по русской литературе в школах и вузах.

А ведь бывало и Лотман к нам заглядывал, Баевский, Гаспаров, Лев Аннинский... «Иных уж нет, а те далече» — ушло из жизни, разъехалось по заграницам поколение А. Жовтиса, Е. Бельской, — профессуры с колоссальным опытом и филологическим чутьем. Увы, новые умы пока не проросли, не созрели без плодородной почвы. Литературоведы и критики тоже ведь живые люди, питающиеся помимо духовного также и материальным.

Об авторе | Александр Загрибельный — прозаик, поэт, переводчик, спецкор журнала «Журналист» в Казахстане, постоянный автор журнала «Простор». За поэтические переводы удостоен диплома посольства США и Британского Совета. Живет в Таразе.

Имевшие место отдельные спорадические выступления, перечислявшие авторов и произведения, были скорее похожи на приступы колик от несварения желудка. Разве можно сравнить их с регулярными, оперативными, полемичными обзорами А. Немзера, С. Костырко, И. Булкиной, Д. Бавильского и целой стаи разногосых задиристых российских интернет-дегустаторов!¹

Поэтому, хоть непривычно и неловко, но придется заняться самообслуживанием, и в первую очередь определиться по некоторым краеугольным пунктам здешнего меню.

КОСТЬ ПЕРВАЯ

От нашего безрыбья и безмяся, по правде говоря, давно сделалось голодно и грустно, и решил я взять и бросить первую кость в общий котел, подумав, что кто-то должен ее кинуть, даже если плеск разлетевшейся накипи окатит смельчака с головы до ног.

За паузой у меня припасено достаточно костей — увы, накопились за последние годы. А может, когда они покипят, так и до мозга доберемся.

Существует древняя русская забава — холодец варить. С хреном да под водочку — незаменимая вещь! Коренным жителям Востока она малопонятна, поскольку готовят холодец в основном из свинины. Не знаю, как кому, а для меня самое приятное, когда ушки-ножки-мотальжки хорошенько выварятся, выбивать мозг из трубчатых косточек, подсолить, подперчить и, разумеется, съесть. Жена моя говорит, что слишком жирно, но на вкус и цвет даже жена не товарищ.

Тут я солидарен с крупнейшим специалистом по части усиленного питания — досточтимым Франсуа Рабле, который очень правильно определил: «Собака не дура, коль кость грызет, желая добраться до самого лакомого».

Кости порой крепкие попадают. Сразу не раскусишь. Раньше бывало, чуть что-нибудь эдакое швырнешь, сразу услышишь окрик:

— А ты кто такой?

Предвидя вопрос, отвечаю: «Просто человек. Тоже, правда, пишущий и алчущий».

Так вот, скучно мне стало и печально... А совсем уезжать не хочется. Иосиф Бродский (не в укор ему будь сказано) — мог петь на любой чужбине. Его космополитический соловей и за тридцать земель мог выдать удивительную метафизическую трель. Кому-то его истины нравятся. Кому-то нет. Мне тоже пришлось покататься по миру, но я — не Иосиф. Хоть Рио-де-Жанейро, хоть Париж, хоть Чикаго, мне пишется почему-то дома, а еще лучше, если поближе к тому месту, где родился. Про то опубликовал две повести, книжку стихов и роман заканчиваю. Вот и статью пишу, чтобы преодолеть сие трагическое противоречие. Большая печаль — сродни большой власти. Не каждому дано нести ее бремя.

Какие журналы сеют у нас «разумное, доброе, вечное»? Символично звучат их названия — «Простор», «Нива». Символичен их тираж — 2 тыс. экз. У «Простора», кстати, когда-то бывал более 40 тысяч, и он непременно входил в сервировку стола союзного Союза писателей.

Вслед за развалом империи мы оказались выполотыми из общего русскоязычного литературного поля. Москву с ее толстыми журналами и зубастыми волками-критиками тощий казахстанский литъягненок не интересуется. Думается, и во взаимные года Казахстана и России, даже указами обоих президентов, такой интерес не учредить.

Провели концерты, показали по ТВ прием нескольких казахских писателей в Москве, дипломатично напечатали пару старых переводов, тиснули дежурные заметки в прессе — и все. Единственным крупным событием стала презентация в Москве романа С. Досанова «Двадцатый век», да «Роман-газета» сочла нужным сделать в 2002 году выпуск с произведениями пяти казахстанцев — на том, правда, проект и закрылся.

1 В № 1 «Простора» за 2002 год попытку критики «Движение казахстанской поэзии» предприняла Жана Тольсбаева. Поэтический сборник, выпущенный Фондом Сороса, комментировал Валерий Антонов.

Искренне надеялись мы на Интернет. Спасибо Сергею Костырко — подсобил с сетью. Однако наживка в виде ссылки на сайт «Простора» в «Журнальном зале» russ.ru за несколько лет не породила ни одной критической поклепки на казахстанские публикации. Недавние попытки редакции (на мой взгляд, опрометчивые) наладить контакты с журналами «Наш современник» и «Москва» обернулись игрой в одни «просторные» ворота.

Попроси в России назвать самого известного казахстанского поэта, ответят — Бахыт Кенжеев: родился в Чимкенте, учился в МГУ, живет в Канаде, печатается в основном в Москве. Таковы нынешние реалии.

А ведь только за последние четыре года в «Просторе» представлено публике более 150 стихотворных подборок, около 130 рассказов и 70 повестей, 15 романов, множество интересных содержательных очерков и других материалов с общим числом авторов около 350. Среди них поэты: В. Антонов, Т. Ахметов, Л. Вышеславский, Б. Канапьянов, А. Кекилбаев, В. Краковский, Е. Курдаков, В. Михайлов, Л. Степанова, Н. Чернова, О. Шиленко... Прозаики: Н. Веревошкин, К. Гайворонский, Г. Горчаков, С. Досанов, М. Еспертеги, М. Жубанышулы, А. Казанцев, Ю. Кудлач, В. Куклин, М. Отыншиев, Ю. Прохоров, Н. Раевский, А. Тарази, Т. Фроловская, В. Численский, Шахимарден, И. Щеголихин и, как говорится, многие другие. При желании можно было что-то выбрать и продегутировать. Значит, не было желания.

Но попробуй тут жаловаться — значит, невкусно пишем, не поднимаем значительных тем. Да что мы, вон московская критика регулярно стонет, что ничего достойного жить в веках и в России не было написано за последнее десятилетие. Чего, казалось бы, нам роптать в полупустынном, полузабытом «подбрюшье». (Слышал бы А. Солженицын, как в середине 90-х вздрогнуло от его строчки все 20-миллионное русскоязычное население Казахстана и Средней Азии, как ему стыдно было смотреть в глаза соседям и как, еще крепче подобрав удила, оно поскакало, понеслось за хребты в иные пределы).

Хотя это крупный культурный и политический просчет России, который уже больно аукается потерями, но не до нас нашим близзарубежным соплеменникам.

Тем не менее, напряженное дыхание России ощущаешь и понимаешь, что там кашеварный процесс идет, писательская индустрия бодро стучит поварешками по всем чугункам. Конкурсы, презентации, ярмарки, дюжина литературных премий. Книг своих и переводных выпекается несметное количество. Бумажный вал и пена перехлестывают на казахстанский рынок, российской продукцией завалены здешние столы и прилавки. Есть над чем задуматься. Поэтому буду считать, что первая кость брошена.

ПОПЕРЕК ГОРЛА

Брошу еще одну и помешаю в котле.

Давайте пройдемся по улицам и закоулкам, приглядимся-почитаем вывески заведений общепита — Дунганская кухня, Уйгурская, Корейская, Турецкая, Узбекская; Китайский ресторан, Русские пельмени, кафе Итальянское, Французское и, разумеется, «Макдоналдс», но чтобы написали просто и ясно — «Казахская кухня» — так ни днем, ни ночью не сыщешь.

Был один такой популярный ресторан в Алма-Ате, ходили туда, сняв обувь, посидеть за круглым дастарханом, кумыс, шубат попить, кувардак, бешпармак поесть². Но странное совпадение — как только Центральную национальную библиотеку лишили имени Пушкина, так вскоре и ресторан тот «Казахская кухня», что сбоку наискосок, закрылся. Не знаю, существует ли тут какая-нибудь таинственная взаимосвязь, но факт налицо. А это уже симптом, сказал бы доктор медицины уважаемый Франсуа Рабле и продолжил бы: «А покажите-ка, пациент, свой язык».

² Дастархан — стол; кумыс, шубат — лошадиное, верблюжье молоко; кувардак — жареное мясо; бешпармак — вареное мясо с тонкими лепешками из теста — казахские национальные блюда.

Как бы хороша косточка ни была, но мясо без костей — все-таки ключевой ингредиент нашего литературного блюда. Умело поданный — так просто деликатес. Поэтому «поговорим о странностях любви» к языкам. Они бывают разные — бараньи, коровьи, лошадиные, салат из соловьиных язычков нынче не в моде по причине бедственного положения с этими пернатými тварями...

Но тут, прервав мягкую лирическую ноту, очередную кость вбросил сам премьер-министр Даниял Ахметов, и она многим встала поперек горла.

«Мы должны понимать, что для того чтобы Казахстан был интегрирован в систему мирохозяйства, все наши дети должны знать казахский язык, прекрасно владеть английским языком и, безусловно, понимать, что такое русский язык, который открыл нам дорогу в систему микроэкономики».

Что тут было! Русская община, казаки, движение «Лад» обиделись, всполошились, стали требовать публичного извинения, в суд хотели подать. А зря! Никакой суд состава преступления в словах премьера не найдет. Разве что честно укажет на ошибку — не в микроэкономике открыл дорогу казахам русский язык, а проложил широчайший тракт во все сферы мировой культуры. Именно в таком духе проповедовал великий Абай собравшейся в его юрту молодежи, пока варилось мясо жеребенка, два года сосавшего яловую кобылицу и поэтому особенно вкусного.³ Однако на современных пышных трапезах по приему новых почетных гостей об этом предпочитается не вспоминать.

Ознакомившись с рецептурой премьера, я живо представил, как все аулы вдруг заговорили с лондонским акцентом, по утрам едят овсянку и на джайлю⁴ за чашечкой кофе слушают «Би-Би-Си», а Шекспира и Фолкнера потребляют исключительно в оригинале.

Прямо Нью-Барса Кельмес⁵. А на самом деле — ни бельмеса, ни гу-гу! По исследованиям ЮНЕСКО, новации да оптимизации в области образования уже привели к резкому снижению уровня этого самого образования в Казахстане. При нищих учителях, недоделанных программах и перегруженных школах, где на ремонт и оборудование собирают с родителей, иного ждать и не приходится.

В вузах нынче мало-мальски успешно готовят (за очень большую плату) только экономистов, юристов да инженеров нефтегазового комплекса.

Поражает эйфория и громадь амбиций — элита, безусловно, будет знать — деньги, спецпитание с репетиторами, обучение в зарубежных ресторанах... А остальным достанется родной шершавый. И совет — учиться удаляться по-английски. Что, собственно, уже и происходит.

Да, нынче нефть «спикс инглиш». Но не нефтью единой жив здешний человек, а еще и «воздухом — атмосферой русского языка», как сказал мудрый Чингиз Айтматов на Бишкекском конгрессе. «Русский язык — это наша плоть, духовная плоть. Благодаря русскому языку я приобщился к мировой культуре, потому что на русский язык переведены все основные книги мировых классиков — это было уже готовое богатство, и я мог воспользоваться этим богатством. Я уже не говорю о русских писателях — это само собой».

Академический вкус поддержавшего его президента Киргизстана Аскара Акаева оказался более фундаментальной закваски, чем у казахстанских шеф-поваров.

Но клич дан, и процесс входа в макроэкономику пошел — канал «Евразия» после программы «Время», вместо российской «Культуры», давно потчует казахстанское население боевиками американского розлива со сквозным сюжетом — трахнуть и грохнуть.

Благо, если у кого-то имеется возможность «питаться» с индивидуальной «тарелки». Повертел ее, и слышишь, как другой высокий политик в телевизионном интервью с гордостью объявляет, что найденному в степи камню с выбитыми на нем письменами пять тысяч лет — вот, мол, какая древняя история у кочевников. Опешив, с ходу и

3 М. Ауэзов. «Путь Абая», БВЛ т. 2, стр. 33. М., 1971.

4 Джайлюу — летнее пастбище.

5 Пойдешь — не вернешься (каз.).

не сообразишь, что каменюка-то оказывается старше цивилизации шумеров, которые первыми изобрели достоверно известную письменность. А какая, собственно, разница, и что нам пару-тройку тысяч лет туда-сюда накинуть с высоты административного ресурса.

«Миллиард лет назад ходили тут люди...» — продолжает политик. И невдомек, что тогда не только обезьяны, но и первые ископаемые ящеры еще не ползали по матушке Земле.

Чем глубже всматриваешься, тем больше сюрпризов извлекаешь из обновленного «голубого» котелка: в популярной телеигре «Как взять миллион» преподаватель вуза, чудесно шарящий в преферанс, ни сном ни духом не ведает, что «Фауста» написал Гете, бойкие журналисты «забыли», что тезкой Пушкина был Грибоедов, а строки из «Горя от ума» и подавно. «Во глубине сибирских руд» — оказывается, «сморозил» Герцен. А как хронологически располагаются пятеро русских нобелевских лауреатов по литературе — вообще тайна за семью печатями.

Из десяти претендентов только один правильно расположил последовательность частей в составе слова: приставка-корень-суффикс-окончание. С заданием — назвать по порядку месяцы на казахском языке — справились тоже единицы, остальные не просто отстали, а сделали неправильно, хотя из соревнующихся более половины были представителями титульной нации. Подозреваю, если бы задание касалось названий месяцев на английском языке, процент попаданий был бы гораздо выше.

Пожинаем плоды просвещения. Не стану каламбуричь по поводу ума в программе, все само собой выявилось в первый год вступительных экзаменов на основе общих тестов. Брошюру озаглавили «Вступительные тесты по русской литературе», хотя наполовину они состояли из вопросов по казахским авторам. Нынешнее издание догадальщики поправили. Теперь называется просто — «Тесты по литературе».

Вот такая нынче — «академия», как выговаривал мой четырехлетний сын ученое слово «академия». «И это уже не симптом, а диагноз», — добавил бы целитель-чревовед Франсуа Рабле.

КОТЛЕТЫ И МУХИ

Анекдот от Галкина-Пугачевой: «Поймал “новый казах” Золотую рыбку. Бьет ее по голове дубинкой и приговаривает: “Говори по-казахски”. На концерте в Алматы громко смеялись и «новые», и «старые».

Но не до смеха, когда такой бытовой дубинкой становятся таблички на казахском языке на дверях кабинетов врачей в поликлиниках, налоговых органов, муниципальных и прочих присутственных мест или когда, выдавая для заполнения бланки документов на казахском, вам, улыбаясь, отвечают, что на русском кончились, подразумевая, что ведение делопроизводства осуществляется на государственном языке. Прямо не кость уже, а кляп.

Известно, что легче всего язык осваивается в детстве. Отец у меня вырос в ауле, как на родном говорит на казахском, руководил заводом, читал лекции, а по праздникам до сих пор распевает казахские песни. Я ж понимаю на минимальном бытовом уровне, поэтому хотел, чтобы младший сын знал язык хорошо. Но сразу ужаснулся, как методически примитивно ведется преподавание казахского языка в школе! Туда что, специально подбирают бездарных педагогов? Или перед ними изначально ставят задачу — не научить, и за это (на зависть другим учителям) дают повышенную зарплату?

В достаточно престижном лицее весь год на уроках казахского дети заучивали слова бессвязной россыпью, читали тарабарщину без перевода, получали пятерки, а к концу года толком не умели спросить: «Как тебя зовут и где ты живешь?» А вот по-английски они уже и читают, и переводят, и в пределах своего вокабуляра могут пообщаться с американцем.

Знакомого русскоязычного ребенка родители специально отдали в казахский детский сад (вопреки справедливым опасениям, что остальная подготовка там хуже), и к семи годам он свободно болтал со сверстниками. Так мальчишка практически забыл

язык после окончания первого класса, подчеркну — в одной из лучших школ города на юге Казахстана.

Недавно прошедший Единый государственный тест тоже показал, что уровень знаний выпускников казахских школ ниже по сравнению с русскими.

Окрест же раздается стон об упадке казахского языка. Предлагают приплачивать за знание и наказывать за незнание. Бросьте притворяться и ломать комедию! Азиатская лень и хитромудрость — далеко не главная восточная тонкость. Давно привыкли и сами пользуемся.

При наличии нормальных пособий с кассетами (типа успешно раскрученного курса «Speak English») наверняка подучил бы и государственный казахский, но он не кормит! Думаю и пишу по-русски, но последние десять лет кормит меня в основном английский. Вот где зубная боль до скрежета зубового.

Ревнителям же всеобщего знания госязыка не открою большой тайны, если отделе «мух» от «котлет» и озвучу парочку активно дискутируемых в обществе версий, которые вполне объясняют, почему с обучением дело обстоит из рук вон плохо.

Казахский — это язык для своих, это завуалированный, прикрытый риторикой и демагогией фильтр, через который осознанно или бессознательно стараются не пропустить русскоязычных во власть и в госслужбу. Расчет прост — коренное население худо ли бедно научит своих детей в семьях лопотать на бытовом уровне, и те получают пропуск к должностям и прочим официальным небольшим, но материальным благам.

Учить не учат, а в старших классах на экзаменах спрашивают безо всяких скидок, и выставаемая русским ученикам низкая оценка по казахскому влияет на их общий балл.

«Котлеты» — своим, а «мухи» пусть улетают. Хотя русских и так уже остался минимальный процент в правительстве, парламенте и корпусе чиновников, но зачем нужны толковые конкуренты! Тихо вытеснить — и ни на кого не надо будет оглядываться. Со своими послушными на своем родном договориться всегда легче, и управлять проще, по-азиатски, нежели с привыкшими к более либеральным цивилизованным формам ведения дел русскоязычными согражданами. Эдакий незатейливый кухонный расклад.

Есть и еще одно мнение, не опровергающее предыдущего, — это труднейший процесс адаптации казахского языка к современным условиям глобализации экономики, развития науки, информационных технологий, его невостребованность по высшему счету. (Поди тут выбери, что приятнее). «Лунную сонату» можно сыграть и на рояле, и на двух струнах домбры, только эффект будет разным.

Верховных амбиций высказывается много, а реалии упорно показывают, «ху есть ху». Бюрократия и управление давно в руках представителей титульной национальности, а в производственно-научные отрасли все больше призывается иностранных менеджеров, и под их опекой составляются стратегии развития государства, которые оборачиваются обвинениями в коррупции и скандалом, получившим название «казахгейт».

Однако нынче, когда по площади Республики бродит некто Борис Годунов, народ уже не безмолвствует. Он выражается очень откровенно. Можно было бы ввести сюда гипертекст из сайта «Навигатор» (navi.kz), от которого у многих обвиснут уши и подкосятся мотальжки. А диалоги — хоть сразу бери и вставляй в современную пьесу об «асфальтных», «аульных»⁶, «манкуртах» и «мамбетах»⁷, «русофонах» и «русофобах», вдобавок узнаешь кучу популярных кличек и аббревиатур. Рекомендую тем, у кого нехватка тем. Публика на такое представление валом повалит, будет и «злато», и «заплата».

На сайте и языки обсуждаются, и в крепких афористичных выражениях разъясняют — кто виноват и что делать:

| Недоволен Казахстаном: чемодан — вокзал — Россия. |

⁶ «Асфальтные» и «аульные» — городские и сельские жители.

⁷ «Манкурты» — казахи, забывшие свои корни, «мамбеты» — националисты.

| Техническое делопроизводство на казахском языке если и появится, то ой как нескоро. Полвека точно пройдет. Среднее образование на казахском языке получить еще можно, а вот высшее по естественным наукам... Лучше повеситься! Как, скажи, применять казахский в науке и технике? Заставь сам себя сказать по-казахски: «насосно-турбинный привод каротажного зонда с индукционным изолятором». И я посмотрю на тебя. |

| Вчера после новостей по Хабару показали встречу у Назарбаева с представителями бизнеса, науки и т.д. Диалог велся на непонятной смеси языков, когда все без исключения участники начинали говорить на одном языке, потом неожиданно переходили на другой и обратно. |

| Живу в Канаде, казах, 48 лет, казахского не знает никто в семье. Объясните, люди добрые, почему меня и моих детей будут считать какими-то «манкуртами»? Зачем им казахский язык здесь? Какая практическая польза? Может быть, есть какие-то наиважнейшие материалы, доступные только на казахском, и русского и английского будет недостаточно? |

| Это не русские сейчас воруют средства, выделяемые на казахский язык. Это наши же казахи из общества «Казак тілі». Русские не смогут при всем желании разработать меры по изучению казахского языка. |

| Я представительница титульной нации, у меня есть казахстанский, питерский и английский дипломы; причем с английским языком среди европейцев связана моя работа вот уже восьмой год; и таких, как я, много. Поэтому примите мои слова серьезно. Существует одна проблема — проблема человеческой глупости и невежества. Легкомысленно отказываясь от русского языка, мы ставим крест на нашей истории. Это все равно что сносить старые памятники... |

| Знаете, почему я с зевотиной читаю казахскую прессу? Да потому, что там нет ничего почитать... Где журналистские расследования, где животрепещущие факты? А умничать и строить из себя поэта и мыслителя я тоже сумею, и мне не нужно читать подобных умников. |

| Отличие и сила влияния среди казахов — в умении «разделять голову барана» — умении делиться. А пока делятся так: заводы — капиталистам, землю — латифундистам, деньги — семье, а народу — язык. |

В газетах и журналах тоже печатаются сотни, если не тысячи статей. Сражения ведутся на вилках и ножах. Особенно стараются писатели. Но глубокий, взвешенный материал, как и подлинный талант, всегда большая редкость. Академику Мехлису Сулейменову, чувствуется, не раз приходилось пить чай на кухне с теми, о ком он обстоятельно (даже исповедально) написал в «Казахстанской правде» (14.05.2004).

«Громче всех сетуют и ратуют казахские писатели... но ведь правда в том, что у многих из них, даже у народных писателей Казахстана, дети не говорят на родном языке. Если казахские писатели не привили любви к родному языку своим детям, то кого в этом винить? Пока русский у нас в кармане, надо этим дорожить. Знание русского — сила, а не слабость», — резюмирует академик Сулейменов.

Вот это слышится речь мужа, а не очередного мальчика для семейных розг.

ПИР ДУХА!

Эклектика, а по-столовски — винегрет, как оказалось, одно из любимейших местных блюд. Верхней челюстью мы в Европе, а нижней в Азии — и, соответственно, в парламенте у нас верхняя палата называется — сенат, а нижняя — мажилис. Так и жиневе — винегрет жуем.

Желаем выглядеть как европейцы, но вести себя как азиаты. В жилище — евроремонт, одежда — не чапан⁸, а джинсы, езда — «Мерседес», еда — спагетти, круассаны и,

⁸ Длиннополая национальная одежда.

конечно, гамбургеры. Вроде строим демократию, а в результате обсуждений выясняется, что народ еще не созрел и нам более подходит авторитаризм. В соответствии с общим настроением в отношении женщины сохраняется стабильно патриархальный стиль, и периодически всплывает вопрос о многоженстве.

Чуден здешний винегретно-бешпармачно-гамбургерный мир. Аппетиты в нем раздуваются по мере накачки нефтедолларами. Однако, как ни банально это прозвучит, не все можно купить за деньги, даже за очень большие. Например — опыт, традиции, культурный багаж.

И тут еще один пахнущий углеводородами мосол, мясной, не обглоданный, опять подкидывает столица. Вокруг него затевается грандиозный той — проект по переводу лучших образцов мировой литературы и гуманитарных наук на казахский язык. Выделены средства — 25 миллионов долларов. Вот будет «Пир духа!» — как говаривал сквозь вставную челюсть незабвенный бровеносец в потемках «наш Ильич» Леонид Брежнев (не к ночи будь он помянут).

Но еще Ильф-Петров заметил: «Перевод построить — не ксерокс купить». Позвольте спросить, а повара-толмачи кто? Где тот могучий коллективный организм, с достаточно широким горлом и беспрецедентным гаргантюа-пантагрюэльским желудком, чтобы проглотить и переварить такую колоссальную священную корову?

Мухтар Ауэзов ярко описал, как быстро и ловко на лошадях доставляли блюда с едой для пирующих в юртах. Нынче же на полном скаку хотят доставить под купола всемирную «духовную» пищу, разлитую в русские термосы. То есть переводить на казахский планируется с уже существующих русских текстов. Но самое смешное, что происходит все как раз в момент формулирования на государственном уровне концептуального распрощания с русским языком.

А слабо тогда толмачить с подлинников — как Николай Любимов: Рабле со старофранцузского, а Сервантеса — с испанского... Что, кишка тонка? «Дон Жуан» Байрона с чьего перевода будет переделываться — Татьяны Гнедич или Георгия Шенгели? Каким ямбом, пятистопными или шестистопным? А не страшно, что коренной житель, обнюхав, воскликнет: «Тут русский дух, тут Русью пахнет!» и вообще откажется потреблять сию стряпню?

«Полтаву» однажды перевели на шведский, а потом кто-то взял и по недоразумению перевел обратно на русский. Так Пушкин своей поэмы не узнал. Надеюсь, «Похвалу глупости» Эразма Роттердамского тоже переведут. В ней найдется много великолепных цитат про головотяпство.

Впрочем, эта проблема устроителей проекта не волнует, они далеко не глупы — деньги надо освоить. И они будут освоены! А в отношении памятников литературы и философии будет явлен очередной культур-мултур.

Гостил у меня один американец, так он любил есть борщ с хлебом, намазанным вареньем. Мясо под сладким соусом — у них вполне нормально. Вкусы разные, но привыкнуть можно. У нас тоже намечается кулинарный сюрприз, когда какой-нибудь астанинский дядька русской деревянной ложкой начнет отправлять в рот греко-римскую бузину. Одно утешает — первоисточники от этого никак не испортятся.

И не спешите плескать накипь гнева в автора этих строк по поводу недоверия к местной творческо-переводческой кухне. Издательство уже создано, оборудование установлено, но что оно выпускает? Совсем не ожидаемые переводы, которых раз-два и обчелся. Впоследствии, вероятно, состоится немая сцена — «к нам приехал ревизор», но скорее всего немота все и покроет.

Известному герою фильма «Белое солнце пустыни» было за державу обидно, а мне за родной язык обидно. Лицемерно объявлять, что русский годится лишь для микроэкономики, и тут же беззастенчиво обращаться к фундаментальным русскоязычным работкам, без которых невозможно шагу шагнуть ни в образовании, ни в науке, ни в искусстве.

Как переводчик я часто наблюдал страдания своих казахских коллег, переводивших технические тексты с английского на язык Абая. Полноту чувств любовного посла-

ния Татьяны к Онегину, хорошо постаравшись, переложить можно, но чрезвычайно разработанную современную научно-техническую терминологию, понятийный аппарат экономики, социологии, философии, увы, одним вдохновением не одолеть. Нынешнее же коллективное изобретение массы новых слов и внедрение их в словари и буквари пока напоминает филологический эксперимент. А в адрес испеченных неологизмов (заодно и пекарей) не раз приходилось слышать от коренных жителей слова абсолютно понятные, хотя и непечатные и почему-то исключительно по-русски.

Для получения полноценного образования на госязыке и его полнокровного функционирования должен быть обеспечен доступ ко всему спектру современных знаний, то есть вся накопленная человечеством и вся текущая информация — от атомной энергетики и космоса до нефтедобычи и перерабатывающих технологий, от «Гильгамеша» до «Улисса», от Платона и Канта до Ильи Пригожина — должна переводиться на казахский, иначе опять придется читать по-русски или по-английски. Сотни тысяч, миллионы книг. По силам ли объем? Посади за переводы все трудоспособное казахское население — его не хватит, даже если оно перестанет добывать нефть, пахать землю, пасти баранов и варить обед. Все станут не читатели, а переводчики.

Как дело обстоит с обучением казахскому, мы уже знаем. С английским гораздо лучше. В элитарных вариантах — просто великолепно. Грешен, сам порой пишу и прикидываю — как фраза прозвучит по-английски? (Последнее вполне естественно, поскольку даже русский в чем-то пробуксовывает перед английским, но это предмет отдельного рассмотрения, интересующихся отошлю к комментариям В. Набокова к его переводу «Лолиты» и к основательному тому академика М.П. Алексева «Русско-английские литературные связи»).

Однако русский-то у нас знают почти все. Покажите хоть одного местного казаха, который без русского овладел английским. И на форумах СНГ общение идет тоже по-русски.

И дело не в имперских замашках «старшего брата», а в знании предмета и чувстве элементарной справедливости. Надо же отдавать себе отчет в масштабах явлений мирового культурного контекста. Абай, конечно, великий писатель, и в Лондоне ему стараниями правительства Казахстана даже устроена мемориальная комната, но это же не значит, что Абая изучают в школах Великобритании, как Шекспира, Достоевского или Толстого. Пусть в России всего пять нобелевских лауреатов по литературе, но они есть в отличие от других бывших братских литератур.

Если бы уважаемый премьер-министр был еще и реалистом, то согласился бы, что русский язык очень долго будет здесь — макро, а не микро. Как говорится, не плюй в колодец, пригодится водицы напиться. И вам лично, и всему казахстанскому народу.

ЛАВРЫ И КРЕСЛА

Толкую про русскую литературу в Казахстане, а каково положение собственно с казахской? Не той, которая в ушедшую эпоху была переведена на русский, а через него и на другие языки, завоевав достаточно пахучих лавровых листиков, а о современной. Трудно сказать — едва запах слышен. Редкий казахский писатель доберется до перевода. За него ведь тоже надо платить.

Тут целая горсть костей. Кину их и посмотрю, как лягут. Но с другой стороны, что тут рассматривать — секция перевода при Союзе писателей Казахстана уже давным-давно не работает, художественный перевод не востребован — в отличие от технического, юридического и прочих прикладных обслуживающих, с которыми относительно все в порядке. Последний съезд союза также прошел без синхронного перевода на русский или английский. Вроде не кормушка союз, как при СССР, а основной жар по-прежнему разгорелся в споре за руководящие кресла. За кресло пишущего писателя борьбы почему-то нет!

А что, собственно, воспевать — крутые джипы и коттеджи «новых» богатых, иностранные инвестиции или ободранные стены школ и голые больничные матрасы? Когда нет нормального настоящего, вспоминается великое прошлое и мечтается о прекрас-

ном будущем. Поэтому в рассказах и повестях традиционно разрабатывается исторический материал, легенды, предания, мифы, фантастика, общение с потусторонним миром. А вот художественное освоение современности — практически нулевое. Незатейливо пересказываются истории отцов и дедов, печется немало унылых повестей о трагических годах создания колхозов. Есть и коммерческий сектор — боевики, криминал, секс. В качестве призыва прочитать произведение можно встретить анонс — «автор не скупится на сексуальные сцены!»

И вот что любопытно — с художниками и музыкантами все в порядке, они, в отличие от писателей, интенсивно развиваются, проводят выставки, завоевывают премии на престижных международных конкурсах. И среди добившихся успеха особенно заметны и интересны представители титульной национальности.

В писательской же среде ситуация обратная — ныне в Казахстане рядом сосуществуют два разделенных литературных поля. Они почти не переопыляются, как это было ранее. И если на русскоязычное ветер доносит пыльцу из российских пределов и само оно оснащено мощным плодородным олоем традиций русской литературы, то казахскоязычное поле плотно огорожено, открываясь миру в основном через те же редкие русские переводы. И сильно сомневаюсь, что в ближайшем будущем начнут переводить напрямую с казахского на английский.

Парадокс — в русском журнале наблюдается дефицит русских авторов. Более половины авторов, несущих свои стихи и прозу в «Простор», — казахи. Что заставляет их писать по-русски, ведь политика государства и чувство национальной гордости, казалось бы, должны подталкивать в логичном направлении. Тому есть как минимум три причины — владеют русским лучше, считают, что он дает больше возможностей для самовыражения, хотят быть услышанными и понятыми более широкой аудиторией.

Но на самом деле уровень владения русским падает. Снижается планка отбора текстов. Уже остро ощущается нехватка среды, той критической массы, где варится и творится язык. Эта среда создавалась и поддерживалась в Казахстане влиянием огромного слоя образованных людей, сосланных сюда после революции, приехавших в период индустриализации, а позже подкрепленного эвакуацией сливок российской творческой интеллигенции в годы Великой Отечественной войны. (Кстати, Солженицын тоже училествовал в нашем Чуйском районе.)

Десятки лет шел интенсивный плодотворный культурный обмен, не только строились заводы и поднималась целина, но создавалась новая литература, новая классическая музыка, национальные театр и кино, которых до той поры не было у казахов. Александр Лазаревич Жовтис рассказывал нам — аспирантам, о жившем по соседству Самуиле Маршаке, об Эйзенштейне, о том, как помогали Мухтару Ауэзову не только переводами, но и бежать в Москву от преследования казахских чекистов.

Нынче взаимный обмен поиспарился. Зато носы поворачиваются в стороны других мнящих запахов — мешочный Стамбул, хадж в Мекку, активный всеядный Китай и, конечно, западный нефтяной капитал. Очевидно, в России, в пылу забот, не вполне понимают угрозу деградациии лояльного русскоязычного пространства в своем «подбрюшье». А ведь обратная связь с литераторами и журналистами, поддержка людей, пишущих на русском, — это возможность серьезно влиять на идейный паритет в регионе. Думается, критикам все-таки следует периодически заглядывать на сайт «Простора» и кое-что дегустировать. А журналам хотя бы изредка приглашать авторов под свои обложки. Недальновидность России очень скоро может обернуться для нее большими проблемами. Свято место пусто не останется.

Казахстан и Россия обречены на органическое соседство! У нас гораздо больше объединяющего, чем того, что хотелось бы разделить. И границы внутренние самые длинные, и народа смешанного, спящего туда-сюда, предостаточно. В перспективе общую валюту затеваем. Уже повысказались веками копившиеся обиды, пора разминать костенеющие сочленения. Вместе мы все равно богаче разнообразием, чем по одиночке. И «А-у!» соседское понимаем, и привычка широкого дыхания пока еще сохранилась. Вот где повод для хороводов вокруг писательского котла.

Эпические перемены, свершившиеся за какой-то десяток лет, расслоение общества на очень богатых и очень бедных, коллизии новых политико-экономико-культурных векторов — вызывают отразиться в повестях и романах.

Жизнь продолжается с ее сиюминутными проблемами и нерешенными вечными вопросами, и потребность их литературного осмысления не в силах снять никакая текущая агитация, не заменит очередной триллер или размазанный по экрану заморский сериал. Новое же сознание людей, прошедших социальную мясорубку, часто напоминает фарш. Это даже не винегрет, тут можно лепить и жарить котлеты любой формы. Отсюда такое количество народа, растекшегося по различным религиозным и эзотерическим конфессиям.

Не злопыхательство, не сведение счетов и конъюнктура, не коммерческое щекотание нервов — нужны подлинная широта взглядов, откровенная постановка вопросов в материале, где сама природа развития художественного образа выкристаллизует героев из насыщенного раствора жизни, помогая выявить морально-эстетические ориентиры. Такое произведение еще не написано, но оно исклчительно востребовано!

Нужен роман, который смог бы продолжить ряд вехообразующих произведений, какими для своего времени стали «Отцы и дети» Тургенева, «Анна Каренина» Толстого, «Бесы» Достоевского, «Тихий Дон» Шолохова, «Прощай, оружие» Хемингуэя, «Унесенные ветром» Митчел, «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, «Буранный полустанок» Айтматова.

«НЕ ЗАКРЫТЫЙ, А ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ»

И вот на закуску — не просто кость, а «открытый перелом», если хотите — трепанация черепа без наркоза.

Прибыл в Алматы знаменитый бразильский писатель Пауло Коэльо, ходит в гости, вкушает традиционное национальное гостеприимство, приглаждается, раздает интервью, комплименты, автографы, делится своими рецептами. Отведал даров здешней флоры и фауны, а на десерт просит подать что-нибудь «фирменное» из современных казахских беллетристов, и желательно по-английски.

Кинулись мести по амбарам и сусекам, да так ничего не наскребли лакомого к чаю — не переводят местных на аглицкий, а на португезу и подавно. Ничего по мировым котировкам стоящего не написали — самого же Коэльо издают в 155 странах, аж на 60 языках. Теперь, наверное, переведут «Алхимика» и на казахский, с русского, разумеется. По правде, никакой Америки в книге не открыто — и мысль главная, как древняя притча о блудном сыне — зачем искать где-то, что уже имеешь, и твои сокровища и хлеб насущный рядом — дома, где ты родился.

Чем можно в грядущем утешить очередного заморского гурмана — разве тем, что скоро по рекомендации премьер-повара наши литповарежки начнут печь и жарить сразу по-ихнему, и тогда всю стряпню можно будет пробовать и переваривать сразу, не отходя от котелка. Холодец уж точно варить не станут — нынче в моде быстрое питание.

Но как же тогда казахский? По гамбургскому счету — понятно — айттысы⁹, быт, портфель, тосты, а по высшему гамбургскому — очень большой вопрос. Премьер-министр пока, может, и шепчет перед сном: «Колхоз Кенес — жаман емес»¹⁰, но скоро начнет цитировать трагедии Шекспира.

Да бог с ними, с языками, хоть на людоедском, но произведения, объемно отражающего глубину местных реалий, нет как нет. Не знаю, как другим собратьям по цеху, но мне было стыдно. Я ощутил ситуацию как личную вину и упрек себе.

Пауза нелепо затянулась. Писатели запутались в стране без осмысления пути. В условиях культурно-тематической замкнутости, отсутствия переводов и профессиональной критики, размывания критериев художественной правды, межъязыковых мета-

9 Айттыс — состязание в импровизационном красноречии.

10 Местный вариант поговорки «В Багдаде все спокойно...».

ний — накапливается тяжелая депрессивная аура, грозящая хроническим заболеванием. Писатель — врач, по меньшей мере психотерапевт. Он же и дежурный по кухне, где выпекается хлеб насущный. На первый план выдвигается не столько языковая принадлежность, сколько ощущение культурной идентичности, будни выживания, труд, отношения собственности, острейшие экологические коллизии в их всеобщей связи. И все это на фоне вечных нерешенных проблем бытия.

Попытаться войти в гуцу противоречий, одновременно поднявшись над ними для симфонического обобщения по ключевым глобальным и локальным болевым точкам, явив новую музыку слова, — вот задача, требующая большого гражданского мужества и недюжинного таланта.

Кажется, на первый раз косточки достаточно покипели и выварились. Поднимем крышку котла и высыпем их на стол, сдвинув лишнее в сторону.

Вы слышите, как костяшки посыпались одна за другой — по принципу домино. Забили «козла», а получилась «рыба», но какая-то уж совсем несъедобная. За что боролись, то приходится и расхлебывать. А теперь посчитаем очки, господа, много ли выиграла? И кто?

Время, конечно, покажет, куда кривая выведет. А пока предлагается подороже продать нефть, надраться ихних виски, закусить гамбургером и, подперев плечом «Макдоналдс», вслед за шеф-поваром начать наизусть повторять: «Ту би ор ног ту би!»

р е ц е н з и и

Между «!!!!!!!» и стариком Хэмом

Евгений Гришковец. *Рубашка*. — М.: Время, 2004.

Роман Евгения Гришковца «Рубашка» представляет собой (не побоюсь обобщить) один из самых симптоматичных текстов 2004 года. Причем «Рубашка» не просто симптом (примета, показатель, знак, диагноз — как угодно) — это сразу несколько симптомов. И не только т.н. литературного процесса, но и всей палитры культурно-языковых процессов в целом.

Меньше всего хочется рассуждать о том, является ли «Рубашка» личной творческой удачей Е. Гришковца, то есть входить в интимно-оскорбительную сферу *ad hominem*. Е. Гришковец явно считает ее удачей, эту свою «Рубашку», иначе он не стал бы издавать ее более чем солидным по нынешним временам тиражом (20 тыс.), честно выразив благодарность А.Л. Мамуту «за поддержку в издании книги».

Еще меньшую роль играет «нравится — не нравится» рецензента. Мало ли что кому нравится. Е. Гришковцу, например, нравится ставить много всяких знаков препинания. Скажем, читаем следующий внутренний монолог писателя: «Эгоист! Эгоист!!! Дурак, блядь! (здесь непонятно, кстати: слово, пардон, «б...» — обращение к себе, любимому, междометие или частица? — В.Е.) «Ну конечно, Она меня любит! Ей, может быть, хуже, чем мне. И Ей точно сложнее сейчас! А я тут...». От этой мысли вдруг захотелось подскочить и мчаться куда-то... А куда??? К Ней, конечно!!! Но куда? От этой мысли все внутри задрожало... Но стало легче. Стало намного легче!!!!!!! Какая же я сволочь!» Ну и так далее. Девять восклицательных знаков — это сильно. Почему девять? Наверное, по числу букв в фамилии «Гришковец». Нет, дело не в «нравится — не нравится». Тут все глубже.

Являясь филологом, в прошлом серьезно специализировавшимся на проблемах звучащей речи (фонетике, интонации), я хотел бы поделиться некоторыми мыслями, навеянными «Рубашкой».

«Рубашка» написана в эпоху, когда происходит очередной глобальный пересмотр отношений между двумя разновидностями языка — устной и письменной. Как правило, говорят об экспансии устной речи на письменную. Но здесь все куда сложнее. С одной стороны, телевизор, неумолкающие мобильники и ничего не читающие дети, с другой — ренессанс эпистолярного жанра в Интернете и востребованность плодovitых, как помесь саранчи с кроликом, детективщиц. С одной стороны, постепенное отмирание жанра сочинения в школе и введение риторики как обязательного предмета в вузах, с другой — бум книгопечатания и сетевой изящной словесности. Перечисление подобных антиномий можно продолжать до бесконечности.

Происходит то, что происходит регулярно в истории языка и культуры. Начало XX века тоже ознаменовалось выяснением отношений между звучащей речью и речью письменной. Достаточно вспомнить эксперименты А. Белого, «метельную прозу» 20—30-х годов и т.п. До сих пор из той эпохи многое исследовано не до конца. Есть явные неразгаданные парадоксы. Скажем, нет другого такого писателя, который бы так глубоко и полно отразил тектонические сдвиги в русском языке постреволюционной эпохи, как Андрей Платонов, этот, по его выражению, «интеллигент, не вышедший из народа». Народа, который в большинстве своем говорил, а не писал. Язык А. Платонова —

это, если угодно, философия, платоническая (Платона и Платонова уже неоднократно сравнивали) модель говорящей, спорящей, устно усваивающей новые понятия России. Но при этом А. Платонова так никому и не удалось по-настоящему озвучить (я этой проблемой занимался специально). Тексты Платонова читали прекрасные чтецы и актеры, но — по большому счету — не звучит Платонов, и все тут. Глубоко «письменный» писатель, лучше всех отразивший «устную» речь.

Но — возвращаюсь к нашим рубашкам. То, что происходит в словесной культуре сейчас, скорее, напоминает даже не первую треть XX века, а XVIII век. Язык чатов в Интернете — это что-то сродни Третьяковскому, любовным виршам и прочим мутирующим смесям 250-летней давности, что-то вроде:

Ах мой предрагий деоманте
И тяжкоценный бриллианте!
Ум мой смутится.
Купида мне приключися!

Мутируют жанры, смещаются каноны. Но вместе с тем — по закону пресловутой диалектики — в этом едком то ли соляном, то ли щелочном (не разберешь) растворе происходят и обратные процессы — четкая кристаллизация отдельных фрагментов. Успех (как правило, кратковременный) приходит к тому, кто, что называется, «попал», то есть выявил свой яркий и оригинальный кристаллик, создал свою «нишу», которая сразу замечается окружающими в этой хлопающей и чавкающей мутной жиже пост-модернистского (нет, уже — «гипермодернистского») «культурного поля».

Е. Гришковец очень метко «попал» своим «театром Е. Гришковца» в самую точку. Его театр одного актера — это и не традиционный театр, и не экспериментальный театр с (если честно, изрядно надоевшими) режиссерскими исканиями, и не окончательно опетроснявшийся разговорный эстрадный жанр. Это просто театр Гришковца. Говорящий человек. Говорящий просто, без актерских заученных модуляций. С камерностью, не переходящей в интим. Без пафоса и дидактики. С юмором, но без нажима. Со смыслом, но без форсирования его глубины. В конечном счете, «человеку нужен человек» (это прекрасно понимает Е. Гришковец), а не режиссерские находки, не возведенные в куб расиновско-шекспировские страсти, не навязчивые хохмы. Кто-то назвал это «принципом Никулина». Раньше в народе таких людей называли «ША ПЭ» («швой парень»). «Звучащий» Гришковец — это, безусловно, феномен.

«Рубашка» — попытка Е. Гришковца освоить новые рубежи. Ему явно стало тесно в имидже «швого театрального парня». Но осваиваются Е. Гришковцом новые («письменные») рубежи явно старыми («звучащими») методами. Хорошо ли это? Не знаю. Покажет время.

«Рубашка» — это «Один день Евгения Гришковца», он же — преуспевающий архитектор Саша, в прошлом — провинциал. Утром Саша надевает новую рубашку. Весь день ее носит. В ней Саша кушает, стрижется, думает о Ней, разговаривает с другом Максом, видит сны про войну... Рубашка, конечно, пачкается. Саша ведь живой: волосы после стрижки попадают за воротник, потеет Саша и все такое прочее. Вот, собственно, и все. То есть написана «Рубашка» по театральным законам классицизма. Это — единство времени (сутки), места (рубашка, хотя Саша все время и ездит по Москве, но ведь в рубашке же) и действия. Хотя с действием сложнее. Его просто нет. В смысле — нет интриги, сюжета и композиции (с завязкой, кульминацией, развязкой и другими литературоведческими пирогами). Об «идейном содержании» говорить не приходится. Сама постановка вопроса неприлична. Это же не критический или соцреализм. С «художественными», т.е. образительно-выразительными, средствами» — тишина. Полная «аниконичность», т.е. безобразность. Ни метафор, ни олицетворений, ни гипербол... Ни просто эпитетов, самых завалищих. Вообще ничего. «Я пошел». «Я ушел». «Я пришел». На первой же странице (а формат — малый: 70 x 108, 1/32): 12 «я», 8 «был, была, было», 6 «слышал-услышал», 5 «звук» и т.д. Стиль — спартанско-шаманский, т.е. слов мало, и они все время повторяются, то ли заворачивая, то ли усыпляя.

Кстати сказать, у пьес Гришковца тоже словарный фонд небольшой. Но он с лихвой компенсируется фонетико-интонационным оформлением.

Относительно недавно на филфаке МГУ была защищена докторская диссертация про слово «а» в русской звучащей речи. И книжка вышла. Автор — М. Бизяева. Я читал. Не диссертация — роман! Больше тысячи значений выявлено у этого слова в русском языке! (Хочется вслед за Е. Гришковцом выставить тысячу восклицательных знаков.) Столько же вариантов произнесения. «А» — целая вселенная. Опять же — кстати — эффект комизма (да и трагизма тоже) в разговорном жанре часто достигается принципом «меньше слов — больше интонации». Вспомним «А вас?» Жванецкого в исполнении известных актеров. Тот же Жванецкий очень показателен. Слушать его интересно, читать — нет. Очень скучно читать Жванецкого. Потому что написанный текст Жванецкого — ноты. Они мертвы, пока не включится речевой аппарат и тело мастера (его фонетика, интонация, мимика).

Может быть, «Рубашка» — тоже ноты. Но для кого? Такого обилия многоточий, восклицательных и вопросительных знаков и их бесконечной комбинаторики я еще никогда не встречал. А. Белый отдыхает. Смысл при этом совершенно неясен. Наверное, один восклицательный знак — сильная эмоция, два — очень сильная, три — очень-очень. Один вопросительный знак — вопрос. Два — трудный вопрос. Три — вопрос на засыпку. Четыре — с угрозой. Еще Е. Гришковец любит писать слова целиком заглавными буквами. Особенно слово «ЭТО». Как Фрейд — «ОНО». Слово «Она» он пишет с заглавной буквы, но остальные буквы — строчные. Как Блок. Линия «Она» в романе «Рубашка» выдержана в духе «fin amor» (возвышенная любовь) трубадуров Прованса.

Герой любит и страдает. Он от страдания то сворачивается «калачиком на полу», то исходит пунктуацией, как любовным соком: «В восемь ноль семь я позвонил Ей.....» Чу! Двадцать семь точек. Это неспроста. Может быть, Ей 27 лет? О, манящие бездны подтекста!

Система образов «Рубашки» проста, как правда. «Саша Гришковец» с его по-провинциальному чисто и невинно рефлексирующим подсознанием, Макс (амплуа — «настоящий друг»), Она (амплуа — «Прекрасная Дама»). Далее — эпизодические персонажи (какой-то мутный Гриша, какой-то туманный таксист, некто Паскаль, Катерина и еще десяток-другой статистов Сашиного подсознания). Есть еще один внесценический, но очень важный персонаж — Эрнест Хемингуэй. Старик Хэм в «Рубашке» — как «ангел загорелый за спиной». Если, конечно, ангелы бывают бородатыми. Его имя неоднократно упоминается. На стр. 182 в честь Хэма изготавливается коктейль «мохито», согласно легенде, его, Хэма, любимый коктейль («примеч. автора»). Диалоги в «Рубашке» — абсолютно хемингуэевские, с «выпирающими ребрами подтекста», как выражался С. Довлатов:

Я: Погоди-погоди, дай-ка взглянуть.

Макс: Зачем?

Я: Надо!

Макс: Не надо!

Я: Дай взглянуть, говорю!

Макс: Сегодня я плачу!

Я: Нет уж, вместе заплатим.

Макс: Да заплачу я...

И т.д. Судя по всему, знаменитый хемингуэевский «эффект айсберга», по замыслу Е. Гришковца, как-то должен быть соотнесен с тем эффектом нот, о котором я говорил выше. То есть вся эта пунктуационная вакханалия, вся эта гиперболическая тавтологичность, многостраничные описания нарочито мелких, бытовых подробностей, раздражающих, как комариный зуд, и т.п. — все это имеет глубокий смысл. Е. Гришковец, по всей видимости, отождествил в «магическом кристалле» своих творческих планов подтекст звучащей речи с подтекстом речи письменной. Это смело. Здесь я должен сказать следующее: «Рубашка» в таком случае — либо гениальное открытие, в том числе лингвистическое, либо — абсолютная, наивнейшая утопия. Сложнейшие отношения

между звучащей и письменной речью, которые столетиями выясняли писатели, поэты, драматурги, лингвисты, актеры и т.д., автор смело разрубил, как гордиев узел, пунктуационными импровизациями. Наверное, время такое. Новое тысячелетие, эпоха дерзаний. Прямо по Достоевскому: если русскому гимназисту вечером дать карту звездного неба, которую он доселе не видел, то он наутро вам вернет ее исправленной.

Читать «Рубашку», если честно, очень скучно. Полвека назад, может, и сошло бы за более-менее удачный эксперимент. Но с тех пор были написаны тысячи «рубашек». Автор про них, наверное, не знает. Или делает вид, что не знает. Может быть, «Рубашка» будет озвучена Е. Гришковцом, и тогда мы услышим музыку сфер? Очень хочется надеяться. Даже не терпится поскорее услышать «Рубашку». Что-то вроде фильма после книги.

Пока же — впечатление от «Рубашки» странное. Стоицизм мачо Саши-«Хэма» в сочетании с истеричностью восклицательных знаков. Явный намек на глубокую притчевость всего происходящего (что-то вроде литературной аналогии недавно нашумевшему кинематографическому «Возвращению» Звягинцева) с (нарочитой ли?) стилистической небрежностью «потока сознания» ошалевшего от любви к Ней Саши. Если хотя бы «влегкую» рассмотреть роман в контексте истории мировой литературы в целом, то получается, что все в нем — сплошной литературный second hand. Даже иногда неловко за вторичность текста. Слово перед нами не Гришковец, а Децл, с серьезным видом поющий о том, что «бог все-таки есть». Полная литнаивность. Может, он просто издевается и «Рубашка» — провокация?.. Вряд ли. В общем, рецензент пребывает в искренней и полной растерянности. Либо тут литературный Ван Гог и бушующая плазма первозданности, либо, как написал один критик про один текст (нет, не «Рубашку»!):

Деньги проплачены.
Имя раскручено.
Критика схвачена.
Скучно.

Хочется верить в лучшее. Я бы сказал — в чудо.

Владимир Елистратов

«В сумерках языка»

Дмитрий Тонконогов. Темная азбука. Стихи. — М.: Emergency Exit, 2004.

...Но вот мы встретились и вдруг узнали друг друга.
Ветер, не ветер, но холодом веяло с юга.
Кто-то пришел, да и вышел вон,
И с тех пор дует со всех сторон.

...Лето прошло. И я шуганул всех кошек, птиц и собак.
Бродят, летают, мешают курить табак.

Тоненькая книжка Дмитрия Тонконогова с мрачноватой обложкой: старая лысая кукла, за ноги подвешенная к трубе парового отопления, — один из самых ярких дебютов прошлого года. Сам Тонконогов, правда, не совсем дебютант — его тексты печатались в журнале поэзии «Арион» и в антологии «10/30, стихи тридцатилетних» (М., МК-Периодика, 2002). Он также, как гласит аннотация, автор четырех детских книжек. Но, тем не менее, эта книга — первая.

Тонконогов из тех, кто пишет медленно. Большинство из опубликованных здесь стихотворений так или иначе прозвучали — если не в периодике, то на литературных вечерах. Но, собранные в единый корпус, они выглядят как некая целостность, подбирать определение которой мне будет, пожалуй, трудно.

Когда последний сон вставал за горизонтом,
Гроза передвигалась каким-то тайным фронтом.

А женщина в тепле сокрылась в длинном теле.
Евпатий Коловрат лежит в ее постели.

Первое, что приходит на ум, конечно — «обэриутство». Но, как справедливо замечает Евгения Вежлян в своей рецензии «Непроницаемость простоты» («Книжное обозрение», № 43, 2004), это сходство скорее внешнее. Здесь абсурден план не столько предметно-бытовой (детали у Тонконогова как раз очень точны: «Приносит мать дымящую грелку / И яблоко на мокрую тарелку / Кладет, как посторонний мир), сколько космический, изначально-всеобщий.

Заведу районным детским садом,
На мне большой сиреневый халат.
И розовые дети где-то рядом
Лежат во тьме, сто лет лежат и спят.

Над ними пар колышется, рядами
Кроватки белоснежные плывут.
На север, говорю я со слезами,
На небо, что вам делать, что вам тут?

Седые три великие империи
Подсели утешать меня к столу.
Я кутаюсь в какую-то материю,
Переставляю ноги на полу.

Только дуракам кажется, что молодость жизнерадостна. Именно молодым «с привычки» присуще наиболее трагичное, обостренное ощущение бесполезности, бессмысленности бытия. Но им же присущ и чудовищный эгоцентризм, зацикленность на себе, о чем свидетельствует едва ли не любая первая (а зачастую и не только первая) книжка стихов. Тонконогов еще вполне молод, чтобы ощущать ужас незагрубевшей кожей, но он уже достаточно взрослый, чтобы понять, что кошмар универсален. Недаром среди его персонажей столько старух — воплощения бессмысленной жизнестойкости и одновременно хрупкости. Впрочем, напомним, в мифологической традиции старуха выступает еще и как персонифицированное воплощение Смерти.

...Мне кажется — я бабочкою стала,
Что стоит крыльям приподнять сухое тельце
И опустить на холод простыни,
Где ждет меня единственная книга.

...

...Моя сестра однажды перешла
Границу между парком и вселенной
И не смогла вернуться.
Что сестра, мой лучший муж, он покатился
Бильярдным шаром,
И хоть бы кто-нибудь его остановил.

...Я выметаю пыль из комнат,
Я протираю черный телефон.

Черный телефон (очень старый, иными словами, тогда других и не выпускали), большой сиреневый халат, яблоко на мокрой тарелке — детали и подробности худо-

бедно структурируют мир, где люди могут то покатиться бильярдными шарами, то ненароком улететь. Этому миру противопоказаны пышные метафоры: они так или иначе будут ложью; его приходится фиксировать, пользуясь умышленно скучным поэтическим языком; в текстах Тонконогова мы наблюдаем осязаемое сопротивление не столько материала, сколько материалу — напиранию хаосу, где уравниваются предметы, абстрактные понятия и люди (Я сух и стар, как некое число, / В саду дорожку снегом замело, / Но воду подают без перебоев. / На подоконнике растет алоэ).

Разностопный, дергающийся стих, почти нечаянная рифмовка, остранный мир, пронизанный даже не столько эротикой, сколько подростковым острым сексуальным любопытством («про женщину говорят, что груди ее упруги <...> говорят, что у женщин упругие ягоды <...>», «крадется между ног Евпатий Коловрат <...>»).

Обэриутство?

Отшельники, старухи и калеки... — Дмитрий Тонконогов.

Отшельники, тристаны и поэты... — Константин Вагинов.

Обэриутство, по свидетельству А. Введенского, было критикой поэтического разума в свежеразрушенном и кое-как устоявшемся мире. Мы тоже обитаем в мире, что ни говори, свежеразрушенном, а то и продолжающем рушиться, хотя и достаточно комфортном. И даже производим некие опыты по упорядочению или хотя бы исследованию абсурда. Но если критика поэтического разума все же предполагает, хотя бы по аналогии с кантовской критикой чистого разума, существование некоего абсолюта, то наши на этот счет ожидания куда более проблематичны.

Все, что приснится зимой и весной, —
Останется памятью черновика.
Человек неведомый большой и лесной
Ищет себе пристанище
В сумерках языка.

В сумерках? А зачем же тогда пишутся стихи, да еще с такой артистичной пластикой?

Мария Галина

Изощрен, но не злонамерен

Александр Жолковский. *Эросипед и другие виньетки.* — М.: Водолей Publishers, 2003.

Базовые метафоры

Новый сборник Александра Жолковского «Эросипед и другие виньетки» — филологическая автобиография в ста пятидесяти анекдотах, байках, репризах, квазинаучных миниатюрах и портретных зарисовках — открывается виньеткой, давшей название всей книге.

Из раннего детства автору припоминается «фигура велосипедистки, проносившейся по пустынным улицам послевоенной Москвы». Этот образ, подсвеченный смутными фрейдистскими коннотациями, задает лейтмотив судьбы повествователя. «Всю мою биографию легко представить в велосипедном разрезе. Я ездил на велосипеде по Москве и Подмосковию, из Москвы в Ярославль и обратно, по Вене, Амстердаму, Итаке, Нью-Йорку, Принстону, Монтеррею, Лос-Анджелесу, вдоль Санта-Моникского залива, по одному островку в Бретани, на котором запрещен автомобильный транспорт, и снова по Москве».

Венчая виньетку, Жолковский вспоминает, как его коллега и соавтор однажды сравнил написанный им «полупародийный разбор одной эротической пословицы» с продемонстрированным им ранее умением маневрировать на велосипеде по заставленной квартире. «Возможно, — заключает рассказчик, — уподобление моих дискурсивных пируэтов велосипедным задумано было как ядовитая ирония. Но я принял его как ком-

плимент. Тем более что, на мой взгляд, велосипед — с его рамой и твердо надутыми шинами, с посадкой в седле, руками на руле, ножной моторикой и общей телесной эквилибристикой, действительно очень сексуален. Написать про эрос на хорошем велосипедном уровне — не хухры-мухры». Так сразу же разворачиваются введенные еще заглавием и переплетенные между собой базовые метафоры, через которые осмысляется и книга, и воплощенная в ней судьба автора. Таких метафор, собственно говоря, три: путешествие, спорт и эротика.

Путешествие

Мотив блуждания по миру задан уже в приведенной цитате. На протяжении всей книги автор, он же рассказчик и герой, бесконечно перемещается с места на место. Самые монументальные передвижения — это, конечно, эмиграция из СССР в Америку, а потом, с падением железного занавеса, начало регулярного челночного снования между континентами. Но и внутри обоих этих миров повествователь постоянно странствует, меняя города, дачные поселки, университетские кампусы, страны, места работы, научные интересы, методологические позиции, круг общения, коллег, жен и, в несколько меньшей степени, друзей. Сама череда не связанных ничем, кроме фигуры рассказчика, виньеток композиционно выстроена по подобию путевых заметок. При этом, если для своих житейских переездов биографический автор несомненно использовал и вполне конвенциональные транспортные средства, вроде самолета, поезда или автомобиля, то словесная и композиционная фактура книги словно выделана поступательным и непрерывным вращением велосипедного колеса.

Действительно, структура путешествия по воздуху или железной дороге (об автомобиле чуть позже) определяется двумя кульминационными моментами: отбытием и прибытием, расставанием и встречей. На временном и пространственном отрезке, разделяющем эти две крайние точки, пассажир находится в своеобразном лимбе, интервале между *уже* и *еще не*, который может быть интересен сам по себе, но полностью отделен от его прошлой и будущей жизни. Между тем велосипедист удаляется от избранных предметов и приближается к ним постепенно, а часто описывает вокруг них сложные петли, чередующие удаление и приближение. На велосипеде вообще почти невозможно окончательно оторваться от отправной точки, отъезд, в сущности, предполагает возвращение. Именно так организован мир виньеток, герои и сюжеты которых то исчезают из поля зрения скользящего мимо повествователя, то возвращаются в него без всякой видимой логики. Фабульная основа книги полна разрывов, разводов, потерь, так же как встреч, браков, находок и обретений, но в ее сюжетную ткань они входят только намеками, следами, косвенными упоминаниями, никогда не оказываясь в центре изображения.

Показательную трактовку получает в «Эросипеде» тема эмиграции, шага, который в сознании интеллигентов советской поры, как уехавших, так и оставшихся, носил необратимо-фатальный характер, символизируя то ли смерть, то ли второе рождение. С размышления над этим феноменом и начинается Жолковский раздел своей книги, характерно озаглавленный «Там». «Операция отъезд, — пишет он, — не была ускоренным марш-броском; она составляла в жизни будущего эмигранта целую переходную эпоху. Одной ногой он некоторое время продолжал двигаться по привычной колее, а другой уже нащупывал неведомую заграничную почву. Задолго до «подачи» он начинал примеривать ее к себе, включался в предотъездные маневры уезжающих друзей, попадал в полосу отчуждения». Так драматический акт расставания с отечеством утрачивает одномоментность и дискретность, превращаясь в постепенное отдаление от него. Любопытно, что в этой переполненной эмигрантской проблематикой книге излюбленный диссидентской литературой мотив прощания в аэропорту встречается лишь однажды, и то, строго говоря, не в виньетке, а в юбилейном очерке о Мельчуке, стилистически заметно выпадающем из общей фактуры повествования.

Сходную трактовку получает в книге и предметный мир. В одной из первых виньеток рассказана история взаимоотношений автора с основными инструментами соб-

ственного труда от «ручек со вставными перьями» через пишущие машинки до суперсовременного компьютера со всеми модными аксессуарами. При этом большая часть этого машинного парка оказывается в итоге в кабинете героя и находит свое актуальное применение («Windows в Европу»). Любопытно, что подобную аккумуляцию сугубо материальных орудий труда автор тут же уподобляет использованию освоенных им за долгие десятилетия методов научного анализа. Уже овладев всей совокупностью новейших аналитических приемов, он вновь пишет классическую структуралистскую работу, так сказать, «статью в DOSe». В другой виньетке рассказан целый цикл историй поразительных воссоединений автора с, казалось бы, безнадежно утраченными вещами («Связи по смежности»), еще в одной удается реконструировать безвозвратно утраченный рецепт котлет, вкус которых запомнился автору с раннего детства («Котлеты моей мамы»). «Жены приходят и уходят, а котлеты остаются», — оптимистически заключает Жолковский.

Впрочем, с женами тоже все оказывается не так просто: к концу книги они возвращаются в поле авторского зрения в качестве читательниц книги («Не немецкий, а немецкий»). Вообще последний раздел книги, в основном посвященный откликам на первое издание виньеток, включая образцовый авторазбор, как бы подрывает саму идею финала. Так, во второй части «Дон Кихота» герой посещает замок, хозяева которого пригласили его туда, потому что прочли о его приключениях в первой части романа.

Помимо причудливых, произвольных и обратимых траекторий движения, у велосипедного путешествия есть и другие важные особенности, отличающие его, прежде всего, от наиболее близкого к нему в ряде отношений автомобильного. Конечно, в первую очередь речь должна идти о небольшой скорости движения, позволяющей многое разглядеть, не останавливаясь. Значение такой саморазвертывающейся перспективы для винеток очевидно без дополнительных пояснений. Однако это еще не все.

В отличие от автомобилиста велосипедист полностью открыт внешнему взгляду — он не имеет возможности занять позицию скрытого наблюдателя. Соответственно он должен непрерывно следить за своим обликом или, пользуясь терминологией американского социолога Ирвинга Гофмана, «представительским фронтом». Напомню, что говорилось в уже процитированном фрагменте о «посадке в седле <...> и прочей телесной эквилибристике», составляющих, конечно, не только неотъемлемую часть велосипедного вождения, но и гарантирующих эффект, производимый седоком на окружающих. Этот самоконтроль проявляется не только в тематическом пласте повествования, где мы видим, как упорно и непрерывно рассказчик работает над качеством перформанса, но и в повествовательной манере. Впрочем, здесь мы уже переходим ко второй базовой метафоре.

Спорт

Определяя в предисловии к «Эросипеду» место, которое его собственная личность занимает в повествовании, Жолковский пишет: «Авторский имидж служит не только формальным приемом, но и той кариатидой, которая подпирает, в конечном счете, все здание, сама же держится мышечным усилием реального автора». Речь здесь идет о воле к авторству, о «решимости написать <...> и написать так, как хочется». Однако эта писательская интенция оказывается оформлена упоминанием о напряжении мускулов, лежащем в основе этой двухэтажной, почти цирковой пирамиды. Биографический автор удерживает свой литературный образ, который в свою очередь несет на себе книгу.

Так же оказываются устроены и отдельные винюетки, лишь немногие из которых основаны на «самоигральных» сюжетах, способных хотя бы отчасти сохраниться в пересказе. В подавляющем большинстве художественный эффект основан на приемах обработки материала, так сказать, его преодолении. Мы видим тщательно отработанные, но хорошо заметные публике «мышечные усилия», получающие свое разрешение в финале, так сказать, *point'e* винюетки, когда вся конструкция задним числом обретает смысл и форму. Так штангист фиксирует взятый вес, прыгун преодолевает план-

ку, а наездник взмывает над препятствием. Своеобразной экспликацией этого принципа становится виньетка «Уроки английского», посвященная вынесенным в конец предложения предлогам в английском языке, когда «развязка <...> наступает лишь по предъявлению последнего слова», а текст «окончательно осмысляется лишь задним числом». Грамматический эффект оказывается изоморфен жанровой структуре.

В подобной демонстрации мастерства есть и еще один аспект. Спортсмен ведет свою борьбу с материей по заранее заданным и хорошо известным ему, публике и судьям правилам, за нарушение которых его результат может быть не засчитан, а сам он при определенных обстоятельствах дисквалифицирован.

Один из самых цитируемых в нашей критической мысли афоризмов — это суждение Пушкина о том, что каждого художника следует судить по «законам, им самим над собою признанным». Обычно в этой мысли подчеркивается идея вариативности норм и свободного выбора, осуществляемого творцом; реже внимание обращают на другой ее аспект. Согласно Пушкину художник обязан признавать над собой те или иные законы, в соответствии с которыми и должны оцениваться его произведения. В случае заранее достигнутого понимания на этот счет утратила бы свою эффективность обычная риторика самообороны автора, настаивающего на том, что критерии, использованные критиками, неприменимы к его творчеству. Возможно, именно отсутствие в современном литературном быту ясных, хотя и разнообразных законов, которым добровольно подчиняются авторы, и составляет основную слабость современной высокой словесности, побуждающую многих читателей предпочитать ей более регламентированные жанры non-fiction и массовой литературы.

В предисловии к своей книге Жолковский с исключительной четкостью, выдающей опытного исследователя литературы, формулирует законы, «им самим над собою признанные». Он говорит об ограничениях, налагаемых документальным материалом, о пределах творческой свободы в работе с этим материалом, о границах авторской прямоты, о взаимоотношениях автора с самим собой как персонажем. Далее читателю предоставляется возможность оценивать виньетки в соответствии с этими правилами и засчитывать или не засчитывать каждый подход автора к тому или другому событию собственной жизни.

Как и в случае с путешествиями, «спортивность» эстетической позиции автора также тематизирована в книге. Многие виньетки представляют собой рассказы о своеобразных поединках автора то с компанией псевдомедиумов, чей секретный язык он должен дешифровать («Лингвистические задачи и тайны творчества»), то с дурно воспитанными коллегами («Можем уронить», «Язык и речь»), то с тягостными для эмигранта ритуалами и сложностями западной жизни («Мой первый real estate», «На галерах»). Но, конечно, ведущее место в списке оппонентов занимает власть (советская и не только) и ее многообразные представители, от журнальных редакторов до офицеров в военных лагерях и работников отделов кадров. Оружием, на котором ведутся эти дуэли, оказывается слово — блистательное остроумие позволяет автору не только успешно завершать виньетки, но и выходить с честью из самых затруднительных житейских ситуаций.

В основном в этих мини-поединках автор побеждает, хотя он добросовестно не умалчивает и о поражениях, а также охотно и любовно изображает коллизии, когда в качестве главного участника ристалища выступает кто-то из близких ему людей. Конечно, риторические победы в любых жизненных состязаниях сугубо условны. Принося победителю чувство торжества и, возможно, приз зрительских симпатий, они, по существу, не меняют исходной расстановки сил. Соответственно, выигранные, казалось бы, партии всякий раз приходится заново переигрывать. Однако точно такой же характер носят и спортивные победы. Любое самое престижное чемпионство не избавляет от необходимости в следующий раз начинать все сначала и выигрывать заново. Собственно говоря, виньетки «Эросипеда», подобно жизнеописаниям великих спортсменов, представляют собой перечень выигранных и (в редких случаях) проигранных турниров. Так же, разумеется, устроены и жизнеописания великих облезителей.

Эротика

На задней обложке «Эросипеда», в соответствии с правилами современного западного книгоиздания, приведены восторженные критические отзывы о книге. После цитат из Дмитрия Александровича Пригова, Андрея Немзера и Льва Рубинштейна следует высказывание Эрнеста Хемингуэя: «Как становятся писателем? Я думаю, надо любить предложения. Вы любите предложения?» Поскольку маловероятно, что Хемингуэй откликнулся на Жолковского, следует предположить, что эта фраза представляет собой авторское кредо, своего рода перемещенный эпиграф, смысловой point всей книги.

Жолковский действительно «любит предложения». Суть виньеток не в плотности отразившейся в них житейской фактуры и даже не в анекдотической эффектности большинства историй, но именно в наслаждении словом и работой с ним, в виртуозной игре обозначенных и не обозначенных подтекстов, каламбурных сцеплениях мотивов, отточечности формулировок, во всей, пользуясь формалистической терминологией, физической ошутимости формы. Недаром в заметке «Между жанрами» Жолковский анализирует прозаический фрагмент из «Записных книжек» классика филологической прозы Лидии Яковлевны Гинзбург как стихотворение. Такой же подход применим и к его собственной прозе.

В знаменитом очерке Сьюзан Зонтаг «Против интерпретации» герменевтике, озаченной проникновением в глубины написанного, противопоставлена эротика чтения, возникающая, прежде всего, от любовных прикосновений к поверхности текста, некогда уже выделанных столь же нежными касаниями авторской руки. Временно возвращаясь к первой из выделенных метафор, замечу, что и путешественник, в данном случае велосипедист, созерцает, так сказать, лишь обращенную к нему поверхность пространства, разворачивающуюся вдоль дороги. Тому же, кому «во всем <...> хочется идти до самой сути», требуется как минимум сделать длительную остановку. Но для этого необходим совсем иной дорожный, жанровый и метафорический инвентарь.

Сама структура виньетки с ее изначальной нацеленностью на финальное разрешение, которое одновременно подготавливается и отодвигается с помощью искусно выстроенной системы ретардаций и ритмических перебивов, безусловно, ориентирована на поэтику любовного акта. При этом в тематическом пласте эротические мотивы представлены как раз с делающей автору честь скромностью и замечательным образом почти исключительно в тех случаях, когда речь идет об овладении автором новыми языковыми ресурсами, будь то матерщина киношно-художественно-поэтической богемы («Мат в четыре хода») или семантика итальянских спиртных напитков («Грамматика любви»). Эротика слова оказывается значимей житейской.

Наука и жизнь

Профессиональная биография Жолковского, как она с достаточной мерой подробности воссоздана в книге, определяется, с одной стороны, его переходом от лингвистики к литературоведению и далее к собственно писательству, а с другой — отказом от структурализма в его едва ли не наиболее радикальном изводе в пользу, выражаясь в общей форме, постструктуральных подходов. При этом последующие стадии не отменяют предыдущих, но наслаиваются на них, создавая сложную траекторию петляний и возвращений. Понятно, что если структурализм стремился выявить в эмпирике реализацию четких и поддающихся анализу инвариантов, заложенных на более глубинном уровне, то постструктурализм отказывается от подобных амбиций, видя в потоке явлений лишь произвольную игру внешних форм, исключая самую разговор о единых организующих принципах.

Это противоречие выявляется и в организации «Эросипеда». С одной стороны, перед нами вполне хаотический набор виньеток, который можно достраивать практически в любой точке, с другой — они складываются в довольно последовательный рассказ о собственной жизни, обладающей вполне внятной логикой и сюжетом. Внутренне конфликтными оказываются и оба эти пласта сами по себе. Виньетки часто реализуют

одни и те же сюжетные и характерологические схемы, и автор часто видит в самых разных событиях своей жизни реализацию одних и тех же программ и установок. «Против инварианта не поперешь» — один из самых ярких афоризмов Жолковского, которому несомненно суждено войти в поговорку, по крайней мере в филологической среде. В то же время линейное развертывание судьбы, представленное в книге в целом, оказывается подорвано как введением целого раздела, где разбираются отзывы на виньетки (традиционные мемуары завершаются, как только рассказчик нагоняет сам себя, и автор и герой сливаются), так и существованием упомянутого в предисловии и постоянно пополняющегося файла, условно называемого «посмертным». Понятно, что в мире явлений ничего окончательного и оконченного быть не может.

На своем эросипеде Жолковский совершает бесконечные и самые немислимые пируэты между видимостью и сущностью, словесностью и наукой, инвариантом и капризом, самораскрытием и умолчанием, между утраченным в мире человеческих судеб и обретенным в пространстве словесных теней. Чтобы проделать все это, ни во что не вляпавшись, ни обо что не зацепившись, ничего не задев и не опрокинув, требуются и незаурядное мастерство, и безукоризненное владение материалом и, самое главное, свобода: филологическая, литературная и, не в последнюю очередь, человеческая.

В одной из лучших, на мой взгляд, в книге виньеток «Поэтика недоверия» Жолковский рассказывает о своем приятеле, охваченном почти метафизической подозрительностью ко всему сущему и вытекающим из нее болезненным интересом к любым разоблачениям наступающего со всех сторон набона.

Этот портрет автор завершает нечастой у него философской сентенцией, посвященной фундаментальной гносеологической дилемме книги и изящно сочетающей острый галльский смысл и сумрачный германский гений:

«А ведь и правда: все подтексты и глубинные структуры, все подсознание и сублимация, весь семиотический проект, да чего там, вся Наука как таковая и все гносеологические метания между вещами в себе и для нас — все это, в конце концов, не что иное, как одна бесконечная попытка разоблачить

мировой набон, называемый human condition

(выписываю отдельной строкой, чтобы читатель мог оценить и изысканную звукопись и мощный пятистопный анапест — А.З.). Или все-таки прав Эйнштейн, и Бог изощрен (raffiniert), но не набывает?»

К этому вопросительному знаку воистину нечего добавить.

Андрей Зорин

«Что в имени тебе моем?»

А.Б. Пеньковский. *Нина: Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. Издание второе, дополненное.* — М.: Индрик, 2003.

Сколько нужно жизни, даже в чисто физическом ее измерении, чтобы обследовать недра книгохранилищ, архивов, частных и государственных собраний, извлекая редкую информацию? А главное — ради чего? Кому все это нужно?

В первом же издании монография А.Б. Пеньковского вошла в широкий круг отечественной и мировой пушкинистики, но выделялась в нем не только интригующим названием. Ее обаяние кроется в особом характере «научности» проведенного исследования — кавычки в данном случае призваны подчеркнуть непривычно-подкупающий стиль изложения, благодаря которому книга имеет широкий адрес: читателем «Нины» может стать и «академик, и герой, и мореплаватель, и плотник»... Строгости и глубины научного анализа, гипернасыщенности текстового поля, своеобразия исследовательского почерка это не отменяет.

Имя автора книги, выдающегося филолога-лингвиста, хорошо известно всем, кто так или иначе соприкасался с проблемами языковых исследований теоретическо-

го, поэтического и общекультурного порядка. Работы А.Б. Пеньковского, опубликованные как в отечественных научных изданиях, так и в коллективных исследовательских проектах Европы и Америки, могли бы составить солидный том многоаспектной исследовательской деятельности ученого. Тем не менее «Нина» занимает в ней особое место.

Научная эрудиция автора, его погруженность в неохватную толщу литературного потока, наполнявшего эпоху как шедеврами поэтической элиты, так и планктонным литературным слоем (чрезвычайно важным, кстати сказать, для воссоздания исторической картины языковой среды) вызывают ощущение соприсутствия в «золотом веке» русской литературы вместе с «героями» исследования. Невольно забываешь о профессиональной прагматике, превращаясь в неслучайного свидетеля исторически значимой повседневности, «литературного быта» эпохи (Ю. Тынянов), наполненного слухами, сплетнями, «чужими» письмами наравне с «дней минувших анекдотами» и подробностями известных и неизвестных биографий. Все это тщательным образом снабжено тем подробным библиографическим инвентарем, который принято называть научным аппаратом. В книге он разместился на двадцати страницах мелкобурного текста.

Удивительно, что научное исследование высшей пробы каким-то чудесным образом лишено специфической установки на «научность»: авторское живое присутствие, его разнообразно интонированная, эмоционально подвижная речевая манера, остроумно выстроенная разбивка текста на отдельные небольшие периоды с обозначенной проблемой в заглавии — все это составляющие основного корпуса книги. И как легко дышится в этом насыщенном, сгущенном филологическом воздухе!

Стратегическая задача, ставшая отправной точкой и стержневым интеллектуальным сюжетом монографии, — разработка теории художественной антропонимии: смысловая загадка имени, семантика его власти и власть его семантики, его игровая функция и природа переименования — это все то, что сделало возможным открытие и реконструкцию сложившегося в русском культурном сознании «мифа о Нине». Вот как об этом пишет сам автор: «Этот сложный культурно-языковой комплекс, в котором соединены имя героини, ее детально разработанный образ и четко определенный сюжет ее жизни, обнаруживает все признаки мифа нового времени, черпающего свое содержание как из текстов литературы и искусства, так и из живой жизни, и в то же время задающего ей жизнетворческую модель и образец. Нина этого мифа — роковая женщина, которая, соединяя в себе рай и ад, небо и землю, ангела и демона, Мадонну и Содом, живет высокими, сжигающими ее страстями. <...> Неся гибель своим избранникам, эта новая Клеопатра готова погибнуть и сама <...>».

Сквозь призму этого мифа открываются новые пласты в давно отработанных и, казалось бы, закрытых для новых смыслов зонах художественно-культурного сознания. Так, по-новому прочитывается трагический смысл лермонтовского «Маскарада», открывается «потаенный» сюжет «Онегина», проясняется горький любовный опыт самого Пушкина, связанный с явлением «Нины» в его жизненной и творческой судьбе...

Вот, к примеру, название второй части: «Скрытый сюжет «Евгения Онегина». Это общая кардинальная линия, полемически-новаторская, открывающая неожиданный, сюжетно не проявленный пласт романа. По мере развертывания пушкинской «тайнописи» в авторском повествовании постоянно возникает маленькая рубрика «Загадки пушкинского текста и словаря, или Как читать Пушкина». Словарь, язык, имя — это ключи к непрочитанному «Онегину»: роман и его герои, обросшие вековыми оперными декорациями плохого вкуса и речевыми пошлостями либретто, хрестоматийно-учительной корой и отработанными скучными смыслами, с помощью антропонимических и лингвистических ключей открываются заново. Действительно, задумывались ли вы о том, что Татьяна Онегина — это изначальная невозможность (главка «Евгений и ... Татьяна? Эффект обманутого читательского ожидания)? А что вы знаете о роковой юношеской любви Онегина («Утаенная» или утаиваемая любовь Онегина. Снятые строфы четвертой главы — «неназванная Она и ее комплекс»)? И наконец, новое узнавание героя: Онегин — знакомый и незнакомый («Русская хандра» и литературоведческий миф о «скучающем Онегине»).

Так, открывая загадки словаря пушкинской эпохи, мы попадаем в новое пространство текста, не задумываясь о том, что оно дано нам в «лингвистическом аспекте». Мы просто убеждаемся, что за клишированными знаками романтического джентльменского набора, за архаичными для нашего слуха и глаза «девами», «страстями», «хандрой», «клятвами», «молениями», «угрозами» и т.п. скрывается живая жизнь живых людей, и похожих, и не похожих на нас, нынешних. Идущий вслед за словом автор монографии посвящен в тайный ход этого художественного бытия, вырастающего из исторически точного лингвистического измерения эпохи, и читателю открывается новая реальная и художественная логика этой жизни.

Как все это напоминает давний рассказ Андрея Битова, где герой-филолог из какого-то немислимо фантастического пространства послан в качестве «командированного» в пушкинский Петербург: он рядом с Пушкиным, он видит его во всей умопомрачительной реальности, но он не может помешать роковой дуэли, зная, что она уже свершилась... Вот и здесь, в новом прочтении «Онегина», судьбы героев остаются неизменными — но как меняется фон, портрет, психологические нюансы, распределение светотени... Удивительно и то, что авторская «апологетика» героя, казалось бы, малоуместная в исследовательском тексте, не только не мешает строгости и убедительности общей концепции, а работает на нее! «Нет, Онегин, каким его создал Пушкин, — не герой всеобъемлющей Скуки, а герой всепоглощающей Тоски, которая в соответствии с двойственной языковой нормой этого времени могла быть, как мы видели (а мы действительно это видели! — Н.Д.), названа и сниженным словом «скука». И душа его отнюдь не пуста, как это виделось Киреевскому и даже Баратынскому, но опустошена, а это <...> “дьявольская разница”».

Кем опустошена и отчего? Вот здесь-то и возникает роковое имя, давнее название книге в целом. Оно испепелило душу не одного Онегина. Мы едва ли не впервые понастоящему убеждаемся, что жизнь героини лермонтовского «Маскарада» унес не яд, подсыпанный в мороженое, а ее «светский» псевдоним, перечеркнувший подлинное имя Настасьи Павловны и по закону языкового парадокса фатально обратившийся в часть ее фамилии — Арбе-Нина.

В развернутой перед нами системе историко-филологических реалий становится очевидно, что это имя «Нина» вобрало в себя культурные реминисценции разрушительного женского начала, связанные с «роковой» любовью, и в этой своей ассоциативной густоте превратилось в культурный миф «золотого века» русской литературы. В этом поразительном по своей «энергичности» имени наиболее очевидно проявлена разработанная во многих теоретических работах А.Б. Пеньковского концепция «антропонимического пространства художественного текста как модели художественного мира».

Специалист-филолог, да и, что называется, «продвинутый читатель», т.е. человек, ощущающий сферу гуманитарного интереса как естественную среду обитания, не успевает заметить, как исследователь погружает его в исторический пласт речевого сознания, где давно знакомые, стертые до банальности словесные комплексы и формулы начинают обретать первоначальный, отмытый от поздних наслоений и современных звучаний «аутентичный» смысл. Л.Я. Гинзбург как-то заметила: «... мои учителя учили меня, что литература является дефектным свидетельством о жизни». Исследование А.Б. Пеньковского как бы устраняет этот «дефект»: перед нами предстает срез жизненной реальности в ее живом многоголосии и аромате исторической подлинности.

«Ваша книга произвела на меня самое сильное впечатление. <...> Во многом она ставила для меня точку, закрывала проблему, в решении которой я совпадал с Вами. Может быть, еще полезнее для меня было найти в Вашей книге то, до чего я не дошел, о чем не догадывался...» Эти слова из приведенного вместо предисловия письма академика В.Н. Топорова автору «Нины» — лучшее подтверждение научной новизны исследовательской мысли и универсальности неожиданных открытий.

Отдельная благодарность издательству «Индрик», лишний раз подтвердившему свое внимание к интеллектуальным изысканиям с оттенком научной элитарности, заполняющим нетронутые лакуны гуманитарного знания.

Наталья Дзуцева

СИМПТОМ

Когда едешь на Кавказ...

Я любил тебя три года
 За прелестну красоту,
 А теперь любить не стану,
 На Кавказ служить пойду.
 Народное

Державное чувство россиян подвергается в последние полтора десятилетия постоянным уколам со стороны отложившихся от империи *братских республик*. Степень болезненности бывает различной. В странах Балтии, например, неприязнь к России была всегда заметной, и потому обида переживается не так уж остро, привычно. Много лет назад, еще в советские времена, мой тогдашний приятель, казах, побывав во время отпуска в Латвии, по возвращении домой, а дело было в Караганде, воскликнул сокрушенно: «Слушай, как там нас, русских, не любят!». Теперь и в Казахстане отношение к бывшей метрополии, скажем так, сдержанное, и это задевает тонкие струны славянской души.

Но особенно, почему-то, болезненно воспринимаются «знаки неблагодарности» со стороны Грузии — возможно, к оскорбленной гордости великороссов примешивается вполне меркантильная, как и в случае с Крымом, ностальгия по утраченным пляжам? Но как бы то ни было, конфронтация в отношениях между Россией и Грузией принимает подчас опасные масштабы, причиняя им обоим серьезный ущерб. Как с изысканной дипломатичностью высказался однажды главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Эбаноидзе, «урон, наносимый нашими странами друг другу, прямо пропорционален размеру государства, наносящего этот урон». Из этой сентенции с бухгалтерской очевидностью следует, что баланс взаимных претензий России и Грузии имеет для бывшей метрополии отрицательное сальдо. То есть, проще говоря, Россия в долгу перед Грузией. Собственно говоря, это и есть историко-политическая экспозиция последнего — на грузинском опубликован в 2002 году — романа Отара Чиладзе «Годори» («Дружба народов», №№ 3 и 4, 2004).

Писатель имеет к России большие претензии. Присоединив к себе в свое время Грузию и обеспечив ей тем самым защиту от внешнего врага, империя лишила древнюю страну пассионарности, а значит, и стимула к внутреннему развитию, а в дальнейшем, вынудив принять участие в большевистской революции, унизила Грузию окончательно. И вот этого Отар Чиладзе простить России не может, выплескивая свою безысходную неприязнь к империи на первые же страницы романа. Негативная тенденциозность автора задевает достоинство русского читателя, мешая объективному восприятию предложенного текста.

Между тем, эта обидная тенденциозность выросла не на пустом месте. Она есть прямое следствие имперского высокомерия метрополии по отношению к *младшим братьям*.

«Братская дружба», «народы-братья» — этими слащавыми пропагандистскими клише прикрывалась тривиальная ксенофобия по отношению к *кацо, чурекам, хачикам и всяким прочим шведам* — ах, простите! — *лицам кавказской национальности*. Они ведь нам по гроб обязаны, мы же для них столько сделали! И они лукаво подыгрывали: да, да, конечно, мы и наш старший брат скованы вечной дружбой, словом, навеки вместе! На самом деле в глубоких потемках чужих душ тлела неизбывная неприязнь, которая наконец и выплеснулась наружу.

Следует, наверное, во избежание тяжелых обвинений в сгущении теневых сторон, оговориться, что на низовом, обывательском, уровне все не так уж и безнадежно; люди разных языков и религий прекрасно уживаются друг с другом, особенно если находят общие цели... и общих врагов. Вспомним историю с моим приятелем-казахом. Призна-

юсь, меня тогда подкупило столь трогательное проявление солидарности. Но впоследствии, когда стал бывать в Прибалтике, не раз приходилось испытывать чувство стыда, оказываясь свидетелем непростительной бестактности *гостей* из метрополии. Как пишет Отар Чиладзе, «для них и тут была Россия, разве что к аборигенам приходилось обращаться, калеча для понятности русский язык: «Сабак, сабак, нет кусай!»

В общем, если оставить в стороне, пускай многочисленные и совершенно искренние, частные проявления *нерушимой дружбы*, тенденция такова: *младшим братьям* было неуютно во чреве матери-империи, им хотелось на волю. И вот настал наконец этот долгожданный миг. Но тут произошел казус: младенец-то вышел на свет уродцем, слишком долгое внутриутробное существование лишило его жизнеспособности. Об этом, собственно, и написал Отар Чиладзе свой роман, виртуозно переведенный на русский (и я бы сказал, *в назидание русским*) уже упомянутым Александром Эбаноидзе. А написал так: «Словом, несчастные наши цари очнулись только тогда, когда их страну, расплзшуюся на лоскуты при грузинском Александре Первом, собрал воедино русский Александр Первый, причем собрал в утробе великой империи. Дабы впоследствии Грузия являлась миру исключительно из ее заднего отверстия и только по надобе, то есть тогда, когда в этом возникнет нужда; являлась уже превращенная в другое вещество...».

Ничего себе беллетристика! Даже при втором и третьем чтении скромное авторское многоточие растягивается в долгую, почти ельцинскую, паузу. «Ну, зачем же так...» — только и приходит в голову. Между тем, выраженных инвектив в сторону России в романе нет, неприязнь сочится наружу сквозь типографскую краску.

Но к своей родине Чиладзе откровенно беспощаден. Настолько безжалостен, что вчуже даже неловко читать, будто заглядываешь в приоткрытую дверь чужого дома, и хочется как-то сгладить неловкость, как это попытался, к примеру, сделать Лев Аннинский: «Из того же места по той же логике вышли и явились миру не только грузины, но и все народы, попавшие во чрево, и прежде всего — сами русские <...> Почему только грузинам такая честь? Я как русский человек прошу справедливости». (Интересно, между прочим, не связано ли с ассенизационно-канализационной метафорикой цитируемых фрагментов то обстоятельство, что отрывок из рецензии Аннинского обнаружен мной на сайте магазина сантехнических товаров?)

Но оставим шутки, чтобы вспомнить мудрые слова философа XX века Карла Поппера о том, что «история имеет много смыслов». Это означает, что у каждого народа своя версия исторических событий — единственная и истинная, то есть, как было замечено задолго до Поппера, *что русскому здорово, то немцу (читай: чеченцу, грузину etc) — смерть*. А у Отара Чиладзе история, кажется, вообще персональная, сугубо личная, потому что, думаю, вряд ли кто-либо из соплеменников разделит его непримиримые суждения о своей стране. Впрочем, не мне об этом судить — сказывается, вероятно, своего рода «стокгольмский синдром» — ведь я вырос в Тбилиси и, похоже, навсегда остался его заложником.

Вполне, однако, естественно, что по отношению к своей стране Отар Чиладзе более строг, чем к России. К ней он, скорее, равнодушен, Россия его, по большому счету, мало интересует. Это — просто чужая страна, и к населяющим ее русским писатель злобы не питает, даже к тем из них, кто помогает врагам Грузии. В романе есть два персонажа — «дикие гуси» из России на стороне Абхазии, когда она воевала против Тбилиси. Это мурманская девушка-снайпер и паренек из казаков батьки Кондратенко. Так вот, выписаны они с безобидной иронией: этакий лубочный казачок с неизменной нагайкой и венециановская крестьянка, только вместо серпа у нее в руках «калашников» с оптическим прицелом.

Русское для Отара Чиладзе синоним *имперского*, которое за два с лишним столетия въелось в плоть и кровь Грузии так глубоко и прочно, что, нарушив ее генетический код, лишило страну воли к самостоянию, а значит, и воли к жизни. Эту наследственную болезнь автор называет *кашельством* — от родовой фамилии деда, сына и внука Кашели, выступающих в романе воплощением вселенского зла в его применении к грузинской истории на протяжении последних ста лет. (Только ли грузинской, впрочем, «разве главной заботой человечества, особенно в последнем столетии, не было — хотя бы

скрытно, полулегально — формирование бесчеловечного человека?» — задумывается юная героиня романа Лизико. Но эта тема остается неразработанной, поэтому и оставим ее в стороне до поры до времени, отметив лишь походя, что свои наиболее глубокие, философские мысли автор, как правило, отдает этой, казалось бы, житейски незрелой девочке; так и подмывает уличить: *Лизико — это он!*)

Первый из злодеев Кашели, по имени Ражден, был нагулян женой пастуха от русского урядника и некоторое время оставался в родительском доме, где колыбелью ему служила большая корзина из кизилевых прутьев — *годори*. Сквозь щели меж прутьев младенец наблюдал за сексуальными забавами мамыши с урядником, пока пастух не застукал их, как говорили латиняне, *in loco delicti*; неверную жену оскорбленный муж порешил, урядник же сумел скрыться, получив таким образом возможность и дальше угнетать грузинский народ. Мальчика взяли на воспитание соседи, у которых он жил припеваючи до тех пор, пока, будучи еще малолеткой, не попытался изнасиловать приемную мамашу. Изгнанный из приютившего его дома, этот нравственный урод стал настоящим абреком — грабил, насиловал и убивал. А потом в России случилась революция, и парнишка ушел в нее, что называется, с головой. Некоторое время обретался неизвестно где, пока не вернулся на родину вместе с красноармейцами — устанавливая там советскую власть. По пути Ражден женился на русской комбатантке по имени Клава, которая родила ему прямо на марше, в придорожной канаве, под улюлюканье однополчан, сына Антона, окончательно внедрив таким образом русско-имперский дух в грузинскую почву: «Оттуда и начинается летоисчисление кровавой династии Кашели», — пишет автор. Словом, попортили русские грузинам кровь в самом буквальном смысле.

Итак, Кашели — это *воплощенное зло*. Но зло существует на свете для того, чтобы в его присутствии легче было опознать добро. Однако на всем довольно обширном пространстве романа нет и намека на добро. Всюду зло, всюду погибель. Погибает после множества злоключений и последний отпрыск отвратительного рода Кашели Антон, не успевший совершить в своей короткой жизни никакого злодеяния, за исключением помыслов об отцеубийстве. Погибает от пули русской снайперши во время попытки остановить групповое надругательство однополчан над безумной окопной девицей.

Что-то светлое брезжит подчас в душе тестя погибшего юноши, писателя Элизбара, что и естественно, ведь в этом мятущемся персонаже явственно проглядывают биографические черты самого автора. Хотя, что там в его душе брезжит, не очень-то и вычитывается. Элизбар, похожий на испанского гранда, на Дон Кихота даже, со стильным рюкзачком дочери уходит в конце концов на войну, в окопы, потащив за собой на погибель непутевого зятя. Элизбар мучается угрызениями совести, но как-то невнятно общается в романе о его прегрешениях перед родиной. Кажется, грешен был конформизмом, даже ходил пить коньяк с черешнями в дом предпоследнего Кашели.

Вот это, между прочим, был злодей так злодей... но злодей именно *между прочим*, поскольку *чисто конкретно* о его злодеяниях ничего не сообщается, в отличие от двух предыдущих представителях генетически порченного рода. Ну и слава богу, потому что с появлением на сцене предпоследнего Кашели завершаются, по сути, историко-политологические штудии писателя, которые можно было бы отнести к жанру *бумажного триллера* (как говаривал Лев Николаевич, «меня пугают, а мне не страшно»), и начинается настоящий роман.

Однако пусть не подумают те, кто романа не читал, что он просто так, механически, делится на две стилистически разные половины. Ничего подобного, все эти блокбастерные страсти-мордасти про злодейский род Кашели вылетены в ткань произведения, более того, их невозможно извлечь без ущерба для самого полотна. У большого писателя не бывает ничего лишнего. То, что порою кажется ущербным, на самом деле усиливает достоинства сочинения. И концептуальная невнятность романа вовсе не является его пороком. Бессвязное на первый взгляд бормотание поэта нередко оказывается более содержательным, чем целые тома политологических исследований. А «Годори» и не претендует на научную безупречность. Это роман, автор которого бродит в потемках собственной души, уязвленной обрушившимися на его страну бедствиями, в

поисках уголка, в котором бы теплился уголек надежды, и нигде его не находит. *Шел по дороге человек, шел себе, шел, да вдруг сбился с пути, попал, как Лизико, в «непролазные ежевичные дебри, разлегшиися, как допотопное чудище <...> Сердце Лизико выскакивает из груди <...> не сознавая себя, она бьется вслепую <...>». (Да, определенно: Лизико — это он.)*

Книга Отара Чиладзе — *ultima ratio* вселенской тоски грузинского почвенника, склонного к передержкам националистического толка, как и его русские собратья по перу, — а как же, ведь при всех этнических различиях взрослые в одной и той же щелястой *годори*, которая называлась *социалистическим реализмом*.

Евгений Беньяш

СПЕКТАКЛЬ

Медь и воск

Песнь двадцать третья. Погребение Патрокла. Игры. Гомер. Илиада. Коллективное сочинение 1996—2004. — Школа драматического искусства.

Коллективное авторство, на котором в данном случае настаивает художественный руководитель театра Анатолий Васильев, — дело серьезное. Впечатляют и даты создания спектакля: 1996 — 2004. Длительный отрезок времени, до отказа наполненный общественными событиями, войнами, перипетиями «коллективного бессознательного». И если учесть, что на премьере 18 октября этого года нам показали лишь малую часть гомеровского эпоса, то дальнейшее предполагаемое включение в спектакль Песни двадцать четвертой может составить еще одну существенную веху нашего пути. В целом замысел масштабен и смел: параллелизм художественного времени сценического произведения и реального исторического времени, имеющих общие точки пересечения, сам по себе говорит о многом. Но нам к смелым экспериментам в театре Васильева не привыкать. Византийская литургическая традиция, влиявшая на средневековые и барочные формы русского театра, сменялась тут восточными формами религиозного священнодействия, мистериальными танцами, фольклорно-обрядовыми, шаманскими программами. Мифологическая, ритуальная природа сценического искусства выходила на первый план, отправляя корабль театра в долгое плаванье с неизвестным пунктом назначения...

Как известно, Троянская война длилась десять лет. На десятый год и произошла ссора Ахилла с Агамемноном, последствия которой отражены в «Илиаде», воспевающей гнев Пелеева сына на неправильные действия со стороны его товарища по военному лагерю. Есть, впрочем, мнения, оспаривающие не только сам факт падения Трои, но и, в частности, главный эпизод как раз Песни двадцать третьей: гибель ахейца Патрокла, вышедшего на поле боя в чужих доспехах, от руки троянца Гектора — вместо друга, Ахилла. «Западник» и русский мыслитель П. Чаадаев, назвав Гомера «развратителем» и «обольстителем» людей, льстящим их страстям, заодно и Грецию определил как некую безличную плотскую стихию. «Страна обманчивых надежд и иллюзий, из которой гений обмана так долго изливал на остальную часть земного шара обман и ложь...»

Что ж, можно вообразить, что не Ахилл погребает Патрокла, а наоборот — в принципе это ничего не меняет. Но вот дальнейший демонтаж фантастической гомеровской выдумки нежелателен, все по той же причине, что бронзовая и мраморная суть эллинской культуры, медь и воск (О. Манделштам) ее смертельных битв и вневременных предсказаний, вошли в плоть и кровь русской культуры — от Пушкина и Гнедича (переведшего гексаметры Гомера), через «блаженные слова» поэтов Серебряного века, вплоть до Бродского, полагавшего, что человеку линейного, исторического времени некуда возвращаться.

Безличное, плотское, иллюзорное — концентры, в которые Васильев замыкает действие спектакля. И, пока противоборствующие стороны еще не пошли стенка на стенку, а тихо-тихо сидят друг против друга, круг древних орант-молеельщиц воздевает руки, совершая простые и необходимые движения. Другие «круги» закружатся из топота ног, свиста мечей и кнутов, пробега колесниц. Из песен хора, который то отплатит, то пропоеет «радуйся!». Однако в этом танцевально-хоровом действе трудно расслышать «умолкнувший звук божественной эллинской речи». Все больше — смазанный, дробящийся фон голосов. Можно догадываться, что это не речевая недоработка или актерская небрежность, а сознательная общая установка — на отсутствие «ясного языка».

Предполагается, что «вербальная техника», которую Васильев вменяет в задачу актеру, должна с помощью всего-навсего трех коротких звуков привести в движение весь его телесно-двигательный аппарат, а затем и все действие. Что и происходит в спектакле с полным, почти балетным блеском. Идея использования древней восточной системы ушу с набором приемов боя, а также элементов драмы Но давно уже реализуется режиссером — на этот раз они точно организуют «физическое действие» спектакля, раскрепощая его (актерская работа И. Яцко, О. Баландиной, О. Малахова, К. Гребенщикова и других, запомнившихся еще по «пушкиниане»). Точно так же отработаны и песнопения хора (композитор В. Мартынов) — они звучат ничуть не хуже, чем у ансамбля «Сирин», больше не участвующего в представлениях театра. Хуже дело обстоит с тем, что названо речевой «биомеханикой» Васильева. Когда-то режиссер так определял свою цель: «твердый, пульсирующий звук атакующегося слова» с посылом вниз (зрителю), в то время как «звуковая инверсия открывает весь канал вверх». Слово, прошибающее предмет и разбивающее налет видимости в «Моцарте и Сальери». В других пушкинских спектаклях стихотворная речь также членилась на слова, слогги; скандировались даже отдельные звуки и знаки препинания. Слово теряло гравитацию и привычную притягательность для уха, но одновременно становилось универсальным жестом и нарушением «канона». Пушкинский текст порой напоминал не то китайскую грамоту, не то зашифрованное послание, но эта иероглифичность активизировала мертвое сценическое пространство, в котором больше нет «певца».

В «Илиаде» от каждой ударной стопы ощущение шага, трудного и яростного. Но чувство общей перспективы пути уходит в иллюзорность жизни по кругу. Гул гекзаметра слитен; и если меня хотят уверить, что так и надо, что прелесть этой поэтической речи — в ее неразличимости и утрате (согласно той логике, что по-настоящему прекрасно лишь то, что у нас отнято), то я хватаюсь за книгу. А это значит, что театр со своей задачей не вполне справляется.

И так как, подозреваю, в «Школу драматического искусства» ходят не только достоевские мальчики и девочки, за ночь способные дополнить карту звездного неба, то и рассказываю, что же, собственно, происходит в спектакле. Но дабы у меня не вышло, как у Евгения Гришковца в его «Осаде», популярно пересоздающей троянский сюжет, отсылаю читателя поближе к тексту.

Ахилл намеревается почтить мертвого друга подобающей ему славой. Для этого разжигается костер и приносятся массовые жертвы, животные и человеческие (называется «гекатомба»). «Двенадцать троянских юношей славных» нужно бросить в костер, «медью убив их». И поскольку это жертвоприношение — ужасный пир, то огонь не спешит разгораться, а Ахилл успевает поговорить с призраком друга, «несчастливца Патрокла», который просит не предавать его забвению, а также обещает, что костям их врозь не лежать. Таким образом, оба друга никогда не увидят отечества. Затем начинаются конные игры победителей: состязание колесниц, где побеждает уже не воинская доблесть, а искусство возницы, также приравняемое к подвигу. Однако участь победенных в этом состязании та же: быть убитыми «острой медью». Но вот все жребии брошены: кому быть победителем и стрелять потом в жертвенных птиц. Выигравший попадет в голубку. А та, возвратясь на «черные корабли» ахейцев, осуществит, быть может, главное предсказание поэмы. Мертвая — «пала на прах»...

В багряный, пурпурно-серый круг огня — в самое сердце спектакля — Васильев помещает два «видения». За синим полотном реки времени круг «Вифлеемский». Мед-

ленный проход восковых мадонн с лицами и руками из вечного, нетающего воска. В лилово-фиолетовые складки прячется младенец, и складки повторяют очертания его тела, даже когда тела уже нет. А есть планомерное избивание, вышибание из рук, разламывание членов — пока пол не покроет слой кукол, которых сгребают гигантскими совками. Остроклювые птички морды на длинных шестах соберут добычу, высматривая новую. Круг за кругом. Но одна лилово-фиолетовая фигура все же пройдет и младенца из рук не выпустит... Следующий круг — внутри широкого каната, с болтающимися красными тряпичками...

В стройную и симметричную, как греческие пропилеи, театральную композицию Васильев вносит материал разрывной и разнородный. Но дело не только в разнородности: так, нисколько не шокирует народный инструмент *топ шуур*, вместо кифары, в руках у самодеятельного азда Н. Шумарова. Потому что театр — тоже своего рода воск, то есть огромное гадательное устройство, и оно собирает в один сгусток все реальные войны на белом свете и все песни о них. Заново предрекая и оплакивая исход. Эффектная сцена с игрушечными младенцами — метафора, причем метафора, стертая до дыр, как «дождь идет». (Было в спектакле К. Гинкаса «Сны изгнания» о Шагале). Своей биоэнергетикой театр Васильева действительно способен прошибить выстроенные стены и вырваться в сферы иные. Данная же метафора — лишь сценическая «вещь», о которую спотыкается не столько коллективное, сколько индивидуальное сознание зрителя. Говорят, Васильев хотел, чтобы во время представления на театральную площадку «Манежа» выносили фото ребенка из Беслана... Трагедия, предугаданная событием спектакля. И все же никакие бутафорские пупсы, штыковые винтовки и «вещдоки» ничего не прибавляют к мужественной догадке, заключенной в самом его действе: такой Троянской войны, как описал Гомер, никогда больше не будет. И не возвратится герой на родную Итаку, «пространством и временем полный»...

Искусство же способно все возвращать и возвращаться на круги своя. Пространство васильевского спектакля, глядишь, вместит в себя еще один виток. «Песню двадцать четвертую. Выкуп Гектора». Не о гекатомбах. А о коллективной, обезличенной материи — и вызволении оскверненного врагом мертвого тела сына Трои Гектора, с дальнейшим его достойным погребением отцом Приамом.

Светлана Васильева

НЕЗНАКОМЫЙ АЛЬМАНАХ

В отсутствие *genius loci*

Литературный Кисловодск (Зеленая гора): Литературно-художественный альманах. — № 14.

Северный Кавказ всегда привлекал взгляды поэтов, вспомним хотя бы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, В. Хлебникова... Так что литературная предистория этого края сама по себе располагает к поэтическому творчеству. В Кисловодске, как, пожалуй, в любом городе России, литературные объединения оказались почти единственным местом, где можно было собраться поэтам, поговорить, почитать свои стихи, послушать других. Наверное, большинство литературных журналов в провинции выросло как раз из творчества участников таких литобъединений. Почти двадцать пять лет назад в Кисловодске появилась литературная студия «Голос», которая в 1995 году стала называться «Кисловодский поэтический форум», она и начала издавать альманах «Литературный Кисловодск» на свои собственные средства, не дожидаясь помощи властей, спонсоров и меценатов. Да и какие меценаты будут давать деньги на издания местных поэтов. Постепенно «Литературный Кисловодск» становится не только региональным поэтическим рупором, но и изданием для литераторов всего Ставрополя и даже

всей России: в альманахе опубликованы тексты авторов из Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

Обзор номера хочется начать с программной, судя по всему, статьи Александра Щербакова из Пятигорска «Открытие пост-постмодернизма», опубликованной в рубрике «Литературоведение». Автор настаивает на особом, исключительном пути поэтической традиции кисловодских поэтов, возникновение которой он относит к концу семидесятых и обозначает как «стиль Рок». «Стиль Рок отразил кризис недостаточности реализма: нет никаких реальных надежд предотвратить гибель человечества, впадшего в абсолютный грех «человек убивает человека» — «человек убивает себя». Но, оказывается, чистое желание и чистая надежда — чистые идеальности являются необходимым моментом спасения человечества». А. Щербаков объявляет рок-культуру конца XX века доминирующим стилем в формировании литературной среды советской андеграундной поэзии, оказавшей решающее воздействие на все последующее развитие российской литературы. Противопоставляя всей русской поэзии «оазис кисловодского поэтического сообщества», автор ограничивается, однако, общими словами об «искорках новейшего мировоззрения, связанного с надеждами на будущее». Отказавшись от опоры на конкретные имена и тексты в разговоре об уникальности поэзии Кисловодска, автор впадает в неприкрытую декларативность, не связанную ни с поэзией, ни с поэтами. Назвав поэтический стиль конца века «эсперансом» и определив туда скопом всех кисловодских поэтов, автор, похоже, смешивает мировоззренческие и литературоведческие критерии. Впрочем, далее он переходит от чисто литературной темы к извечной теме большей части российской интеллигенции — спасении России от бездушия и разгильдяйства и поиска идеального пути развития человечества. «Кисловодские поэты, сами того не замечая, напротив, утверждая, что они верны чувству, оказались в идеальности этого подлинного чувства, поскольку реальная чувственность не просто груба и непоэтична, но именно в ней заложена одна из причин той дегенерации личности, которая привела к воцарению Зла».

Справедливости ради надо отметить, что ряд авторов альманаха действительно вполне вписывается в схему «отвергания злого края реальности». Достаточно много в альманахе стихов о божественном провидческом даре, «вечной Любви», «Тайне святого Креста», в которых слышатся призывы к очищению души от мирской скверны, возложение надежд на исцеление человечества словом Божиим. Например, в стихах Елены Русаковой из Новопавловска, в которых идеализируется образ лирического героя, эта тема, пожалуй, достигла своей кульминации:

Как часто, позабыв о многом,
Поглощены мы суетой.
Но каждый день — день встречи с Богом,
С Любовью нежною Святой.

Однако не все кисловодские поэты попадают в обойму *идеалистического эсперанса* А. Щербакова. Других авторов больше привлекает контрастность мира, желание пройти по границе, отделяющей одно что угодно от другого чего угодно не в поисках идеального героя, а в поисках смысла слова:

И меня разделят на то, что быстро
прошло и то, что под закуску вспомнят.
За окном светлеет. Слова глупы,
Если губы сохлились. Слова — условность.
Ледяною хвоей кормя ладонь,
Ни согрет, ни сыт. Зачерпни пригоршней
Грязноватый снег. Почему огонь
Нужен лесу меньше, а телу — больше?

(Елена Гончарова, Ставрополь)

Есть в альманахе рубрика «Народные стихи» — наивная поэзия, лубок, восходящий к фольклору, почти анонимный в простом и однозначном восприятии окружающего. Существование таких стихов в альманахе говорит о его демократической, а не элитарно-идеалистической направленности — составители настаивают на том, что для поэзии важны не столько профессиональные навыки, сколько желание автора увидеть мир в поэтических образах.

Есть и актуальное искусство: такое ощущение, что в Кисловодске существует целая группа авторов-минималистов. Валентин Аккерман (Кисловодск) также продолжает линию сказок об обычных вещах, оживляя в своих миниатюрах занавеску, осколок, гвоздь и бриллиант. Но распространяет он свои сюжеты до уровня притчи с неперменной моралью в конце — в отличие от Светланы Борзых, которую интересует конкретная мгновенная ситуация из жизни определенной вещи. В некоторых ее миниатюрах, названных стихами в прозе, прослеживается влияние Андерсена. Жизнь резиновых тапок уместилась в двадцать строчек, а иронический разговор двух электрических розеток вообще длится всего десять строк, но в них есть все, что полагается серьезному произведению, — интрига, кульминация, финал. И еще — грустная сказочная ирония, или ироническая серьезность.

Разговор с предметами, раскрытие их тайной жизни интересует и Галину Моршеневу, пишущую «Волшебные новеллы». А вот с иронией и юмором в Кисловодске не так благополучно, вряд ли афоризмы Марины Скребневой, напечатанные в рубрике «Иронизмы», принадлежат именно к этому жанру: «Чтоб уважение людей не потерять, / Не надо их обманывать, им лгать». Сомнительно, чтобы вызвала искренний смех частушка автора, спрятавшегося за псевдонимом Иван Помидоров: «Во Европе Штаты, / В Азии Китай. / Поделили, гады, / Русский каравай».

Литературный альманах, издающийся в определенной местности, всегда подразумевает воссоздание атмосферы этой местности. Заявляя «Литературный Кисловодск» как духовную территорию преимущественно этого города, составители не избежали опасности упрощения. Не получилось пока города: есть отдельные здания, городские многоэтажки, которые одинаковы во многих городах, — но нет атмосферы неповторимости, нет *genius loci*, который изначально присущ любому месту, где существуют поэты. Поэтический воздух альманаха пока еще слишком разрежен, чтобы можно было им свободно дышать. Может быть, это и хорошо — пребывать в пространстве, которое не обозначено определенно и четко. А может быть, литературный, поэтический, виртуальный Кисловодск еще только создается.

Галина Ермошина

nota bene

Не в платках, а в шляпках

Лев Либов. Сталин, Троцкий и я. Эссе-реквием. — Урал, 2004, № 10.

Какая-то пятая уже волна воспоминаний вдруг пошла: по телевизору крутят бесконечную «Московскую сагу» по самому слабому роману В.П. Аксенова — ну как же, там Сталин, Берия и МГБ; потом сразу же запускают «Детей Арбата» (и народ в спешном порядке ищет в книжных магазинах эти книги), а рядом Николай Свиридзе разбирается с наследием хрущевских времен, подробно рассказывает о Клименте Ефремовиче Ворошилове, и многим, кто не читал роман Алексея Толстого «Хлеб», это даже интересно.

Странная штука — время. Человек доживает до некоторого возраста и вдруг ощущает потребность понять, на каком свете он был и как там выглядел на фоне других, живших рядом, в той же эпохе, претерпевавших сходные ситуации. Зачем человеку хо-

чется оставить что-то вроде зарубки на огромном стволе общей истории: дескать, и я тут был, и меня мотало туда-сюда суровым ветром — непонятно. Как непонятна природа власти, природа любви. Время же необратимо, с ним ничего не сделаешь: разве что интерпретировать можно, как хочется, как видится с высоты возраста.

Мемуары Льва Либова читаешь с нормальным человеческим любопытством: ну да, и так бывало, и этак, и думаешь притом, сколько же чужого опыта может вместить твое собственное сознание? И Сен-Симона ты уже читал, и Болотова, и «Былое» вместе с «Думами» господина Герцена, и даже Бенвенуто Челлини зачем-то.

Речь, собственно, о жанре, но нету этого жанра, о котором мечтается: чтоб тебе рассказали, как оно действительно было. Этого не расскажет никто, потому что ты тоже жил в истории, знаешь чудеса интерпретации и мало кому веришь.

Но детали хороши у Либова:

«К нам подошли две женщины. Одна — для тех моих лет — уже немолодая, за сорок. Приятное, округлое, распалагающее, несколько взволнованное лицо; она время от времени немного прикусывала нижнюю губу, что сразу выдавало ее озабоченность. Вторая стояла с чуть откинутой головой. Ее лунообразное лицо выражало независимость, свободу, чувство молодости и беззастенчивое любопытство. Ей было около тридцати.

Анфиса Акимовна — историк. Вторая — географ, Галина Петровна. Миловидные женщины с претензией выглядеть по-городскому. В демисезонных, довольно приличных пальто, не в платках, как моя хозяйка, а в шляпках».

Как бы это объяснить нынешним детям, что такое святыи и откуда брались когда-то имена типа «Анфиса Акимовна», и что такое «претензия выглядеть по-городскому». Да представьте себе, как женщины в советские времена ходят по деревне в шляпках! Они ж героини, им только по зонтику (перевод с голландского) в белые ручки! А как насчет картошки почистить и корову подоить?

Словом, про женщин интересно, а про Сталина и Троцкого — не очень.

Вячеслав Рыбаков. Я — русский. Что дальше? — Нева, 2004, № 11.

И вот он пишет:

«В детстве я страшно любил фильм “Александр Невский”. И, помню, когда наши начинали одолевать псов-рыцарей — в восторге принимался подпрыгивать на стуле». Фильм, конечно, был гениальный, но и лукавый: а как насчет отношений князя с Золотой Ордой? Одна реплика про это там есть, но кто ж ее воспринимал адекватно на фоне Чудского озера и псковских детишек, которых «псы-рыцари» бросали прямо в костер на площади?

Читаешь такую статью, и думаешь: ты русский, и я вроде бы как русский, судьба Отечества меня тоже волнует, лингвистические изыски (в начале статьи, по поводу того, что «русский» — прилагательное, но и Englishman тоже) по меньшей мере забавляют, но не хочется мне впасть ни в паранойю, ни в депрессию по поводу почвы и крови. Это ведь вот так: когда слушаешь серьезную рок-музыку, выворачиваешь Volume на полную мощность, эквалайзером делаешь самые низкие тона, и даже брюхо начинает вибрировать, — и, — счастье! А потом думаешь: нет! Когда счастье приходит к тебе с «телесного низа», как изящно выражался когда-то М.М. Бахтин, это какое-то не то счастье, которого тебе хотелось.

Русский или нерусский я, — что в первую очередь, что во вторую поставить? Что важнее: «я» или «русский»? Русский у меня язык, а про почву и кровь я хоть и знаю (чувственно знаю), но думать о них не буду, потому что есть вещи, о которых думать не надо в целях, так скажем, цивилизационной безопасности. Чего ж дурака валять — цивилизация наша хрупкая, грузить ее нежное тело лишними смыслами по меньшей мере безответственно.

«Что дальше?» Да хотя бы монографию В.В. Виноградова «Русский язык» на досуге прочесть. Могу одолжить.

Алексей Плущер-Сарно. *Русский «отстой»: от символа к тексту.* — Новое литературное обозрение, 2004, № 68.

Опять же про язык: именно в нем мутирует русская культура, от него требует новых смыслов, и, бывает, они в нем рождаются. Хотя, с другой стороны, хочется иной раз перечитать Тынянова и Шкловского. Даже такой экзотический шедевр, как статья Тынянова «Язык Ленина-полемиста». Очень грамотно человек объяснил, какими приемами пользовался великий вождь, чтобы уечь своих оппонентов. Думаю, что Тынянов не все сказал о языке Ленина: знал и понимал больше, чем нужно было в соответствующую эпоху. А вот доживем ли мы до эпохи, когда Ленина наконец станут сравнивать с другими популярными журналистами его времени: ну, скажем, с Сувориным, Гиляровским или Власом Дорошевичем?

Жили-то рядом.

А Плущер-Сарно о чем, собственно, пишет? Я бы сказал — о травме, которую русский язык не может переболеть уже несколько лет:

«Понятно, что появление подобного словечка не случайно. Обозначению всей нашей вселенной в качестве одной огромной помойки предшествовала целая эпоха кризиса русских метафор. Мы множество раз слышали по всем СМИ, что наша страна катится вниз по наклонной плоскости, что наша Родина разграблена, разворована, унижена, поругана и т.п. Этот абсолютный телесный низ, в котором общество себя ощущает, и есть пунт всей этой “катастрофы” русских метафор».

«Русские метафоры», я думаю, еще поживут, и слово «отстой» забудется, как многие другие мусорные слова забывались: бег, ход, лед времени смывает такого типа лексикону, и даже жалко иной раз становится — где же наш замечательный швед (али датчанин?) по фамилии Даль?

Александр Агеев

Н и д н я б е з к н и г и

Алексей Слаповский. *Качество жизни.* — М.: Вагриус, 2004.

В книгу вошли роман «Адаптатор» и несколько рассказов, близких по теме. Писателя интересует суть актуальности, поэтому вынесенные на обложку формулировки понятия «качество жизни» взяты не из словарей, а из самых современных источников — трех наиболее употребимых интернетских поисковых программ. Способность романного героя адаптировать любой текст (в широком семиотическом понимании, когда текст — это любая связь знаков, в том числе событий жизни) позволяет ему сводить любой мессидж к его качественному ядру.

Александр Давыдов. *Повесть о безымянном духе и черной матушке. Фотопостановки: Любовь Нарижная.* — М.: Критерий, 2004.

Очень непривычная сегодня средневековая манера письма: героями выступают безличные сущности, бытующие в сущностном пределе, откуда мир виден в неузнаваемом ракурсе. Текст при этом лишен высокопарности, более того, скрашен живительной толикой юмора. Результат любопытный: то ли это незлые пародии на священные тексты, то ли сны, то ли действительные картины трансцендентного бытия, насколько оно поддается описанию. Наиболее читабельны повесть о детстве «Ключик» и повесть «Урус, сиречь медведь», где сущность пробудившегося в берлоге весеннего медведя долго не может понять, в какое тело она помещена:

«1. Как-то я проснулся и не знал, где я. Это б еще полбеды, если б я знал, кто я. Лежу, должно быть, в какой-то дыре. Глаз мой, если он есть еще, обращен внутрь. А там тьма египетская. Только лишь попахивает некой тайной, как ладаном напололам с лес-

ной гнилью. Сам я мал, так что памяти во мне тесно, и ее нету. Мыслей — с гулькин нос. Так что я буду ставить на них номера, как лесник нумерует лесные деревья, чтоб не перепутались».

Борис Хазанов. *К северу от будущего: Русско-немецкий роман.* — М.: Вагриус, 2004.

Насколько понравилась мне опубликованная в №5 ДН за 2003 год повесть «Третье время», настолько же огорчил этот роман.

Автор понимает своих героев как целановские «тени, что написали камни». Мне же они показались бросовыми «теньями несозданных созданий», ибо мертвы они настолько, что их невозможно представить, а приметы времени, которыми окружил их автор, напоминают картонные декорации. Для оживления этих теней используется старый верный способ — наградить их половыми функциями и связанными с этим проблемами. Не срабатывает и он, ибо имя+половая функция — коротковатая для литературного героя молекула ДНК. Попытка сделать неживое по-целановки красивым тоже не удалась: «<...> танцевал стильно, нагибаясь над падающей навзничь и снова выпрямляясь, и внезапным рывком вращая ее вокруг глубоко внедрившейся в пах ноги...». Эти садистски внедрившаяся в женский пах нога и пыточное вращение потрясли меня еще в тексте, затмив прочие «перлы». Когда же я встретила их в вынесенном на последнюю страницу обложки фрагменте — поняла, что они нравятся автору...

Кончается роман отчетом о том, откуда какой герой взялся, какой скользнувший по краю глаза давний однокашник сдал в бутафорскую писателя шевелюру, а какой хромоту... Оставляет впечатление ответа на вопрос, которого никто не задавал.

Михаил Подгородников. *Охота с биноклем: Ревизские сказки.* — М.: Возвращение, 2004.

Качественная работа в статической традиции: метод физиологического очерка применен к современному материалу. Автору интересны люди как характеры, отформатированные социальностью. Глаз у него зоркий, слово четкое и живописное: «Он шел по квартирному коридору, печатая шаг. Ботинки скрипели, взвизгивали, урчали — музыка нарастала. Он входил в кухню и отчетливо проговаривал: “Приветствую вас”. Ни “доброе утро”, ни “здравствуйте” я никогда не слышал от него. Только так, решительно: “Приветствую вас”». Выписанные типажи доставляют удовольствие узнавания.

Алишер Файз. *Tabula rasa.* — Ташкент: Главная редакция издательско-полиграфической акционерной компании «Шарк», 2004.

Из обывательского «формата», в котором воплощены, герои выпадают подобно борхесовскому Фунесу, носителю чуда абсолютной памяти. Все они — функции навязчивых «чудес», подчинивших себе их нехитрую жизнь: гипертрофированного нюха, страсти к пересчитыванию денег и т.д. Сначала череда фабульных новелл испытывает читательское терпение монотонностью вычура: «После долгих размышлений Торнтону Жу...», «В один из хрустальных январских дней Бабаджан Зюх...», «Воскресное утро. Сомерсет Лу...», «Маргарита Зя любила считать деньги»... С пятого рассказа («Препарат») мне начало все это нравиться: схема подпиталась психологией и окуталась подтекстом, линия сюжета научилась отступать от лекала, герои оживились.

Анна Сапегина. *Школа жизни.* — Тверь: Фактор, 2004.

Первый рассказ («По небу полуночи»), отступающий от общей схемы (конфликт поэзии, воплощенной, как правило, в образе юной женщины, — и обывательской нормы, которую воплощают старшие женщины и все здоровые мужчины), наиболее состоятелен в литературном отношении, вот диалог поэта-алкоголика с явившимся ему ангелом: « — А как у вас там, есть что выпить? — Вопрос некорректен, — голос стал чуть-

чуть металлическим, похожим на голос телефонного автомата. — Но ведь тебя же послали отвечать на мои вопросы? — Тьлците и отъвьрзетсен вам... — Так как там насчет баб? — И походяхон к нему и глаголахон радуи сен. — Это я уже слышал. Почему все они такие суки? — Есть мужчина, есть и женщина. — Чушь какая-то. Где эти милые добрые девушки, о которых написано в книгах? По вечерам над ресторанами... Где они? — Нет мужчины, нет и женщины. — Что значит — нет мужчины? Вот он — я. Сижу здесь, курю и пью водку. Один. Их интересуют только деньги. Ни одна сука... — Бя корабль по срядя моря...». Остальным недостает артистизма.

Александр Тимофеевский. *Сто восьмистиший и наивный Гамлет. Стихотворения.* — М.: ОГИ, 2004.

Поэт нашел свой способ говорить о «несказанном» — пренебрегая изяществом стихотворной формы так лихо, что стихи, в какой бы строфике ни были выполнены, всегда балансируют на грани с раешником или частушечным стихом. Восьмистишная строфа стала в его поэтике «твердой формой» такого небрежения. Момент самоиронии, заключенный в форме, парадоксально гармонирует с глубокой серьезностью содержания. В книге два стихотворных цикла: «Сто восьмистиший» и «Наивный Гамлет», слияние этих заголовков в общем названии книги предлагает увидеть в ней метасюжет.

Олег Дозморov. *Восьмистишия.* — Екатеринбург: Издательство Уральского ун-та, 2004.

Здесь восьмистишная форма работает на стихотворную аскезу. Поэт пишет уральские пейзажи с метафизической подкладкой, повторяя — сознательно ли? — формулу бунинского стиха. Эквивалентом бунинского диалектного слова — «муругой» листы — становится сдвиг сегодняшний: «карие» сады.

Белей щеки в морозном декабре
мой небосвод в простуженное лето.
У тополей изнанка в серебре,
и медь ольхи расплатится за это.

Горит рябины яркое вино.
Пора брать пилы и сжигать валежник,
бить комаров, распахивать окно
в садах осенних, карих, безмятежных.

Бунин таким образом бойкотировал возобладавшую в его эпоху символистскую поэтику. Дозморov, вероятно, отрешивается от современной эклектики. Это любопытно хотя бы потому, что у Бунина-поэта не было последователей.

Ярослав Могутин. *Декларация независимости.* — Тверь: KOLONNA Publications, 2004.

Когда независимость хочет быть предельно выразительной — что может быть выразительнее русского мата? Эти слова сами в себе содержат интонацию крика, поэтому простейшая имитация сильного голоса — их изобилие. Лирическому герою все равно, что делать и с какой целью, лишь бы выразительно: «<...> Я плакал ждал и смеялся / Я молился мяукал и пукал <...>» Дальше — по выразительной нарастающей.

Ирина Василькова. *Террариум. Книга стихов.* — М.: Издательство Р. Элинина, 2004.

Стихотворное рукоделие: «...Так весь день и ныряю, трофеи — строфу, строку ли — / таца на свет (и куда их столько?), а все не лень» — получаются хорошие женские стихи.

Быть просто хорошими стихами этим изделиям мешает маловыразительное многословие: утопление слабой эмоции, короткой мысли, зоркого, но очерченного близким оком взгляда в несоразмерном всему этому количестве стихостроительного материала, весьма качественного, тем не менее. Как если бы кто-то построил гараж с готическим потолком высотой в пять этажей просто потому, что у него оказалось много хорошего кирпича и только три метра земли.

Наталья Орлова. *Dolce Vita: Из двух книг.* — М.: Совпадение, 2004.

Стихи с гражданским пафосом попадают очень неудачные — когда автор форсирует голос. А есть неплохие, существующие как бы вовсе без голоса, «про себя». Такие слышишь. Хлопьями выпадают в осадок подражания Цветаевой. От «двух книг» остается десяток стихотворений — наблюдений за временем. Чувство времени — мертвого древнего, летучего мгновенного, отрезочного, повторяющегося в событиях — у автора свое. Осталось найти для него свое слово.

Вера Северьянова. *Пейзаж души. Редактор-составитель В. Симаков. Послесловие: Лев Аннинский.* — М.: Адалень, 2004.

Стихи, не предназначенные для печати, изданные родными после смерти поэта-любителя, читаешь с особым любопытством — как свидетельство душевной жизни, вовлеченной в тяжбу с языком и стиховой традицией в той лишь степени, которой требует литературная вежливость. Здесь можно вычитать нечто говоримое только себе: «Многие люди проходят мимо. / Лишь к немногим тянусь душой. / Между ними — самый любимый / И, пожалуй, — самый чужой».

Ирина Хролова. *Я жива: Избранные стихотворения. Предисловие: И. Меламед.* — М.: Издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской, 2004.

«Ирина Хролова умерла во сне, утром 8 апреля 2003 года, сорока семи лет от роду» — так заканчивает предисловие поэт Игорь Меламед.

«Водоразделом» книги стал посвященный судьбе Манделштама цикл «Зеркало», открывший зрелый поэтический этап, отход от девичьей мягкости. Образ яблока, в ранних стихах центральный, возникает теперь с приглушенной символической аурой, а центром поэтики становятся точные образы политического межсезонья и собственных внутренних состояний: «Душа ослепла. Разум мой оглох. / Но я живу и не психую. / Из всех доступных Господу эпох / Он выдал мне не самую плохую. / Мне, право слово, некого стыдить: / Не так уж и мрачна моя картина — / Меня уже не могут пристрелить, / Или еще не могут — все едино. / И с жизнью я нисколько не груба — / Ведь у меня нормальное наследство: / Уже не психология раба, / А лишь судьба, впадающая в детство. / А детству все равно, какой наряд, / Какие неприглядные игрушки. / А детству все равно, что говорят / В глухой палате каменной психушки».

Иван Киуру. *Яблонева страна: Книга стихов. Предисловие: Новелла Матвеева. Иллюстрации: Л. Зубарева.* — М.: Адалень, 2004.

Продолговатый формат книги точно соответствует облюбванной поэтом форме большого многострофного стихотворения. Стих напевный — всегда, даже если это верлибр; восторженно-юношеский — тоже всегда; клубящийся влажными туманами, кишачий фыркающей живностью. Основная эмоция лирического героя — радостная замороженность: «Я люблю твою тайну, звезда!».

«Кудрявая» графика Людмилы Зубаревой — точная параллель этому поэтическому космосу.

В нашем доме: Сборник стихов. Составление: Г. Данильева. Вступительная статья: В. Леонович. — М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2004.

«Альбомом» называет автор критической статьи, данной предисловием, сборник стихов работников Дома-музея Марины Цветаевой. От альбомных стихов, да еще вошедших на цветаевском поле, многого ждать не приходится. Тем приятнее обнаружить, что полностью подчинен чужому голосу только один участник сборника, только двое — поэты-любители, обаятельные наивностью, и как минимум трое: Саид Баев, чей тяжеловатый чеканный стих движим логосом, Маргарита Духанина, стих которой живет в большом пространстве-времени с редкой естественностью, и Ирина Невзорова, стихи которой, неженские, напряженные, с угловатой пластикой, заставляют вспомнить опыты Случевского, — профессиональные поэты с собственными логосами.

Славянский стих. VII. Лингвистика и структура стиха. Под редакцией М.Л. Гаспарова и Т.В. Скулачевой. — М.: Языки славянской культуры, 2004.

Материалы VII Международной стиховедческой конференции, прошедшей в 2001 году в Смоленске. Самое замечательное в лингвистическом стиховедении — его сверхзадача: найти объективные связи ритмико-синтаксических клише и формул стиха с его содержательными элементами. То есть найти «философский камень», превращающий набор слов в произведение искусства. Со времен, когда М.Л. Гаспаров «обсчитывал» стих на коленке, многое изменилось: применяются компьютерные технологии, многократно ускоряющие процесс. В статьях, однако, явлено преобладание процесса над результатом. «Мы полагаем, что найденные нами закономерности в какой-то степени приближают нас к пониманию частотной структуры поэтической фоники» — вывод из статьи смоленских лингвистов, вычертивших график употреблений частых, редких и нейтральных фонем в первой главе «Евгения Онегина» и «Выстреле» Пушкина, а также в отдельно взятых стихотворениях Хлебникова, Ахматовой, Вертинского, Ходасевича, Бунина, Пастернака, Елагина и в прозаических отрывках из Шкловского и Булгакова, найдя, что графики бунинского «И шмели, и цветы» и «Анюте» Ходасевича отличаются от остальных, которые сходны.

Поэтика исканий, или поиск поэтики: Материалы международной конференции-фестиваля «Поэтический язык рубежа XX — XXI веков и современные литературные стратегии» (Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Москва, 16—19 мая, 2003 г.). — М.: Азбуковник, 2004.

Конференция, она же фестиваль, стала площадкой диалога между филологами и писателями. Доклады филологов сменялись изложением «стратегий» рефлексирующих писателей, плавно переходящим в фестиваль поэзии, который курировала вдова И. Бродского...

Сборник, подытоживший действо, в последнем разделе публикует новые стихо-прозовизуальные опыты. В контексте же разговора об авангардной поэзии мне видится одним из самых важных наблюдение С. Гардзонио за обращением современных поэтов к историческому авангарду («Отзвуки поэтической традиции XVIII века в современной русской поэзии») и рассуждения А. Федулова о динамической и статической традициях («Смешение традиций. Затекист визуального письма»).

П.В. Куприяновский, Н.А. Молчанова. К.Д. Бальмонт и его литературное окружение. — Воронеж: ФГУП ИПФ «Воронеж», 2004.

Сборник статей, не вошедших в научную биографию П.В. Куприяновского «Поэт с утренней душой: Биография, творчество, судьба К.Д. Бальмонта», вышедшую в прошлом году в Москве, приурочен к 85-летию недавно умершего ученого.

Александр Бабореко. Бунин: Жизнеописание. — М.: Молодая гвардия, 2004.

Редкое в этой серии научное, а не популярное издание. В основе — «Материалы для биографии», выполненные в советское время на единственно возможном тогда максимуме научного уровня, чем выгодно выделялись на фоне вульгарного советского буниноведения, и опубликованные ранее только в доэмигрантской части. Теперь — полностью.

Ю.В. Томашевский. «Литература — производство опасное...»: М. Зощенко. Жизнь, творчество, судьба. — М.: Индрик, 2004.

Книгу известного зощенковеда открывает история «возвращения» творчества М. Зощенко, начавшаяся в 1965 году и до 1986-го представлявшая собой тернистый путь, а завершает хронология М. Зощенко. Кроме познавательного, статьи доставляют чисто литературное удовольствие — благодаря интонационному богатству они читаются как хорошая проза. Удачно оформление обложки плакатами наглядной агитации 20—30-х годов.

Е.А. Земская. Михаил Булгаков и его родные: Семейный портрет. — М.: Языки славянской культуры, 2004.

Знаменитый лингвист — племянница М.А. Булгакова, старшего из семерых детей в семье доцента Киевской духовной академии Афанасия Булгакова. Ее мать Надежда Афанасьевна вела дневник и собирала семейный архив. Быт этой семьи, восстановленный по документам и воспоминаниям, помогает понять пафос творчества М. Булгакова: интеллигенту он считал высоким достижением русской культуры и одной из высших духовных ценностей русского народа. «Судьба семьи Булгаковых, разумеется, вполне типична» — сноска на с. 133.

Георгий Эфрон. Дневники. — В 2-х тт. Том 1. 1940 — 1941 годы. Том 2. 1941—1943 годы. Издание подготовили Е.Б. Коркина и В.К. Лосская. — М.: Вагриус, 2004.

Отрывками публиковавшиеся в периодике, дневники сына Цветаевой, вошедшие в первый том, день за днем восстанавливают страшный быт последних лет поэта. Дневники неявно опровергают расхожую репутацию мальчика, которого принято считать избалованным эгоистом. От любого пятнадцатилетнего подростка трудно ждать жертвенного участия во взрослых делах — слишком интересные в нем происходят внутренние процессы. Мур же прекрасно понимал «объективную ценность» матери, улаживал ее кухонные ссоры с «совмещанями», уговаривал вести себя разумнее, будто был более взрослым... Не по годам умный и развитый, он прекрасно разбирался в международной политике, хотя и унаследовал от матери романтическую идеализацию советской жизни. Больше всего он стремился продолжать учебу. Цветаева же, загнанная в угол, мучила его ежедневными истериками: «Мать говорит, что «только повеситься». Выхода не видно» (22/VIII-40), «Мать говорит, все пропадет, я повешусь, и т.п. <...> В доме атмосфера смерти и глупости — все выкинуть и продать. Мать, по-моему, сошла с ума. Я больше так не могу. Я живу действительно в атмосфере «все кончено» (27/VIII-40)... Около года до отчаянного поступка матери, 368 дней безысходности, поэтому запись «Я решил теперь твердо встать на позиции эгоизма» встречаешь с невольным сочувствием: как еще ему выжить?

Второй том начинается с 31/VIII-41, когда он стал круглым сиротой. О матери вспоминает скупно и жестко — но по общей манере формулировать видно, что дневники, которые он начал вести по приезду в СССР, помогли ему структурировать в себе мужество как опору личности, собираться с силами в атмосфере беспросветной беды — разрушительным переживаниям туда доступа не было.

Г.А. Чередниченко. *Молодежь России: Социальные ориентации и жизненные пути.* — СПб: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2004.

Социологическое исследование, дающее много интересной информации о специфике центра и периферии в России, а также переменах в российском обществе — на основе наблюдений за социальными ориентациями молодежи, проводимых с 1960-х годов. Интереснее всего два последних раздела, посвященных социальной обусловленности личных планов, исследованию реальных шагов (кто чем занялся после школы) и проблеме неактивности.

Из таблицы-приложения можно узнать, что в 1998 году выпускники московских и новосибирских школ, а также средних специальных учебных заведений, отдельно юноши и отдельно девушки, самыми привлекательными считали профессии юриста, бизнесмена и банковского работника; пределом падения по социальной лестнице выступили доярка и тракторист (свинарки и пастуха нет совсем).

Русская молодежь. Демографическая ситуация. Миграции. Составитель Е. Троицкий. — М.: Граница, 2004.

Здесь проблемой молодежи озабочена загадочная организация АКИРН (Ассоциация по комплексному изучению русской нации), «действующая с 1983 г.», и ее председатель, доктор философских наук, в 1951 году с отличием окончивший МГИМО МИД СССР, он же составитель этого сборника, написавший предисловие в пяти параграфах, не жалея средств литературы для живописания бедствий молодых патриотов и поднятия их патриотического духа.

Первый раздел составили духоподъемные произведения классической литературы и публицистики, от поучения детям Владимира Мономаха до обращения к молодежи Юрия Гагарина, есть даже стихотворение — «Школьник» Некрасова. Второй — выступления Зюганова, Глазьева и Жириновского на молодежные темы. В третьем редкие тексты все же тяготеют к отходу от жанра агитки в сторону демографического исследования. Подразделом здесь выделен ряд статей, объединенных заголовком «Традиции служения людям в роду Троицких», украшенный семейными фотографиями составителя. Четвертый раздел посвящен выступлению составителя на парламентских слушаниях 2002 года с проектом концепции миграционной политики, состоящим из общих фраз о необходимости поддержки государством инициативы и самостоятельности мигрантов. Пятый раздел — «смесь» на «этнополитологическую» тему.

Русская няня. Составитель М.И. Синельников. — М.: Пик, 2004.

Сборник составлен из страниц и строк русской стихотворной и прозаической классики, от Богдановича до «Леньки Пантелеева», посвященных явлению, канувшему в историю, — няне, присматривающей за ребенком.

Нулевой километр: Пьесы молодых уральских драматургов. Составление: Н.В. Коляда. — Екатеринбург: Уральское издательство, 2004.

Студенты семинара Н. Коляды в ЕГТИ пишут много и хорошо, в основном в новаторских жанрах *трагедии характеров* — это когда герои по внутренним причинам говорят, будто бредят, и совершают странные поступки (например, окончив десятый класс в одной школе поступают в десятый класс другой — и так много раз) — и *трагедии положений* — это сцены из жизни наркоманов, алкоголиков или их детей, женщин на сносях или, напротив, одиноких женщин, сидящих в холодной квартире, выйти из которой не позволяют драматургические единства, а войти удастся разве что умершей подруге. Явление мертвого друга — сюжетный штамп этой школы, пошедший, вероятно, от сигаретского «Пластилина». А драматургические единства — времени, места, характеров, действия — чаще всего так сладострастно нарушаются, что пьесы, распи-

санные к тому же орнаментальными ремарками, тяготеют к рассказам и киносценариям. На фоне ученических работ, обреченных на выразительность благодаря перечисленным выше фирменным знакам, выделяются остроумные фантазмагии Олега Богачева, где все приметы школы проступают, но в преодоленном, авторизованном виде.

Транзит: Пьесы молодых уральских драматургов («Нулевой километр», ч. 2). Составление: Н.В. Коляда. — Екатеринбург: Уральское издательство, 2004.

Сборник вышел вдогонку предыдущему столь быстро, что составитель, он же редактор, не успел вычитать ошибки. Самая смешная — танец «минуэт», с. 144

Встречи с прошлым: Сборник материалов Российского государственного архива литературы и искусства. Выпуск 10. — М.: РОССПЭН, 2004.

Новое в издании: публикуется роспись содержания предыдущих девяти сборников, вышедших за период в тридцать с лишним лет, хронологический диапазон издания расширился, вместив XVIII век, появились цветные иллюстрации. Среди материалов преобладают эпистолярии. В разделе «Публикации и сообщения» — переписка Абрама Баратынского, братьев Васнецовых, Н. Бердяева; В. Сосинского с Б. Слуцким; неопубликованный рассказ В. Шаламова, фрагменты из книги Н. Розанова «Воспоминания старого москвича», воспоминания о Михаиле Чехове, из воспоминаний дочери Константина Маковского и др. В разделе «Обзоры фондов» наиболее интересные материалы — переписка графомана А. Бурова с крупными писателями эмиграции, сделанный С. Шумихиным, и межархивный тематический обзор Т. Горяевой «Литературные группировки 1920-х — начала 1930-х гг.».

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном институте им. А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25; 202-86-08; vn@ropnet.ru).

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Сергей ЧУПРИНИН

главный редактор
299 52 38, chuprinin@znamlit.ru

Наталья ИВАНОВА

первый заместитель главного редактора
299 39 60, ivanova@znamlit.ru

Елена ХОЛМОГорова

ответственный секретарь
299 46 24, holmogorova@znamlit.ru

Ольга ЕРМОЛАЕВА

отдел поэзии
254 95 15, ermolaeva@znamlit.ru

Карен СТЕПАНИН

отдел критики
254 38 36, stepanyan@znamlit.ru

РЕДАКЦИЯ

Анна КУЗНЕЦОВА

отдел библиографии
299 52 18, kuznecova@znamlit.ru

Жанна МЕЛЬНИКОВА

отдел публицистики
299 52 18, melnikova@znamlit.ru

Ольга ТРУНОВА

отдел прозы
299 47 84, trunova@znamlit.ru

Елена ХОМУТОВА

отдел прозы
299 47 84, homutova@znamlit.ru

Александр ШИНДЕЛЬ

отдел прозы
299 47 84

Елизавета ПОЛУКЕЕВА

корректор

Елена КОТ

допечатная подготовка, производство,
распространение
299 80 67 т/факс, kot@znamlit.ru

Валерий КАЛНЫНЬШ

художник

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Григорий БАКЛАНОВ, Игорь ВИНОГРАДОВ,
Вячеслав ИВАНОВ, Фазиль ИСКАНДЕР,
Евгения КАЦЕВА, Владимир МАКАНИН,
Марк МАСАРСКИЙ, Михаил УЛЬЯНОВ,
Юрий ЧЕРНИЧЕНКО

**Издание журнала
осуществляется
при финансовой поддержке
Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ**

Электронная версия журнала:
<http://magazines.russ.ru/znamia/>

адрес редакции:

123001, Москва,
ул. Большая Садовая, 2/46
(вход с улицы Малая Бронная).
Для справок: 299 52 83 т/факс,
info@znamlit.ru

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
№20 от 28.08.1990.
Учредитель — трудовой коллектив
редакции журнала «Знамя»

Сдано в набор 6.12.2004.
Подписано к печати 20.01.2005.
Формат 70x108 1/16.
Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.
Печать офсетная. Тираж 5000 экз.
Заказ № 4406

Отпечатано с готовых диапозитивов
в полиграфической фирме
«Красный пролетарий».
127473, Москва,
ул. Краснопролетарская, 16

СВЕЖИЕ НОМЕРА «ЗНАМЕНИ» И НОМЕРА ПРОШЛЫХ ЛЕТ МОЖНО ПРИБРЕСТИ У НАС В РЕДАКЦИИ

Также представлены журналы
«Вопросы литературы»,
«Дружба народов», «Звезда», «Нева»,
«Новый мир», «Октябрь», альманах
«Достоевский и мировая культура».
(метро «Маяковская»,
ул. Большая Садовая, 2/46,
вход с Малой Бронной ул.,
тел. 299 42 64)

**РЕДАКЦИЯ РУКОПИСИ
НЕ ВОЗВРАЩАЕТ
и в переписку не вступает.
Рукописи, поступившие по e-mail,
не рассматриваются.**

Владимир АЛЕЙНИКОВ. Пир
Алексей АЛЮШИН. Маленький человек
при большой политике
Белла АХМАДУЛИНА. За весь род
воробьиный
Вадим БАЕВСКИЙ. АССИАР
Людмила БАКШИ. Другое
пространство
Гриша БРУСКИН. Подробности
письмом
Андрей ГЕЛАСИМОВ. Дурная порода
Нина ГОРЛАНОВА, Вячеслав БУКУР.
Рассказы
Юрий ДАВЫДОВ. Дневники и записные
книжки
Андрей ДМИТРИЕВ. Бухта Радости
Елена ДОЛГОПЯТ. Дверь
Юрий КАРЯКИН. Дневник читателя
Илья КОЧЕРГИН. Сон-остров
Эдуард КОЧЕРГИН. Козьявная палата
Владимир ЛУГОВСКОЙ. Письма жене
Владимир МАКАНИН. Роман

Олеся НИКОЛАЕВА. Меценат
Борис ПАСТЕРНАК. Из переписки
с Куртом Вольфом
Ирина ПОЛЯНСКАЯ. Повесть
Григорий ПОМЕРАНЦ. В пространстве
без дорог
Николай РАБОТНОВ. Волк прибежал
Наталья РУБАНОВА. Патология
короткого рассказа
Роман СЕНЧИН. Свечение на болоте
Людмила СИНЯНСКАЯ. Время было
такое
Александр ТВАРДОВСКИЙ. Рабочие
тетради 60-х годов
Леонид ТИМОФЕЕВ. Дневники
военных лет
Дмитрий ТРАВИН. «Золотая вилка»
глобализации
Марина ФИЛАТОВА. Красная
Владимир ФРИДКИН. Записки
спецприкрепленного
Михаил ШИШКИН. Венерин волос

новая проза

Юрия АРАБОВА,
Ильдара АБУЗЯРОВА,
Григория БАКЛАНОВА,
Евгения БЕСТУЖИНА,
Александры ВАСИЛЬЕВОЙ,
Олега ЕРМАКОВА,
Фазиля ИСКАНДЕРА,
Александра КАБАКОВА,
Ильи КОЧЕРГИНА,
Михаила КУРАЕВА,
Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ,
Валерия ПОПОВА,
Дины РУБИНОЙ,
Александра ТЕРЕХОВА,
Виктории ФОМИНОЙ,
Евгения ШКЛОВСКОГО,
Николая ЯКИМЧУКА

новые стихи

Михаила АЙЗЕНБЕРГА,
Максима АМЕЛИНА, Юрия АРАБОВА,
Беллы АХМАДУЛИНОЙ,
Николая БАЙТОВА, Татьяны БЕК,
Ивана ВОЛКОВА,
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Олега ДОЗМОРОВА, Вадима ЖУКА,
Фазиля ИСКАНДЕРА,
Светланы КЕКОВОЙ,
Бахыта КЕНЖЕЕВА,
Тимура КИБИРОВА,
Марины КУРСАНОВОЙ,
Александра КУШНЕРА,
Александра ЛЕВИНА,
Александра ЛЕОНТЬЕВА,
Инны ЛИСНЯНСКОЙ,
Льва ЛОСЕВА, Олеси НИКОЛАЕВОЙ,
Александра РАДАШКЕВИЧА,
Евгения РЕЙНА, Геннадия РУСАКОВА,
Елены ТИНОВСКОЙ,
Елены ФАНАЙЛОВОЙ,
Ольги ХВОСТОВОЙ, Алексея ЦВЕТКОВА,
Олега ЧУХОНЦЕВА и др.

адрес редакции:
123001, Москва
ул. Большая Садовая, 2/46
телефон/факс: 299 52 83
e-mail: info@znamlit.ru